Эрнест Хемингуэй
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
РАССКАЗЫ

Эрнест
Хемингуэй

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

Примечания
Б. ГРИБАНОВА

Оформление художника
О. ВЕРЕЙСКОГО

$Х\frac{70304\text{-}323}{028\,(01)\text{-}77}$ БЗ-65—19—76 г.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

ПЕРЕВОД Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА [1]

Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида; в Пигготе, Арканзас; в Канзас-Сити, Миссури; в Шеридане, Вайоминг; а окончательная редакция была завершена в Париже весной 1929 года.

Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было тридцати ко времени окончания этой книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений.

Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с нами происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда

---

[1] Предисловие написано для иллюстрированного издания 1948 года.

еще хорошо писалось и когда мне было ясно, что произойдет дальше.

Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное и начинать с этого каждый свой рабочий день,— было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим.

У меня уже вышел один роман в 1926 году. Но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписывать заново. Но, переписывая, я многому научился.

Мой издатель, Чарльз Скрибнер, который превосходно разбирается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах, спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. На такой вопрос нетрудно ответить: если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель — своего (или лучший), ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает.

Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах, я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер, но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном (чего можно пожелать каждому, живому и мертвому), я взял бы в качестве иллюстрации к своим книгам рисунки и картину Тулуз-Лотрека и кое-какие пленеры Ренуара среднего периода, а нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше.

Можно и еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет и этих художников тоже нет, как нет и Макса Перкинса, и многих, умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что, какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый, или 1944-й, или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь.

Когда мы встречали этот год в Сан-Вэлли, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползать на спине под натянутой веревкой или под деревянной палкой так, чтобы не коснуться ее животом,

носом, шнурами тирольской куртки или еще чем-нибудь. Я сидел в уголке с мисс Ингрид Бергман, попивая складчинское шампанское, и я сказал ей: «Дочка, этот год будет худшим из худших». (Эпитеты опускаются.)

Мисс Бергман спросила, почему я так думаю. Для нее пока все годы были хорошими, и ей трудно было со мной согласиться. Я сказал, что недостаточный запас слов и плохая дикция мешают мне объяснить подробнее, но есть много разрозненных примет, которые не предвещают ничего хорошего, а это зрелище богачей и весельчаков, ползающих не то под палкой, не то под натянутой веревкой, еще укрепляет мои дурные предчувствия. На том мы и покончили.

Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс. Умерло и много таких, кому следовало умереть; одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах. А сколько умерло безвестных, безымянных, и часто очень любивших жизнь.

Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет, после того как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне,— самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну,— свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были пре-

даны погребению. Можно было бы даже похоронить их в целлофане или использовать какой-нибудь другой современный синтетический материал. А если бы под конец нашлись доказательства, что я сам каким-либо образом повинен в начавшейся войне, пусть бы и меня, как это ни печально, расстрелял тот же стрелковый взвод, а потом пусть бы меня похоронили в целлофане, или без, или просто бросили мое голое тело на склоне горы.

Итак — вот вам книга, спустя без малого двадцать лет, и вот вам предисловие к ней.

Финка-Виджия,
Сан-Франсиско-де-Паула, Куба
30 июня 1948 г.

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год, и мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой.

Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зарницы; только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы.

Иногда в темноте мы слышали, как под нашими окнами проходят войска и тягачи везут мимо нас орудия. Ночью движение на дороге усиливалось, шло много мулов с ящиками боеприпасов по обе стороны вьючного седла, ехали серые грузовики, в которых сидели солдаты, и другие, с грузом под брезентовой покрышкой, подвигавшиеся вперед не так быстро. Днем тоже проезжали тягачи с тяжелыми орудиями на прицепе, длинные тела орудий были прикрыты зелеными ветками, и поверх тягачей лежали зеленые густые ветки и виноградные лозы. К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора, на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно, и осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы наползали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах; винтовки у них были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обойм с тонкими 6,5-миллиметровы-

ми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце.

Проезжали маленькие серые легковые машины, которые шли очень быстро; обычно рядом с шофером сидел офицер, и еще офицеры сидели сзади. Эти машины разбрызгивали грязь сильней, чем грузовики, и если один из офицеров был очень мал ростом и сидел сзади между двумя генералами, и оттого что он был так мал, лицо его не было видно, а только верх кепи и узкая спина, и если машина шла особенно быстро,— это, вероятно, был король. Он жил в Удине и почти каждый день ездил этой дорогой посмотреть, как идут дела, а дела шли очень плохо.

С приходом зимы начались сплошные дожди, а с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только семь тысяч.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща, и на плато к югу от равнины тоже были победы, и в августе мы перешли реку и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом очень красивый. Река протекала позади нас, и город заняли без всякого труда, но горы за ним не удавалось взять, и я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка, для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома — один для солдат, другой для офицеров; и когда кончилось лето и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятое снарядами железо моста, разрушенный туннель у реки, на месте бывшего боя, деревья вокруг площади и двойной ряд деревьев вдоль улицы, ведущей на площадь,— все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на своей серой машине и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей и седую бородку пучком, как у козла,— все это, и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядом разрушило стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карсо дела шли хорошо, сильно отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая.

Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды, под конец осени, с того места, где прежде был дубовый

лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору, и вдруг накрыло нас, и это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали, снег лежал на орудиях, и в снегу были протоптаны дорожки к отхожим местам за траншеями.

Вечером, спустившись в город, я сидел за бутылкой асти у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятеля и двух стаканов. За окном падал снег, и, глядя, как он падает, медленно и грузно, мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты; ни одна гора за рекой тоже не была взята. Это все осталось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову. Он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой, после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, поднимая их на вилке так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, а потом запивая вином из плетеной фляги,— она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указательным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой,— после спагетти капитан принялся дразнить священника.

Священник был молод и легко краснел и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча. Капитан, специально для меня, говорил на ломаном итальянском языке, почему-то считая, что так я лучше пойму все и ничего не упущу.

— Священник сегодня с девочка,— сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. Священник улыбнулся и покраснел и покачал головой. Капитан часто зубоскалил на его счет.

— Разве нет? — спросил капитан.— Я сегодня видеть священник у девочка.

— Нет,— сказал священник. Остальные офицеры забавлялись зубоскальством капитана.

— Священник с девочка нет,— продолжал капитан.— Священник с девочка никогда,— объяснил он мне. Он взял мой стакан и наполнил его, все время глядя мне в глаза, но не теряя из виду священника.

— Священник каждую ночь сам по себе.— Все кругом засмеялись.— Вам понятно? Священник каждую ночь сам по себе.— Капитан сделал жест рукой и громко захохотал. Священник отнесся к этому, как к шутке.

— Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы,— сказал майор.— Он любит Франца-Иосифа. Вот откуда у австрийцев и деньги берутся. Я — атеист.

— Вы читали когда-нибудь «Черную свинью»? — спросил лейтенант.— Я вам достану. Вот книга, которая пошатнула мою веру.

— Это грязная и дурная книга,— сказал священник.— Не может быть, чтоб она вам действительно нравилась.

— Очень полезная книга,— сказал лейтенант.— Там все сказано про священников. Вам понравится,— сказал он мне.

Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи.

— Не читайте этого,— сказал он.

— Я вам достану,— сказал лейтенант.

— Все мыслящие люди атеисты,— сказал майор.— Впрочем, я и масонства не признаю.

— А я признаю масонство,— сказал лейтенант.— Это благородная организация.

Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег.

— Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег,— сказал я.

— Конечно, нет,— сказал майор.— Взять бы вам теперь отпуск. Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию...

— Пусть он едет в Амальфи,— сказал лейтенант.— Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят, как сына.

— Пусть он едет в Палермо.

— А еще лучше на Капри.

— Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах и погостили у моих родных в Капракотта,— сказал священник.

— Очень ему нужно ехать в Абруццы. Там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации.

— Туда, где есть красивые девушки. Я дам вам адреса в Неаполе. Очаровательные молодые девушки — и все при мамашах. Ха-ха-ха!

Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени. На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке:

— Вы уехать вот такой,— он указал на большой палец,— а вернуться вот такой.— Он дотронулся до мизинца. Все засмеялись.

— Смотрите,— сказал капитан. Он снова растопырил пальцы. Снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев: sotto-tenente [1] (большой), tenente [2] (указательный), capitano [3] (средний), maggiore [4]

---

[1] Младший лейтенант *(итал.)*.

[2] Лейтенант *(итал.)*.

[3] Капитан *(итал.)*.

[4] Майор *(итал.)*.

(безымянный) и tenente-colonello[1] (мизинец).— Вы уезжаете sotto-tenente! Вы возвращаетесь tenente-colonello!

Кругом все смеялись. Китайские тени капитана имели большой успех. Он посмотрел на священника и закричал:

— Священник каждую ночь сам по себе! — Все засмеялись.

— Поезжайте в отпуск сейчас же,— сказал майор.

— Жаль, я не могу поехать с вами вместе, все вам показать,— сказал лейтенант.

— Когда будете возвращаться, привезите граммофон.

— Привезите хороших оперных пластинок.

— Привезите Карузо.

— Карузо не привозите. Он воет.

— Попробуйте вы так повыть!

— Он воет. Говорю вам, он воет.

— Мне бы хотелось, чтоб вы побывали в Абруццах,— сказал священник. Все остальные шумели.— Там хорошая охота. Народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец страстный охотник.

— Ну, пошли,— сказал капитан.— Мы идти в бордель, а то закроют.

— Спокойной ночи,— сказал я священнику.

— Спокойной ночи,— сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги; на деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город, и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло, пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидит на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх.

---

[1] Подполковник *(итал.)*.

Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была застлана одеялом, и на стене висели мои вещи, противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестевшие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным вороненым стволом и удобным, красивым, темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Ринальди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки.

— Ciao! [1] — сказал он.— Ну, как провели время?

— Превосходно.

Мы пожали друг другу руки, а потом он обнял меня за шею и поцеловал.

— Уф! — сказал я.

— Вы грязный,— сказал он.— Вам нужно умыться. Где вы были, что делали? Выкладывайте все сразу.

— Я был везде. В Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилла-Сан-Джованни, Мессине, Таормине...

— Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были?

— Да.

— Где?

— Milano, Firenze, Roma, Napoli...

— Хватит. Скажите, какое было самое лучшее?

— В Милане.

— Потому что это было первое. Где вы ее встретили? В «Кова»? Куда вы пошли? Как все было? Выкладывайте сразу. Оставались на ночь?

— Да.

— Подумаешь. Теперь и у нас здесь замечательные девочки. Новенькие, первый раз на фронте.

— Да ну?

— Не верите? Вот пойдем сегодня, увидите сами. А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли.

— Мне нужно умыться и явиться с рапортом. А что, работы теперь нет?

— После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, триппер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. То есть, вероятно, опять начнется. Так говорят. Как, по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли,— разумеется, после войны?

---

[1] Привет *(итал.)*.

— Безусловно,— сказал я и налил полный таз воды.

— Вечером вы мне все расскажете,— сказал Ринальди.— А сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым.

Я снял френч и рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам, и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза.

— У вас деньги есть?

— Есть.

— Одолжите мне пятьдесят лир.

Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся.

— Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель.

— Ну вас к черту,— сказал я.

Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруццы. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Мне очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и все почти уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе со стрега и, хмелея, рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется; никогда не удается.

Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруццы. Но я не поехал в места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой и рассыпчатый, и заячьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас «дон», и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась, пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого, и так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой, и мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызнова, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет, и нет, и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь и иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет, и все так резко, и ясно, и четко, и иногда споры о плате. Иногда все-таки еще хорошо, и тепло, и нежно, и завтрак и обед. Иногда приятного не осталось ничего, и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять то же, и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах, и о том, какая разница меж-

ду днем и ночью, и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруццы, но не поехал, и мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал и что, узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой. Все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул:

— Священнику скучно. Священнику скучно без девочек.

— Мне не скучно,— сказал священник.

— Священнику скучно. Священник хочет, чтоб войну выиграли австрийцы,— сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой.

— Нет,— сказал он.

— Священник не хочет, чтоб мы наступали. Правда, вы не хотите, чтоб мы наступали?

— Нет. Раз идет война, мне кажется, мы должны наступать.

— Должны наступать. Будем наступать.

Священник кивнул.

— Оставьте его в покое,— сказал майор.— Он славный малый.

— Во всяком случае, он тут ничего не может поделать,— сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром меня разбудила батарея в соседнем саду, и я увидел, что в окно светит солнце, и встал с постели. Я подошел к окну и выглянул. Гравий на дорожках был мокрый и трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудия не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж.

Десять машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносые, с громоздким кузовом, санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще три находились в горах, при перевязочных пунктах.

— Эта батарея бывает под обстрелом? — спросил я у одного из механиков.

— Нет, signor tenente [1]. Она защищена холмом.

— Как у вас дела?

[1] Господин лейтенант *(итал.)*.

— Ничего. Вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности.— Он прервал работу и улыбнулся.— Вы были в отпуску?

— Да.

Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся.

— Хорошо время провели?

Его товарищи тоже заухмылялись.

— Неплохо,— сказал я.— А что с этой машиной?

— Никуда она не годится. То одно, то другое.

— Сейчас в чем дело?

— Поршнéвые кольца менять надо.

Я оставил их у машины, которая казалась обобранной и униженной, оттого что мотор был открыт и части выложены на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми, одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел шины, ища порезов или царапин от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения.

— Были какие-нибудь затруднения с частями? — спросил я старшего механика.

— Нет.

— Где теперь склад горючего?

— Все там же.

— Прекрасно,— сказал я, вернулся в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости в носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер.

Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слыхал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности.

Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой

Хюго в руках. Он был в полной форме, на нем были черные башмаки, и волосы его блестели.

— Чудесно,— сказал он, увидя меня.— Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли.

— Нет.

— Да. Вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились.

— Ну ладно. Дайте только привести себя в порядок.

— Умойтесь и идите как есть.

Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти.

— Постойте,— сказал Ринальди,— пожалуй, не мешает выпить.— Он открыл свой сундучок и вынул бутылку.

— Только не стрега,— сказал я.

— Нет. Граппа.

— Идет.

Он налил два стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Граппа была очень крепкая.

— Еще по одному?

— Идет,— сказал я.

Мы выпили по второму стакану граппы. Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз. Было жарко идти по городу, но солнце уже садилось, и было приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно.

— Здравствуйте,— сказала мисс Баркли.— Вы, кажется, не итальянец?

— Нет.

Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись.

— Как странно — служить в итальянской армии.

— Собственно, это ведь не армия. Это только санитарный отряд.

— А все-таки странно. Зачем вы это сделали?

— Не знаю,—сказал я.—Есть вещи, которые нельзя объяснить.

— Разве? А меня всегда учили, что таких вещей нет.

— Это очень мило.

— Мы непременно должны поддерживать такой разговор?

— Нет,— сказал я.

— Слава богу.

— Что это у вас за трость? — спросил я.

Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия, блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека.

— Это — одного офицера, он был убит в прошлом году.

— Простите...

— Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж, а его убили на Сомме.

— Там была настоящая бойня.

— Вы там были?

— Нет.

— Мне рассказывали,— сказала она.— Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку. Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами.

— Вы долго были помолвлены?

— Восемь лет. Мы выросли вместе.

— Почему же вы не вышли за него раньше?

— Сама не знаю,— сказала она.— Очень глупо. Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже.

— Понимаю.

— Вы любили когда-нибудь?

— Нет,— сказал я.

Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее.

— У вас красивые волосы,— сказал я.

— Вам нравятся?

— Очень.

— Я хотела отрезать их, когда он умер.

— Что вы.

— Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам; если б он хотел, он мог бы получить все. Он мог бы получить все, что хотел, если б я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала.

Я молчал.

— Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено.

— Кто знает.

— Да, да,— сказала она.— Теперь все кончено.

Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой.

— Как ее зовут?

— Фергюсон. Эллен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач?

— Да. Он очень хороший врач.

— Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда?

— Конечно.

— Дурацкий фронт,— сказала она.— Но здесь очень красиво. Что, наступление будет?

— Да.

— Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет.

— Вы давно работаете сестрой?

— С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот

госпиталь, где я работала. Раненный сабельным ударом, с повязкой вокруг головы. Или с простреленным плечом. Что-нибудь романтическое.

— Здесь самый романтический фронт,— сказал я.

— Да,— сказала она.— Люди не представляют, что такое война во Франции. Если б они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски.

Я молчал.

— Вы думаете, это будет продолжаться вечно?

— Нет.

— А что же произойдет?

— Сорвется где-нибудь.

— Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться.

— Здесь не сорвется,— сказал я.

— Вы думаете?

— Да. Прошлое лето все шло очень удачно.

— Может сорваться,— сказала она.— Всюду может сорваться.

— И у немцев тоже.

— Нет,— сказала она.— Не думаю.

Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон.

— Вы любите Италию? — спрашивал Ринальди мисс Фергюсон по-английски.

— Здесь недурно.

— Не понимаю.— Ринальди покачал головой.

— Abbastanza bene [1],— перевел я. Он покачал головой.

— Это нехорошо. Вы любите Англию?

— Не очень. Я, видите ли, шотландка.

Ринальди вопросительно посмотрел на меня.

— Она шотландка и поэтому больше Англии любит Шотландию,— сказал я по-итальянски.

— Но Шотландия — это ведь Англия.

Я перевел мисс Фергюсон его слова.

— Pas encore [2],— сказала мисс Фергюсон.

— Еще нет?

— И никогда не будет. Мы не любим англичан.

— Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?

— Ну, это совсем другое. Нельзя понимать так буквально.

Немного погодя мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал:

— Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно, как день. Но та шотландка тоже очень мила.

— Очень,— сказал я. Я не обратил на нее внимания.— Она вам нравится?

— Нет,— сказал Ринальди.

---

[1] Недурно *(итал.)*.

[2] Еще нет *(франц.)*.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве.

— Война, знаете ли.

Я сказал, что знаю.

— Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии? — спросила она.

— Да, мэм.

— Как это случилось? Почему вы не пошли к нам?

— Сам не знаю,— сказал я.— А можно мне теперь перейти к вам?

— Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию?

— Я жил в Италии,— сказал я,— и я говорю по-итальянски.

— О! — сказала она.— Я изучаю итальянский. Очень красивый язык.

— Говорят, можно выучиться ему в две недели.

— Ну нет, я не выучусь в две недели. Я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после семи часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев.

— Несмотря на красивый язык?

— Да. Несмотря даже на красивые мундиры.

— До свидания,— сказал я.

— A rivederci, tenente [1].

— A rivederla.— Я отдал честь и вышел. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать смущения. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт.

День был жаркий. Утром я ездил в верховья реки, к предмостному укреплению у Плавы. Оттуда должно было начаться наступление. В прошлом году продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к понтонному мосту и она почти на протяжении мили была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходимый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню. Но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны, так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущество, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там. Я думаю, тут проявлялась взаимная терпимость, потому что другое предмостное укрепление, ниже по реке, все еще оставалось в руках австрийцев. Австрийские окопы были ниже, на склоне

[1] До свидания, лейтенант *(итал.)*.

горы, всего лишь в нескольких ярдах от итальянских позиций. Раньше на берегу был городок, но его разнесли в щепы. Немного дальше были развалины железнодорожной станции и разрушенный мост, который нельзя было починить и использовать, потому что он просматривался со всех сторон.

Я проехал по узкой дороге вниз, к реке, оставил машину на перевязочном пункте под выступом холма, переправился через понтонный мост, защищенный отрогом горы, и обошел окопы на месте разрушенного городка и у подножия склона. Все были в блиндажах. Я увидел сложенные наготове ракеты, которыми пользовались для вызова огневой поддержки артиллерии или для сигнализации, когда была перерезана связь. Было тихо, жарко и грязно. Я посмотрел через проволочные заграждения на австрийские позиции. Никого не было видно. Я выпил с знакомым капитаном в одном из блиндажей и через мост возвратился назад.

Достраивалась новая широкая дорога, которая переваливала через гору и зигзагами спускалась к мосту. Наступление должно было начаться, как только эта дорога будет достроена. Она шла лесом, круто изгибаясь. План был такой: все подвозить по новой дороге, пустые же грузовики и повозки, санитарные машины с ранеными и весь обратный транспорт направлять по старой узкой дороге. Перевязочный пункт находился на австрийском берегу под выступом холма, и раненых должны были на носилках нести через понтонный мост. Предполагалось сохранить этот порядок и после начала наступления. Как я себе представлял, последняя миля с небольшим новой дороги, там, где кончался уклон, должна была простреливаться австрийской артиллерией. Дело могло обернуться скверно. Но я нашел место, где можно было укрыть машины после того, как они пройдут этот последний опасный перегон, и где они могли дожидаться, пока раненых перенесут через понтонный мост. Мне хотелось проехать по новой дороге, но она не была еще закончена. Она была широкая, с хорошо рассчитанным профилем, и ее изгибы выглядели очень живописно в просветах на лесистом склоне горы. Для машин с их сильными тормозами спуск будет нетруден, и, во всяком случае, вниз ведь они пойдут порожняком. Я поехал по узкой дороге обратно.

Двое карабинеров задержали машину. Впереди на дороге разорвался снаряд, и пока мы стояли, разорвалось еще три. Это были 77-миллиметровки, и когда они летели, слышен был свистящий шелест, а потом резкий, короткий взрыв, вспышка, и серый дым застилал дорогу. Карабинеры сделали нам знак ехать дальше. Поравнявшись с местами взрывов, я объехал небольшие воронки и почувствовал запах взрывчатки и запах развороченной глины, и камня, и свежераздробленного кремня. Я вернулся в Горицию, на нашу виллу, и, как я уже сказал, пошел к мисс Баркли, которая оказалась на дежурстве.

За обедом я ел очень быстро и сейчас же снова отправился на виллу, где помещался английский госпиталь. Вилла была очень большая и красивая, и перед домом росли прекрасные деревья.

Мисс Баркли сидела на скамейке в саду. С ней была мисс Фергюсон. Они, казалось, обрадовались мне, и спустя немного мисс Фергюсон попросила извинения и встала.

— Я вас оставлю вдвоем,— сказала она.— Вы отлично обходитесь без меня.

— Не уходите, Эллен,— сказала мисс Баркли.

— Нет, уж я пойду. Мне надо писать письма.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, мистер Генри.

— Не пишите ничего такого, что смутило бы цензора.

— Не беспокойтесь. Я пишу только про то, в каком красивом месте мы живем и какие все итальянцы храбрые.

— Продолжайте в том же роде, и вы получите орден.

— Буду очень рада. Покойной ночи, Кэтрин.

— Я скоро зайду к вам,— сказала мисс Баркли. Мисс Фергюсон скрылась в темноте.

— Она славная,— сказал я.

— О да. Она очень славная. Она сестра.

— А вы разве не сестра?

— О нет. Я то, что называется VAD[1]. Мы работаем очень много, но нам не доверяют.

— А почему?

— Не доверяют тогда, когда дела нет. Когда работы много, тогда доверяют.

— В чем же разница?

— Сестра — это вроде доктора. Нужно долго учиться. А VAD кончают только краткосрочные курсы.

— Понимаю.

— Итальянцы не хотели допускать женщин так близко к фронту. Так что у нас тут особый режим. Мы никуда не выходим.

— Но я могу приходить сюда?

— Ну конечно. Здесь не монастырь.

— Давайте забудем про войну.

— Это не так просто. В таком месте трудно забыть про войну.

— А все-таки забудем.

— Хорошо.

Мы посмотрели друг на друга в темноте. Она мне показалась очень красивой, и я взял ее за руку. Она не отняла руки, и я потянулся и обнял ее за талию.

— Не надо,— сказала она. Я не отпускал ее.

— Почему?

— Не надо.

— Надо,— сказал я.— Так хорошо.

Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу.

---

[1] Voluntary Aid Department *(англ.)*.

Удар пришелся по глазам и переносице, и на глазах у меня выступили слезы.

— Простите меня,— сказала она.

Я почувствовал за собой некоторое преимущество.

— Вы поступили правильно.

— Нет, вы меня, пожалуйста, простите,— сказала она.— Но это так противно получилось — сестра с офицером в выходной вечер. Я не хотела сделать вам больно. Вам больно?

Она смотрела на меня в темноте. Я был зол и в то же время испытывал уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии.

— Вы поступили совершенно правильно,— сказал я.— Я ничуть не сержусь.

— Бедненький!

— Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Мне даже не приходится говорить по-английски. И потом, вы такая красивая.

Я смотрел на нее.

— Зачем вы все это говорите? Я ведь просила у вас прощения. Мы уже помирились.

— Да,— сказал я.— И мы перестали говорить о войне.

Она засмеялась. Первый раз я услышал, как она смеется. Я следил за ее лицом.

— Вы славный,— сказала она.

— Вовсе нет.

— Да. Вы добрый. Хотите, я сама вас поцелую?

Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал. Я поцеловал ее крепко, и сильно прижал к себе, и старался раскрыть ей губы; они были крепко сжаты. Я все еще был зол, и когда я ее прижал к себе, она вдруг вздрогнула. Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись и голова откинулась на мою руку, и я почувствовал, что она плачет у меня на плече.

— Милый! — сказала она.— Вы всегда будете добры ко мне, правда?

«Кой черт»,— подумал я. Я погладил ее волосы и потрепал ее по плечу. Она плакала.

— Правда, будете? — Она подняла на меня глаза.— Потому что у нас будет очень странная жизнь.

Немного погодя я проводил ее до дверей виллы, и она вошла, а я отправился домой. Вернувшись домой, я поднялся к себе в комнату. Ринальди лежал на постели. Он посмотрел на меня.

— Итак, ваши дела с мисс Баркли подвигаются?

— Мы с ней друзья.

— Вы сейчас похожи на пса в охоте.

Я не понял.

— На кого?

Он пояснил.

— Это вы,— сказал я,— похожи на пса, который...

— Стойте,— сказал он.— Еще немного, и мы наговорим друг другу обидных вещей.— Он засмеялся.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, кутинька.

Я подушкой сшиб его свечу и улегся в темноте. Ринальди поднял свечу, зажег и продолжал читать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Два дня я объезжал посты. Когда я вернулся домой, было уже очень поздно, и только на следующий вечер я увиделся с мисс Баркли. В саду ее не было, и мне пришлось дожидаться в канцелярии госпиталя, когда она спустится вниз. По стенам комнаты, занятой под канцелярию, стояло много мраморных бюстов на постаментах из раскрашенного дерева. Вестибюль перед канцелярией тоже был уставлен ими. По общему свойству мраморных статуй они все казались на одно лицо. На меня скульптура всегда нагоняла тоску; еще бронза куда ни шло, но мраморные бюсты неизменно напоминают кладбище. Есть, впрочем, одно очень красивое кладбище — в Пизе. А скверных мраморных статуй больше всего в Генуе. Эта вилла принадлежала раньше какому-то немецкому богачу, и бюсты, наверно, стоили ему немало денег. Интересно, чьей они работы и сколько за них было уплачено. Я пытался определить, предки это или еще кто-нибудь; но у них у всех был однообразно-классический вид. Глядя на них, ничего нельзя было угадать.

Я сидел на стуле, держа кепи в руках. Нам полагалось даже в Горици носить стальные каски, но они были неудобны и казались непристойно бутафорскими в городе, где гражданское население не было эвакуировано. Я свою надевал, когда выезжал на посты, и, кроме того, я имел при себе английский противогаз — противогазовую маску, как их тогда называли. Мы только начали получать их. Они и в самом деле были похожи на маски. Все мы также обязаны были носить автоматические пистолеты; даже врачи и офицеры санитарных частей. Я ощущал свой пистолет, прислоняясь к спинке стула. Замеченный без пистолета подлежал аресту. Ринальди вместо пистолета набивал кобуру туалетной бумагой. Я носил свой без обмана и чувствовал себя вооруженным до тех пор, пока мне не приходилось стрелять из него. Это был пистолет системы «астра», калибра 7,65, с коротким стволом, который так подскакивал при спуске курка, что попасть в цель было совершенно немыслимо. Упражняясь в стрельбе, я брал прицел ниже мишени и старался сдержать судорогу нелепого ствола, и наконец я научился с двадцати шагов попадать не дальше ярда от намеченной цели, и тогда мне вдруг стало ясно, как нелепо вообще носить пистолет, и вскоре я забыл о нем, и он болтался у меня сзади на поясе, не вызывая никаких чувств, кроме разве легкого стыда при встрече с англичанами или американцами. И вот

теперь я сидел на стуле, и дежурный канцелярист неодобрительно поглядывал на меня из-за конторки, а я рассматривал мраморный пол, постаменты с мраморными бюстами и фрески на стенах в ожидании мисс Баркли. Фрески были недурны. Фрески всегда хороши, когда краска на них начинает трескаться и осыпаться.

Я увидел, что Кэтрин Баркли вошла в вестибюль, и встал. Она не казалась высокой, когда шла мне навстречу, но она была очень хороша.

— Добрый вечер, мистер Генри,— сказала она.

— Добрый вечер,— сказал я. Канцелярист за конторкой прислушивался.

— Посидим здесь или выйдем в сад?

— Давайте выйдем. В саду прохладнее.

Я пошел за ней к двери, канцелярист глядел нам вслед. Когда мы уже шли по усыпанной гравием дорожке, она сказала:

— Где вы были?

— Я выезжал на посты.

— И вы не могли меня предупредить хоть запиской?

— Нет,— сказал я.— Не вышло. Я думал, что вернусь в тот же день.

— Все-таки нужно было дать мне знать, милый.

Мы свернули с аллеи и шли дорожкой под деревьями. Я взял ее за руку, потом остановился и поцеловал ее.

— Нельзя ли нам пойти куда-нибудь?

— Нет,— сказала она.— Мы можем только гулять здесь. Вас очень долго не было.

— Сегодня третий день. Но теперь я вернулся.

Она посмотрела на меня.

— И вы меня любите?

— Да.

— Правда, ведь вы сказали, что вы меня любите?

— Да,— солгал я.— Я люблю вас.

Я не говорил этого раньше.

— И вы будете звать меня Кэтрин?

— Кэтрин.

Мы прошли еще немного и опять остановились под деревом.

— Скажите: ночью я вернулся к Кэтрин.

— Ночью я вернулся к Кэтрин.

— Милый, вы ведь вернулись, правда?

— Да.

— Я так вас люблю, и это было так ужасно. Вы больше не уедете?

— Нет. Я всегда буду возвращаться.

— Я вас так люблю. Положите опять сюда руку.

— Она все время здесь.

Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кон-

читься. Это было лучше, чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, на что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно.

— Куда бы нам пойти,— сказал я. Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

— Некуда,— сказала она. Она вернулась на землю из того мира, где была.

— Посидим тут немножко.

Мы сели на плоскую каменную скамью, и я взял Кэтрин Баркли за руку. Она не позволила мне обнять ее.

— Вы очень устали? — спросила она.

— Нет.

Она смотрела вниз, на траву.

— Скверную игру мы с вами затеяли.

— Какую игру?

— Не прикидывайтесь дурачком.

— Я и не думаю.

— Вы славный,— сказала она,— и вы стараетесь играть как можно лучше. Но игра все-таки скверная.

— Вы всегда угадываете чужие мысли?

— Не всегда. Но ваши я знаю. Вам незачем притворяться, что вы меня любите. На сегодня с этим кончено. О чем бы вы хотели теперь поговорить?

— Но я вас в самом деле люблю.

— Знаете что, не будем лгать, когда в этом нет надобности. Вы очень мило провели свою роль, и теперь все в порядке. Я ведь не совсем сумасшедшая. На меня если и находит, то чуть-чуть и ненадолго.

Я сжал ее руку.

— Кэтрин, дорогая...

— Как смешно это звучит сейчас: «Кэтрин». Вы не всегда одинаково это произносите. Но вы очень славный. Вы очень добрый, очень.

— Это и наш священник говорит.

— Да, вы добрый. И вы будете навещать меня?

— Конечно.

— И вам незачем говорить, что вы меня любите. С этим пока что кончено.— Она встала и протянула мне руку.— Спокойной ночи.

Я хотел поцеловать ее.

— Нет,— сказала она.— Я страшно устала.

— А все-таки поцелуйте меня,— сказал я.

— Я страшно устала, милый.

— Поцелуйте меня.
— Вам очень хочется?
— Очень.
Мы поцеловались, но она вдруг вырвалась.
— Не надо. Спокойной ночи, милый.
Мы дошли до дверей, и я видел, как она переступила порог и пошла по вестибюлю. Мне нравилось следить за ее движениями. Она скрылась в коридоре. Я пошел домой. Ночь была душная, и наверху, в горах, не стихало ни на минуту. Видны были вспышки на Сан-Габриеле.
Перед «Вилла-Росса» я остановился. Ставни были закрыты, но внутри еще шумели. Кто-то пел. Я поднялся к себе. Ринальди вошел, когда я раздевался.
— Ага,— сказал он.— Дело не идет на лад. Бэби в смущении.
— Где вы были?
— На «Вилла-Росса». Очень пользительно для души, бэби. Мы пели хором. А вы где были?
— Заходил к англичанам.
— Слава богу, что я не спутался с англичанами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день, возвращаясь с первого горного поста, я остановил машину у smistimento[1], где раненые и больные распределялись по их документам и на документах делалась отметка о направлении в тот или иной госпиталь. Я сам вел машину и остался сидеть у руля, а шофер понес документы для отметки. День был жаркий, и небо было очень синее и яркое, а дорога белая и пыльная. Я сидел на высоком сиденье фиата и ни о чем не думал. Мимо по дороге проходил полк, и я смотрел, как шагают ряды. Люди были разморены и потны. Некоторые были в стальных касках, но большинство несло их прицепленными к ранцам. Многим каски были слишком велики и почти накрывали уши. Офицеры все были в касках, но подобранных по размеру. Это была часть бригады Базиликата. Я узнал их полосатые, красные с белым, петлицы. Полк уже давно прошел, но мимо все еще тянулись отставшие,— те, кто не в силах был шагать в ногу со своим отделением. Они были измучены, все в поту и в пыли. Некоторые казались совсем больными. Когда последний отставший прошел, на дороге показался еще солдат. Он шел прихрамывая. Он остановился и сел у дороги. Я вылез и подошел к нему.
— Что с вами?
Он посмотрел на меня, потом встал.
— Я уже иду.
— А в чем дело?
— Все война, ну ее к...

[1] Эвакопункт *(итал.)*.

— Что с вашей ногой?

— Не в ноге дело. У меня грыжа.

— Почему же вы идете пешком? — спросил я.— Почему вы не в госпитале?

— Не пускают. Лейтенант говорит, что я нарочно сбросил бандаж.

— Покажите мне.

— Она вышла.

— С какой стороны?

— Вот здесь.

Я ощупал его живот.

— Кашляните,— сказал я.

— Как бы от этого не стало хуже. Она уже и так вдвое больше, чем утром.

— Садитесь в машину,— сказал я.— Когда бумаги моих раненых будут готовы, я сам отвезу вас и сдам в вашу санитарную часть.

— Он скажет, что я нарочно.

— Тут они не смогут придраться,— сказал я.— Это не рана. У вас ведь это было и раньше?

— Но я потерял бандаж.

— Вас направят в госпиталь.

— А нельзя мне с вами остаться, tenente?

— Нет, у меня нет на вас документов.

В дверях показался шофер с документами раненых, которых мы везли.

— Четверых в сто пятый. Двоих в сто тридцать второй,— сказал он. Это были госпитали на другом берегу.

— Садитесь за руль,— сказал я.

Я помог солдату с грыжей взобраться на сиденье рядом с нами.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да.

— Что вы скажете об этой проклятой войне?

— Скверная штука.

— Еще бы не скверная, черт дери. Еще бы не скверная.

— Вы бывали в Штатах?

— Бывал. В Питтсбурге. Я догадался, что вы американец.

— Разве я плохо говорю по-итальянски?

— Я сразу догадался, что вы американец.

— Еще один американец,— сказал шофер по-итальянски, взглянув на солдата с грыжей.

— Послушайте, лейтенант. Вы непременно должны меня доставить в полк?

— Да.

— Штука-то в том, что старший врач знает про мою грыжу. Я выбросил к черту бандаж, чтобы мне стало хуже и не пришлось опять идти на передовую.

— Понимаю.

— Может, вы отвезете меня куда-нибудь в другое место?

— Будь мы ближе к фронту, я мог бы сдать вас на первый медицинский пункт. Но здесь, в тылу, нельзя без документов.

— Если я вернусь, мне сделают операцию, а потом все время будут держать на передовой.

Я подумал.

— Хотели бы вы все время торчать на передовой? — спросил он.

— Нет.

— О черт! — сказал он.— Что за мерзость эта война.

— Слушайте,— сказал я.— Выйдите из машины, упадите и набейте себе шишку на голове, а я на обратном пути захвачу вас и отвезу в госпиталь. Мы на минуту остановимся, Альдо.

Мы съехали на обочину и остановились. Я помог ему вылезть.

— Здесь вы меня и найдете, лейтенант,— сказал он.

— До свидания,— сказал я. Мы поехали дальше и обогнали полк приблизительно в миле пути, потом переправились через реку, мутную от талого снега и быстро бегущую между устоев моста, и дорогой, пересекающей равнину, добрались до госпиталей, где нужно было сдать раненых. На обратном пути я сам сидел у руля и быстро гнал пустую машину туда, где ждал солдат из Питтсбурга. Сначала мы миновали полк, еще более разморенный и двигавшийся еще медленнее; потом отставших. Потом мы увидели посреди дороги санитарную повозку. Двое санитаров поднимали солдата с грыжей. Они вернулись за ним. Увидя меня, он покачал головой. Его каска свалилась, и лоб, у самых волос, был окровавлен. На носу была содрана кожа, и на кровавую ссадину налипла пыль, и в волосах тоже была пыль.

— Посмотрите, какая шишка, лейтенант,— закричал он.— Но ничего не поделаешь. Они вернулись за мной.

Когда я вернулся на виллу, было пять часов, и я пошел туда, где мыли машины, принять душ. Потом я составлял рапорт, сидя в своей комнате у открытого окна, в брюках и нижней рубашке. Наступление было назначено на послезавтра, и я должен был выехать со своими машинами к Плаве. Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невозможно. Не о чем было писать. Я послал несколько открыток Zona di Guerra[1], вычеркнув из текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открытки очень понравятся в Америке — необычные и таинственные. Необычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой по сравнению с другими войнами, которые велись против австрийцев. Австрийская армия была создана ради побед Наполеона — любого Наполеона. Хорошо, если бы и у нас был Наполеон, но у нас был только Il Generale Cadorna, жирный и благоденствую-

[1] Военная зона *(итал.)*.

щий, и Vittorio Emmanuele, маленький человек с худой длинной шеей и козлиной бородкой. В правобережной армии был герцог Аоста. Пожалуй, он был слишком красив для великого полководца, но у него была внешность настоящего мужчины. Многие хотели бы, чтоб королем был он. У него была внешность короля. Он приходился королю дядей и командовал третьей армией. Мы были во второй армии. В третьей армии было несколько английских батарей. В Милане я познакомился с двумя английскими артиллеристами оттуда. Они были очень милые, и мы отлично провели вечер. Они были большие и застенчивые, и все их смущало и в то же время очень им нравилось. Лучше бы мне служить в английской армии. Все было бы проще. Но я бы, наверно, погиб. Ну, в санитарном отряде едва ли. Нет, даже и в санитарном отряде. Случалось, и шоферы английских санитарных машин погибали. Но я знал, что не погибну. В эту войну нет. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кино. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась. Может быть, этим летом будет конец. Может быть, австрийцев побьют. Их всегда били в прежних войнах. А что особенного в этой войне? Все говорят, что французы выдохлись. Ринальди рассказывал, что французские солдаты взбунтовались и войска пошли на Париж. Я спросил его, что же было дальше, и он сказал: «Ну, их остановили». Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где это Гарц, между прочим? Бои теперь шли в Карпатах. Туда мне не хотелось. Хотя, пожалуй, и это было бы недурно. Не будь войны, я мог бы поехать в Испанию. Солнце уже садилось, и день остывал. После ужина я пойду к Кэтрин Баркли. Мне хотелось, чтобы она сейчас была здесь со мной. Мне хотелось, чтобы мы вместе были в Милане. Хорошо бы поужинать в «Кова» и потом душным вечером пройти по Виа-Манцони, и перейти мост, и свернуть вдоль канала, и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может быть, она представила бы себе, будто я — тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд и швейцар снимает фуражку и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ и она дожидается у лифта и потом мы входим в кабину лифта и он ползет вверх очень медленно позвякивая на каждом этаже а потом вот и наш этаж и мальчик-лифтер отворяет дверь и она выходит и я выхожу и мы идем по коридору и я ключом отпираю дверь и вхожу и потом снимаю телефонную трубку и прошу чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке полном льда и слышно как лед звенит в ведерке все ближе по коридору и мальчик стучится и я говорю поставьте пожалуйста у двери. Потому что мы все с себя сбросили потому что так жарко и окно раскрыто и ласточки летают над крышами домов и когда уже совсем стемнеет и подойдешь к окну крошечные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев и мы пьем капри и дверь на запоре и так жарко и только

простыня и целая ночь и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане. Вот так все должно быть. Я быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли.

За столом слишком много было разговоров, и я пил вино, потому что сегодня вечером мы не были бы братьями, если б я не выпил немного, и я разговаривал со священником об архиепископе Айрленде, по-видимому, очень достойном человеке, об его несправедливой судьбе, о несправедливостях по отношению к нему, в которых я, как американец, был отчасти повинен и о которых я понятия не имел, но делал вид, что мне все это отлично известно. Было бы невежливо ничего об этом не знать, выслушав такое блестящее объяснение сути всего дела, в конце концов, видимо, основанного на недоразумении. Я нашел, что у него очень красивое имя, и к тому же он был родом из Миннесоты, так что имя выходило действительно чудесное: Айрленд Миннесотский, Айрленд Висконсинский, Айрленд Мичиганский. Нет, не в том дело. Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой. Возможно, отец мой. Нет, отец мой. Что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были не хорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное. Оно снимало с зубов эмаль и оставляло ее на нёбе.

— И священника посадили за решетку,— говорил Рокка,— потому что нашли при нем трехпроцентные бумаги. Это было во Франции, конечно. Здесь бы его никогда не арестовали. Он утверждал, что решительно ничего не знает о пятипроцентных. Случилось все это в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл.

— Не верю ни одному слову,— сказал Ринальди.

— Это как вам угодно,—сказал Рокка.— Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Он священник, он ее сумеет оценить.

Священник улыбнулся.

— Продолжайте,— сказал он.— Я слушаю.

— Конечно, часть бумаг так и не нашли, но все трехпроцентные оказались у священника, и еще облигации каких-то местных займов, не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму,— вот тут-то и начинается самое интересное,— и стою у его камеры и говорю, будто перед исповедью: «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили».

Все громко захохотали.

— И что же он ответил? — спросил священник.

Рокка не обратил на него внимания и принялся растолковывать мне смысл шутки:

— Понимаете, в чем тут соль?

По-видимому, это была очень остроумная шутка, если ее правильно понять. Мне подлили еще вина, и я рассказал анекдот

об английском рядовом, которого поставили под душ. Потом майор рассказал анекдот об одиннадцати чехословаках и венгерском капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот о жокее, который нашел пенни. Майор сказал, что есть забавный итальянский анекдот о герцогине, которой не спалось по ночам. Тут священник ушел, и я рассказал анекдот о коммивояжере, который приехал в Марсель в пять часов утра, когда дул мистраль. Майор сказал, что до него дошли слухи, что я умею пить. Я отрицал это. Он сказал, что это верно и что, Бахус свидетель, он проверит, так это или нет. Только не Бахус, сказал я. Не Бахус. Да, Бахус, сказал он. Я должен пить на выдержку с Басси Филиппо Винченца. Басси сказал нет, это несправедливо, потому что он уже выпил вдвое больше, чем я. Я сказал, что это гнусная ложь, Бахус или не Бахус, Филиппо Винченца Басси или Басси Филиппо Винченца ни капли не проглотил за весь вечер, и как его, собственно, зовут? Он спросил, а как меня зовут — Энрико Федерико или Федерико Энрико? Я сказал, Бахуса к черту, а кто крепче, тот и победит, и майор дал нам старт кружками красного вина. Выпив половину кружки, я не захотел продолжать. Я вспомнил, куда иду.

— Басси победил,— сказал я.— Он крепче. Мне пора идти.

— Верно, ему пора,— сказал Ринальди.— У него свидание. Уж я знаю.

— Мне пора идти.

— До другого раза,— сказал Басси.— До другого раза, когда у вас сил будет больше.

Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были очень веселы.

— Спокойной ночи, господа,— сказал я.

Ринальди вышел вместе со мной. Мы остановились у подъезда, и он сказал:

— Вы бы лучше не ходили туда пьяным.

— Я не пьян, Ринин. Честное слово.

— Вы бы хоть пожевали кофейных зерен.

— Ерунда.

— Я вам сейчас принесу, бэби. Пока погуляйте здесь.— Он вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен.— Пожуйте, бэби, и да хранит вас бог.

— Бахус,— сказал я.

— Я провожу вас.

— Да я в полном порядке.

Мы шли вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда в аллею, которая вела к вилле англичан, Ринальди пожелал мне спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сказал я.— Почему бы и вам не зайти?

Он покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Я предпочитаю более простые удовольствия.

— Спасибо за кофейные зерна.

— Не стоит, бэби. Не стоит.

Я пошел по аллее. Очертания кипарисов по сторонам были четкие и ясные. Я оглянулся и увидел, что Ринальди стоит и смотрит мне вслед, и я помахал ему рукой.

Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль. Я встал, но это была не Кэтрин. Это была мисс Фергюсон.

— Хэлло,— сказала она.— Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться.

— Как жаль. Она не больна, надеюсь?

— Она не совсем здорова.

— Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен.

— Скажу.

— А может быть, мне зайти завтра утром?

— Зайдите.

— Очень вам благодарен,— сказал я.— Покойной ночи.

Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин, я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо и я почувствовал себя одиноким.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака и мы должны выехать туда с четырьмя машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим апломбом, выказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и, когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать нас на перекрестке у Кормонской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел по аллее и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли.

— Она на дежурстве.

— Нельзя ли мне повидать ее на одну минуту?

Послали санитара узнать, и он вернулся с ней вместе.

— Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать.

— Я вполне здорова,— сказала она.— Вероятно, это от жары меня вчера разморило.

— Мне надо идти.

— Я на минутку выйду с вами.

— Вы себя совсем хорошо чувствуете? — спросил я, когда мы вышли.

— Да, милый. Вы сегодня придете?

— Нет. Я сейчас еду — сегодня потеха на Плаве.

— Потеха?

— Едва ли будет что-нибудь серьезное.

— А когда вы вернетесь?

— Завтра.

Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку.

— Это святой Антоний,— сказала она.— А завтра вечером приходите.

— Разве вы католичка?

— Нет. Но святой Антоний, говорят, очень помогает.

— Буду беречь его ради вас. Прощайте.

— Нет,— сказала она.— Не прощайте.

— Слушаюсь.

— Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться. Нельзя.

— Слушаюсь.

Я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще помахала рукой, и потом аллея кончилась, и я уже усаживался в машину, и мы тронулись. Святой Антоний был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь.

— Святой Антоний? — спросил шофер.

— Да.

— У меня тоже есть.— Его правая рука отпустила руль, отстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки такой же медальон.— Видите?

Я положил святого Антония обратно в медальон, собрал в комок тоненькую золотую цепочку и все вместе спрятал в боковой карман.

— Вы его не наденете на шею?

— Нет.

— Лучше надеть. А иначе зачем он?

— Хорошо,— сказал я. Я расстегнул замок золотой цепочки, надел ее на шею и снова застегнул замок. Святой повис на моем форменном френче, и я раскрыл ворот, отстегнул воротник рубашки и опустил святого Антония под рубашку. Сидя в машине, я чувствовал на груди его металлический футляр. Скоро я позабыл о нем. После своего ранения я его больше не видел. Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте.

Переправившись через мост, мы поехали быстрее, и скоро впереди на дороге мы увидели пыль от остальных машин. Дорога сделала петлю, и мы увидели все три машины; они казались совсем маленькими, пыль вставала из-под колес и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали их и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Ехать в колонне совсем не плохо, если находишься в головной машине, и я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы ехали по предгорью со стороны реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие горы, на которых уже лежал снег. Я оглянулся и увидел, как остальные три машины поднимаются в гору, отделенные друг от

друга облаками пыли. Мы миновали длинный караван навьюченных мулов; рядом с мулами шли погонщики в красных фесках. Это были берсальеры.

После каравана мулов нам уже больше ничего не попадалось навстречу, и мы взбирались с холма на холм и потом длинным отлогим склоном спустились в речную долину. Здесь дорога была обсажена деревьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди полос песка и гальки, а иногда, как сияние, разливалась по устланному галькой дну. У самого берега я видел глубокие ямы, вода в них была голубая, как небо. Я видел каменные мостики, дугой перекинутые через реку, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и каменные крестьянские дома с канделябрами грушевых деревьев вдоль южной стены, и низкие каменные ограды в полях. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься в гору. Дорога круто поднималась вверх, вилась и кружила в каштановой роще и наконец пошла вдоль кряжа горы. В просветах между деревьями видна была долина, и там, далеко внизу, блестела на солнце извилина реки, разделявшей две армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, проложенной по самому гребню кряжа, и я смотрел на север, где тянулись две цепи гор, зеленые и темные до линии вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Потом, когда опять начался подъем, я увидел третью цепь гор, высокие снеговые горы, белые, как мел, и изрезанные причудливыми складками, а за ними вдалеке вставали еще горы, и нельзя было сказать, видишь ли их или это только кажется. Это все были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и мулы с горными орудиями, и, когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой, у подножья горы, разрушенные дома городка, который мы должны были взять.

Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на главную дорогу, проложенную вдоль берега реки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дорога была запружена транспортом и людьми; по обе стороны ее тянулись щиты из рогожи и соломенных циновок, и циновки перекрывали ее сверху, делая похожей на вход в цирк или селение дикарей. Мы медленно продвигались по этому соломенному туннелю и наконец выехали на голое, расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сде-

ланы укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось, и, глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие па закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Среди врачей было трое моих знакомых. Главный врач сказал мне, что, когда начнется и наши машины примут раненых, мы повезем их замаскированной дорогой вдоль берега и потом вверх, к перевалу, где расположен пост и где раненых будут ждать другие машины. Только бы на дороге не образовалась пробка, сказал он. Другого пути не было. Дорогу замаскировали, потому что она просматривалась с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, береговая насыпь защищала нас от ружейного и пулеметного огня. Через реку вел только один полуразрушенный мост. Когда начнется артиллерийский обстрел, наведут еще один мост, а часть войск переправится вброд у изгиба реки, где мелко. Главный врач был низенький человек с подкрученными кверху усами. Он был в чине майора, участвовал в ливийской войне и имел две нашивки за ранения. Он сказал, что если все пройдет хорошо, он представит меня к награде. Я сказал, что, надеюсь, все пройдет хорошо, и поблагодарил его за доброту. Я спросил, есть ли здесь большой блиндаж, где могли бы поместиться шоферы, и он вызвал солдата проводить меня. Я пошел за солдатом, и мы очень быстро дошли до блиндажа, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач пригласил меня выпить с ним и еще с двумя офицерами. Мы выпили рому, и я почувствовал себя среди друзей. Становилось темно. Я спросил, в котором часу начнется атака, и мне сказали, что как только совсем стемнеет. Я вернулся к шоферам. Они сидели в блиндаже и разговаривали, и когда я вошел, они замолчали. Я дал им по пачке сигарет «Македония», слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак, и нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и дал всем закурить. Зажигалка была сделана в виде радиатора фиата. Я рассказал им все, что узнал.

— Почему мы не видели поста, когда сюда ехали? — спросил Пассини.

— Он как раз за поворотом, где мы свернули.

— Да, весело будет ехать по этой дороге,— сказал Маньера.

— Дадут нам жизни австрийцы, так их и так.

— Уж будьте покойны.

— А как насчет того, чтобы поесть, лейтенант? Когда начнется, нечего будет и думать об еде.

— Сейчас пойду узнаю,— сказал я.

— Нам тут сидеть или можно выйти наружу?

— Лучше сидите тут.

Я отправился к главному врачу, и он сказал, что походная кухня сейчас прибудет и шоферы могут прийти за похлебкой. Котелки он им даст, если у них своих нет. Я сказал, что, кажет-

ся, у них есть свои. Я вернулся назад и сказал шоферам, что приду за ними, как только привезут еду. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли, прежде чем начнется обстрел. Они молчали, пока я не ушел. Они все четверо были механики и ненавидели войну.

Я пошел проведать машины и посмотреть, что делается кругом, а затем вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стенке, и курили. Снаружи было уже почти темно. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я прислонился к стенке плечами и расслабил все мышцы тела.

— Кто идет в атаку? — спросил Гавуцци.

— Берсальеры.

— Одни берсальеры?

— Кажется, да.

— Для настоящей атаки здесь слишком мало войск.

— Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь.

— А солдаты, которые идут в атаку, это знают?

— Не думаю.

— Конечно, не знают,— сказал Маньера.— Знали бы, так не пошли бы.

— Еще как пошли бы,— сказал Пассини.— Берсальеры дураки.

— Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину,— сказал я.

— Они здоровые парни, и у них у всех грудь широченная. Но все равно они дураки.

— Вот гренадеры молодцы,— сказал Маньера. Это была шутка. Все четверо захохотали.

— Это при вас было, tenente, когда они отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли?

— Нет.

— Было такое дело. Их выстроили и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали.

— Карабинеры,— сказал Пассини и сплюнул на землю.— Но гренадеры-то: шести футов росту. И отказались идти.

— Вот отказались бы все, и война бы кончилась,— сказал Маньера.

— Ну, гренадеры вовсе об этом не думали. Просто струсили. Офицеры-то все были из знати.

— А некоторые офицеры одни пошли.

— Двоих офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти.

— Некоторые рядовые тоже пошли.

— Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали десятого.

— Одного моего земляка там расстреляли,— сказал Пассини.— Большой такой, красивый парень, высокий, как раз для гренадера. Вечно в Риме. Вечно с девочками. Вечно с карабинерами.— Он засмеялся.— Теперь у его дома поставили часового со

штыком, и никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер, а его отца лишили всех гражданских прав, и даже голосовать он не может. И закон их больше не защищает. Всякий приходи и бери у них что хочешь.

— Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку.

— Ну да. Альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора-Эммануила пошел бы. Пожалуй, и берсальеры тоже.

— А ведь и берсальеры удирали. Теперь они стараются забыть об этом.

— Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, tenente. Evviva l'esercito! [1] — ехидно заметил Пассини.

— Я эти разговоры уже слышал,— сказал я.— Но покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело...

— ...и говорите достаточно тихо, чтобы не могли услышать другие офицеры,— закончил Маньера.

— Я считаю, что мы должны довести войну до конца,— сказал я.— Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться.

— Хуже быть не может,— почтительно сказал Пассини.

— Нет ничего хуже войны.

— Поражение еще хуже.

— Вряд ли,— сказал Пассини по-прежнему почтительно.— Что такое поражение? Ну, вернемся домой.

— Враг пойдет за вами. Возьмет ваш дом. Возьмет ваших сестер.

— Едва ли,— сказал Пассини.— Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом. Пусть не выпускает сестер за дверь.

— Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту.

— Так уж каждого и повесят.

— Не может чужое государство заставить за себя воевать,— сказал Маньера.— В первом же сражении все разбегутся.

— Как чехи.

— Вы просто не знаете, что значит быть побежденным, вот вам и кажется, что это не так уж плохо.

— Tenente,— сказал Пассини,— вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну.

— Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца.

— Конца нет. Война не имеет конца.

[1] Да здравствует армия! *(итал.)*

— Нет, конец есть.

Пассини покачал головой.

— Войну не выигрывают победами. Ну, возьмем мы Сан-Габриеле. Ну, возьмем Карсо, и Монфальконе, и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же, вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна сторона должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина. Так нет же, непременно нужно воевать.

— Вы настоящий оратор.

— Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.

— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.

— Эти люди еще наживаются на войне.

— Многие даже и не наживаются,— сказал Пассини.— Они слишком глупы. Они делают это просто так. Из глупости.

— Ну, хватит,— сказал Маньера.— Мы слишком разболтались, даже для tenente.

— Ему это нравится,— сказал Пассини.— Мы его обратим в свою веру.

— Но пока хватит,— сказал Маньера.

— Что ж, дадут нам поесть, tenente? — спросил Гавуцци.

— Сейчас я узнаю,— сказал я.

Гордини встал и вышел вместе со мной.

— Может, что-нибудь нужно сделать, tenente? Я вам ничем не могу помочь? — Он был самый тихий из всех четырех.

— Если хотите, идемте со мной,— сказал я,— узнаем, как там.

Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сновали над горами. На нашем фронте в ходу были огромные прожекторы, установленные на грузовиках, и порой, проезжая ночью близ самых позиций, можно было увидеть такой грузовик, остановившийся в стороне от дороги, офицера, направляющего свет, и перепуганную команду. Мы прошли заводским двором и остановились у главного перевязочного пункта. Снаружи над входом был небольшой навес из зеленых ветвей, и ночной ветер шуршал в темноте высохшими на солнце листьями. Внутри был свет. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Он предложил мне коньяку. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутыли с притертыми пробками. Гордини стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона.

— Сейчас начинается,— сказал он.— Решили не откладывать.

Я выглянул наружу, было темно, и лучи австрийских прожекторов сновали над горами позади нас. С минуту было тихо, потом все орудия позади нас открыли огонь.

— Савойя,— сказал главный врач.

— А где обед? — спросил я. Он не слышал. Я повторил.

— Еще не подвезли.

Большой снаряд пролетел и разорвался на заводском дворе. Еще один разорвался, и в шуме разрыва можно было расслышать более дробный шум от осколков кирпича и комьев грязи, дождем сыпавшихся вниз.

— Что-нибудь найдется перекусить?

— Есть немного pasta asciutta [1],— сказал главный врач.

— Давайте что есть.

Главный врач сказал что-то санитару, тот скрылся в глубине помещения и вынес оттуда металлический таз с холодными макаронами. Я передал его Гордини.

— Нет ли сыра?

Главный врач ворчливо сказал еще что-то санитару, тот снова нырнул вглубь и принес четверть круга белого сыра.

— Спасибо,— сказал я.

— Я вам не советую сейчас идти.

Что-то поставили на землю у входа снаружи. Один из санитаров, которые принесли это, заглянул внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал главный врач.— Ну, в чем дело? Прикажете нам самим выйти и взять его?

Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в помещение.

— Разрежьте рукав,— сказал главный врач.

Он держал пинцет с куском марли. Остальные два врача сняли шинели.

— Ступайте,— сказал главный врач санитарам.

— Идемте, tenente,— сказал Гордини.

— Подождите лучше, пока огонь прекратится,— не оборачиваясь, сказал главный врач.

— Люди голодны,— сказал я.

— Ну, как вам угодно.

Выйдя на заводской двор, мы пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашмя бросились на землю и в шуме и грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр, весь в кирпичной пыли, облепившей его гладкую поверхность. В блиндаже три шофера по-прежнему сидели у стены и курили.

— Ну, вот вам, патриоты,— сказал я.

— Как там машины? — спросил Маньера.

— В порядке,— сказал я.

— Напугались, tenente?

— Есть грех,— сказал я.

---

[1] Блюдо из макарон *(итал.)*.

Я вынул свой ножик, открыл его, вытер лезвие и соскоблил верхний слой сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами.

— Начинайте вы.

— Нет,— сказал я.— Поставьте на пол. Будем есть все вместе.

— Вилок нет.

— Ну и черт с ними,— сказал я по-английски.

Я разрезал сыр на куски и разложил на макаронах.

— Прошу,— сказал я.

Они придвинулись и ждали. Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить. Потянулась клейкая масса.

— Повыше поднимайте, tenente.

Я поднял руку до уровня плеча, и макароны отстали. Я опустил их в рот, втянул и поймал губами концы, прожевал, потом взял кусочек сыру, прожевал и запил глотком вина. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу Пассини.

— Дрянь,— сказал я.— Слишком долго оставалось во фляге. Я вез ее с собой в машине.

Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я еще раз набрал полный рот, и откусил сыру, и отпил вина. Снаружи что-то бухнуло, и земля затряслась.

— Четырехсотдвадцатимиллиметровое или миномет,— сказал Гавуцци.

— В горах такого калибра не бывает,— сказал я.

— У них есть орудия Шкода. Я видел воронки.

— Трехсотпятимиллиметровые.

Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как при пуске паровоза, и потом взрыв, от которого опять затряслась земля.

— Блиндаж не очень глубокий,— сказал Пассини.

— А вот это, должно быть, миномет.

— Точно.

Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло, точно настежь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв и что напрасно думают, будто умираешь, и все. Потом я поплыл по воздуху, но, вместо того чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя. Земля была разворочена, и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка. Голова моя тряслась, и я вдруг услышал чей-то плач. Потом словно кто-то вскрикнул. Я хотел шевельнуться, но я не мог шевельнуться. Я слышал пулеметную и ружейную стрельбу за рекой и по всей реке. Раздался

громкий всплеск, и я увидел, как взвились осветительные снаряды, и разорвались, и залили все белым светом, и как взлетели ракеты, и услышал взрывы мин, и все это в одно мгновение, и потом я услышал, как совсем рядом кто-то сказал: «Mamma mia! [1] O mamma mia!» Я стал вытягиваться и извиваться и наконец высвободил ноги и перевернулся и дотронулся до него. Это был Пассини, и, когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одну оторвало совсем, а другая висела на сухожилии и лохмотьях штанины, и обрубок корчился и дергался, словно сам по себе. Он закусил свою руку и стонал: «O mamma mia, mamma mia!» — и потом: «Dio te salve, Maria [2]. Dio te salve, Maria. О Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть, mamma mia, mamma mia! Пречистая дева Мария, дай мне умереть. Не могу я. Не могу. Не могу. О Иисус, пречистая дева, не могу я. О-о-о-о!» Потом, задыхаясь: «Mamma, mamma mia!» Потом он затих, кусая свою руку, а обрубок все дергался.

— Portaferiti! [3] — закричал я, сложив руки воронкой.— Portaferiti! — Я хотел подползти к Пассини, чтобы наложить ему на ноги турникет, но я не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги сдвинулись немного. Теперь я мог подтягиваться на локтях. Пассини не было слышно. Я сел рядом с ним, расстегнул свой френч и попытался оторвать подол рубашки. Ткань не поддавалась, и я надорвал край зубами. Тут я вспомнил об его обмотках. На мне были шерстяные носки, но Пассини ходил в обмотках. Все шоферы ходили в обмотках. Но у Пассини оставалась только одна нога. Я отыскал конец обмотки, но, разматывая, я увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что он уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв. Нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и башмаки стали теплые и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и колено было там, вывернутое на сторону. Я вытер руку о рубашку, и откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. «Господи,— сказал я,— вызволи меня отсюда!» Но я знал, что должны быть еще трое. Шоферов было четверо. Пассини убит. Остаются трое. Кто-то подхватил меня под мышки, и еще кто-то стал поднимать мои ноги.

— Должны быть еще трое,— сказал я.— Один убит.

— Это я, Маньера. Мы ходили за носилками, но не нашли. Как вы, tenente?

---

[1] Мама моя! *(итал.)*
[2] Спаси тебя бог, Мария *(итал.)*.
[3] Носилки! *(итал.)*

— Где Гордини и Гавуцци?

— Гордини на пункте, ему делают перевязку. Гавуцци держит ваши ноги. Возьмите меня за шею, tenente. Вы тяжело ранены?

— В ногу. А что с Гордини?

— Отделался пустяками. Это была мина. Снаряд из миномета.

— Пассини убит.

— Да. Убит.

Рядом разорвался снаряд, и они оба бросились на землю и уронили меня.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Держитесь за мою шею.

— Вы меня опять уроните.

— Это с перепугу.

— Вы не ранены?

— Ранены оба, но легко.

— Гордини сможет вести машину?

— Едва ли.

Пока мы добрались до пункта, они уронили меня еще раз.

— Сволочи! — сказал я.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Больше не будем.

В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне виден был свет, горевший внутри. Мертвые были сложены в стороне. Врачи работали, до плеч засучив рукава, и были красны, как мясники. Носилок не хватало. Некоторые из раненых стонали, но большинство лежало тихо. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Все время подходили санитары, ставили носилки на землю, освобождали их и снова уходили. Как только мы добрались до пункта, Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. Он сказал, что потеря крови незначительна благодаря тому, что столько грязи набилось в рану. Как только можно будет, меня возьмут на операцию. Он вернулся в помещение пункта. Гордини вести машину не может, сказал Маньера. У него раздроблено плечо и разбита голова. Сгоряча он не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело. Он там сидит у кирпичной стены. Маньера и Гавуцци погрузили в свои машины раненых и уехали. Им ранение не мешало. Пришли три английские машины с двумя санитарами на каждой. Ко мне подошел один из английских шоферов, его привел Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид. Шофер наклонился ко мне.

— Вы тяжело ранены? — спросил он. Это был человек высокого роста, в стальных очках.

— Обе ноги.

— Надеюсь, не серьезно. Хотите сигарету?

— Спасибо.

— Я слыхал, вы потеряли двух шоферов?

— Да. Один убит, другой — тот, что вас привел.

— Скверное дело. Может быть, нам взять их машины?

— Я как раз хотел просить вас об этом.

— Они у нас будут в порядке, а потом мы их вам вернем. Вы ведь из двести шестого?

— Да.

— Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе. Мне сказали, что вы американец.

— Да.

— А я англичанин.

— Неужели?

— Да, англичанин. А вы думали — итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы.

— Очень хорошо, если вы возьмете наши машины,— сказал я.

— Мы вам возвратим их в полном порядке.— Он выпрямился.— Ваш шофер очень просил меня с вами сговориться.— Он похлопал Гордини по плечу. Гордини вздрогнул и улыбнулся. Англичанин легко и бегло заговорил по-итальянски:

— Ну, все улажено. Я сговорился с твоим tenente. Мы берем обе ваши машины. Теперь тебе не о чем тревожиться.— Он прервал себя.— Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас вытащили отсюда. Я сейчас поговорю с врачами. Мы возьмем вас с собой, когда поедем.

Он направился ко входу, осторожно ступая между ранеными. Я увидел, как приподнялось одеяло, которым занавешен был вход, стал виден свет, и он вошел туда.

— Он позаботится о вас, tenente,— сказал Гордини.

— Как вы себя чувствуете, Франко?

— Ничего.

Он сел рядом со мной. В это время одеяло, которым занавешен был вход на пункт, приподнялось, и оттуда вышли два санитара и с ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне.

— Вот американский tenente,— сказал он по-итальянски.

— Я могу подождать,— сказал я.— Тут есть гораздо более тяжело раненные. Мне не так уж плохо.

— Ну, ну, ладно,— сказал он,— нечего разыгрывать героя.— Затем по-итальянски: — Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона.

Они подняли меня и внесли в помещение пункта. На всех столах оперировали. Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас. Он узнал меня и помахал мне щипцами.

— Ça va bien? [1]

— Ça va [2].

---

[1] Ну как, ничего? *(франц.)*

[2] Ничего *(франц.)*.

— Это я его принес,— сказал высокий англичанин по-итальянски.— Единственный сын американского посла. Он полежит тут, пока вы сможете им заняться. А потом я первым же рейсом отвезу его.— Он наклонился ко мне.— Я посмотрю, чтобы вам выправили документы, тогда дело пойдет быстрее. Он нагнулся, чтобы пройти в дверь, и вышел. Главный врач разнял щипцы и бросил их в таз. Я следил за его движениями. Теперь он накладывал повязку. Потом санитары сняли раненого со стола.

— Давайте мне американского tenente,— сказал один из врачей.

Меня подняли и положили на стол. Он был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов, запахи лекарств и сладкий запах крови. С меня сняли брюки, и врач стал диктовать фельдшеру-ассистенту, продолжая работать:

— Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни. Глубокие ранения правого колена и ступни. Рваные раны на голове (он вставил зонд: «Больно?» — «О-о-о, черт! Да!») с возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту.— Так вас, по крайней мере, не предадут военно-полевому суду за умышленное членовредительство,— сказал он.— Хотите глоток коньяку? Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Так, спасибо. Сейчас я немножко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас прекрасно свертывается кровь.

Ассистент, поднимая глаза от карточки:

— Чем нанесены ранения?

Врач:

— Чем это вас?

Я, с закрытыми глазами:

— Миной.

Врач, делая что-то, причиняющее острую боль, и разрезая ткани:

— Вы уверены?

Я, стараясь лежать спокойно и чувствуя, как в животе у меня вздрагивает, когда скальпель врезается в тело:

— Кажется, так.

Врач, обнаружив что-то, заинтересовавшее его:

— Осколки неприятельской мины. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны, но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и... Что, жжет? Ну, это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боль еще не началась. Принесите ему стопку коньяку. Шок притупляет ощущение боли. Но все равно опасаться нам нечего, если только не будет заражения, а это теперь случается редко. Как ваша голова?

— О господи! — сказал я.

— Тогда лучше не пейте много коньяку. Если есть трещина, может начаться воспаление, а это ни к чему. Что, вот здесь — больно?

Меня бросило в пот.

— О господи! — сказал я.

— По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас забинтую, а вы не вертите головой.

Он начал перевязывать. Руки его двигались очень быстро, и перевязка выходила тугая и крепкая.

— Ну вот, счастливый путь, и Vive la France! [1]

— Он американец,— сказал другой врач.

— А мне показалось, вы сказали: француз. Он говорит по-французски,— сказал врач.— Я его знал раньше. Я всегда думал, что он француз.— Он выпил полстопки коньяку.— Ну, давайте что-нибудь посерьезнее. И приготовьте еще противостолбнячной сыворотки.— Он помахал мне рукой. Меня подняли и понесли; одеяло, служившее занавеской, мазнуло меня по лицу. Фельдшер-ассистент стал возле меня на колени, когда меня уложили.

— Фамилия? — спросил он вполголоса.— Имя? Возраст? Чин? Место рождения? Какой части? Какого корпуса? — И так далее.— Неприятно, что у вас и голова задета, tenente. Но сейчас вам, вероятно, уже лучше. Я вас отправлю с английской санитарной машиной.

— Мне хорошо,— сказал я.— Очень вам благодарен.

Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Немного погодя подъехала английская машина, меня положили на носилки, потом носилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Рядом были еще носилки, и на них лежал человек, все лицо которого было забинтовано, только нос, совсем восковой, торчал из бинтов. Он тяжело дышал. Еще двое носилок подняли и просунули в ременные лямки наверху. Высокий шофер-англичанин подошел и заглянул в дверцу.

— Я поеду потихоньку,— сказал он.— Постараюсь не беспокоить вас.— Я чувствовал, как завели мотор, чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье, чувствовал, как он выключил тормоз и дал скорость. Потом мы тронулись. Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли.

Когда начался подъем, машина сбавила скорость, порой она останавливалась, порой давала задний ход на повороте, наконец довольно быстро поехала в гору. Я почувствовал, как что-то стекает сверху. Сначала падали размеренные и редкие капли, потом полилось струйкой. Я окликнул шофера. Он остановил машину и обернулся к окошку.

— Что случилось?

— У раненого надо мной кровотечение.

— До перевала осталось совсем немного. Одному мне не вытащить носилок.

Машина тронулась снова. Струйка все лилась. В темноте я не мог разглядеть, в како́м месте она просачивалась сквозь

[1] Да здравствует Франция! *(франц.)*

брезент. Я попытался отодвинуться в сторону, чтобы на меня не попадало. Там, где мне натекло за рубашку, было тепло и липко. Я озяб, и нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя струйка полилась медленнее, и потом снова стали стекать капли, и я услышал и почувствовал, как брезент носилок задвигался, словно человек там старался улечься удобнее.

— Ну, как там? — спросил англичанин, оглянувшись.— Мы уже почти доехали.

— Мне кажется, он умер,— сказал я.

Капли падали очень медленно, как стекает вода с сосульки после захода солнца. Было холодно ночью в машине, подымавшейся в гору. На посту санитары вытащили носилки и заменили другими, и мы поехали дальше.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в комнате было много мух. Мой вестовой нарезал бумажных полос и, привязав их к палке в виде метелки, махал, отгоняя мух. Я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, они все слетели вниз, и я сдувал их и в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудило в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязки минеральной воды. От этого постель стала сырой и прохладной. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Время после обеда было самое спокойное. Утром три санитара и врач подходили к каждой койке по очереди, поднимали лежавшего на ней и уносили в перевязочную, чтобы можно было оправить постель, пока ему делали перевязку. Путешествие в перевязочную было не особенно приятно, но я тогда не знал, что можно оправить постель, не поднимая человека. Мой вестовой вылил всю воду, и постель стала прохладная и приятная, и я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошвы, чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и наклонился над койкой и поцеловал меня. Я заметил, что он в перчатках.

— Ну, как дела, бэби? Как вы себя чувствуете? Вот вам...— Он держал в руках бутылку коньяку. Вестовой принес ему стул, и он сел.— И еще приятная новость. Вы представлены к награде. Рассчитывайте на серебряную медаль, но, может быть, выйдет только бронзовая.

— За что?

— Ведь вы серьезно ранены. Говорят так: если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную. А не то будет бронзовая. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили подвиг?

— Нет,— сказал я.— Когда разорвалась мина, я ел сыр.

— Не дурите. Не может быть, чтобы вы не совершили какого-нибудь подвига или до того, или после. Припомните хорошенько.

— Ничего не совершал.

— Никого не переносили на плечах, уже будучи раненным? Гордини говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он.

— Никого я не носил. Я не мог шевельнуться.

— Это не важно,— сказал Ринальди.

Он снял перчатки.

— Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других?

— Не слишком решительно.

— Это не важно. А ваше ранение? А мужество, которое вы проявили,— ведь вы же все время просились на передний край. К тому же операция закончилась успешно.

— Значит, реку удалось форсировать?

— Еще как удалось! Захвачено около тысячи пленных. Так сказано в сводке. Вы ее не видели?

— Нет.

— Я вам принесу. Это блестящий coup de main [1].

— Ну, а как там у вас?

— Великолепно. Все обстоит великолепно. Все гордятся вами. Расскажите же мне, как было дело? Я уверен, что вы получите серебряную. Ну, говорите. Рассказывайте все по порядку.— Он помолчал, раздумывая.— Может быть, вы еще и английскую медаль получите. Там был один англичанин. Я его повидаю, спрошу, не согласится ли он поговорить о вас. Что-нибудь он, наверно, сумеет сделать. Болит сильно? Выпейте. Вестовой, сходите за штопором. Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту три метра тонких кишок. Об этом стоит написать в «Ланцет». Вы мне переведете, и я пошлю в «Ланцет». Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби, а как ваше самочувствие? Где же этот чертов штопор? Вы такой терпеливый и тихий, что я забываю о вашей ране.— Он хлопнул перчатками по краю кровати.

— Вот штопор, signor tenente,— сказал вестовой.

— Откупорьте бутылку. Принесите стакан. Выпейте, бэби. Как ваша голова? Я смотрел историю болезни. Трещины нет. Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы бы и боли не почувствовали. У меня никто не чувствует боли. Уж так я работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте. Хороший коньяк. Пятнадцать лир бутылка. Должен быть хороший. Пять звездочек. Прямо

[1] Выпад, удар *(франц.)*.

отсюда я пойду к этому англичанину, и он вам выхлопочет английскую медаль.

— Ее не так легко получить.

— Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами.

— Вы не видели мисс Баркли?

— Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда.

— Не уходите,— сказал я.— Расскажите мне о Горицин. Как девочки?

— Нет девочек. Уже две недели их не сменяли. Я больше туда и не хожу. Просто безобразие! Это уже не девочки, это старые боевые товарищи.

— Совсем не ходите?

— Только заглядываю иногда узнать, что нового. Так, мимоходом! Они все спрашивают про вас. Просто безобразие! Держат их так долго, что мы становимся друзьями.

— Может быть, нет больше желающих ехать на фронт?

— Не может быть. Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Придерживают их для тыловых героев.

— Бедный Ринальди! — сказал я.— Один-одинешенек на войне, и нет ему даже новых девочек.

Ринальди налил и себе коньяку.

— Это вам не повредит, бэби. Пейте.

Я выпил коньяк и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился. Он поднял свой стакан.

— За ваши доблестные раны! За серебряную медаль! Скажите-ка, бэби, все время лежать в такую жару — это вам не действует на нервы?

— Иногда.

— Я такого даже представить не могу. Я б с ума сошел.

— Вы и так сумасшедший.

— Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных похождений. Некого дразнить. Не у кого занять денег. Нет моего сожителя и названого брата. И зачем вам понадобилась эта рана?

— Вы можете дразнить священника.

— Уж этот священник! Вовсе не я его дразню. Дразнит капитан. А мне он нравится. Если вам понадобится священник, берите нашего. Он собирается навестить вас. Готовится к этому заблаговременно.

— Я его очень люблю.

— Это я знаю. Мне даже кажется иногда, что вы с ним немножко то самое. Ну, вы знаете.

— Ничего вам не кажется.

— Нет, иногда кажется.

— Да ну вас к черту!

Он встал и надел перчатки.

— До чего ж я люблю вас изводить, бэби. А ведь, несмотря на вашего священника и вашу англичанку, вы такой же, как и я, в душе.

— Ничего подобного.

— Конечно, такой же. Вы настоящий итальянец. Весь — огонь и дым, а внутри ничего нет. Вы только прикидываетесь американцем. Мы с вами братья и любим друг друга.

— Ну, будьте паинькой, пока меня нет,— сказал я.

— Я к вам пришлю мисс Баркли. Без меня вам с ней лучше. Вы чище и нежнее.

— Ну вас к черту!

— Я ее пришлю. Вашу прекрасную холодную богиню. Английскую богиню. Господи, да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка?

— Вы просто невежественный брехливый даго.

— Кто?

— Невежественный макаронник.

— Макаронник. Сами вы макаронник... с мороженой рожей.

— Невежественный. Тупой.— Я видел, что это слово кольнуло его, и продолжал: — Некультурный. Безграмотный. Безграмотный тупица.

— Ах, так? Я вот вам кое-что скажу о ваших невинных девушках. О ваших богинях. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все.— Он хлопнул перчаткой по кровати.— И еще с девушкой никогда не знаешь, как это ей понравится.

— Не злитесь.

— Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы. Чтобы избавить вас от лишних хлопот.

— В этом вся разница?

— Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают.

— Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали.

— Не стоит ссориться, бэби. Я вас слишком люблю. Но не будьте дураком.

— Нет. Я буду таким умным, как вы.

— Не злитесь, бэби. Засмейтесь. Выпейте еще. Мне пора идти.

— Вы все-таки славный малый.

— Вот видите. В душе вы такой же, как я. Мы — братья по войне. Поцелуйте меня на прощанье.

— Вы слюнтяй.

— Нет. Просто я более чуткий.

Я почувствовал его дыхание у своего лица.

— До свидания. Я скоро к вам еще приду.— Его дыхание отодвинулось.— Не хотите целоваться, не надо. Я к нам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь скорее.

Он исчез.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже смеркалось, когда вошел священник. Принесли суп, потом убрали тарелки, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка качающуюся от легкого вечернего ветра. Ветер проникал в окно, и с приближением ночи стало прохладнее. Мухи облепили теперь потолок и висевшие на шнурах электрические лампочки. Свет зажигали, только если ночью приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. Оттого что после сумерек сразу наступала темнота и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же после ужина тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он. На полу у постели он положил какие-то свертки.

— Хорошо, отец мой.

Он сел на стул, принесенный для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид.

— Я только на минутку,— сказал он.— Уже поздно.

— Еще не поздно. Как там у нас?

Он улыбнулся.

— Потешаются надо мной по-прежнему.— Голос у него тоже звучал устало.— Все, слава богу, здоровы. Я так рад, что у вас все обошлось,— сказал он.— Вам не очень больно?

Он казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым.

— Теперь уже нет.

— Мне очень скучно без вас за столом.

— Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами.

— Я вам тут кое-что принес,— сказал он. Он поднял с пола свертки.— Вот сетка от москитов. Вот бутылка вермута. Вы любите вермут? Вот английские газеты.

— Пожалуйста, разверните их.

Он обрадовался и стал вскрывать бандероли. Я взял в руки сетку от москитов. Вермут он приподнял, чтобы показать мне, а потом поставил опять на стол у постели. Я взял одну газету из пачки. Мне удалось прочитать заголовок, повернув газету так, чтобы на нее падал слабый свет из окна. Это была «Ньюс оф уорлд».

— Остальное — иллюстрированные листки,— сказал он.

— С большим удовольствием прочитаю их. Откуда они у вас?

— Я посылал за ними в Местре. Я достану еще.

— Вы очень добры, что навестили меня, отец мой. Выпьете стакан вермута?

— Спасибо, не стоит. Это вам.

— Нет, выпейте стаканчик.

— Ну, хорошо. В следующий раз я вам принесу еще.

Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка раскрошилась, и пришлось протолкнуть кусочек в бутылку. Я видел, что священника это огорчило, но он сказал:

— Ну, ничего. Не важно.

— За ваше здоровье, отец мой.

— За ваше здоровье.

Потом он держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это сегодня как-то не удавалось.

— Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид.

— Я устал, но я не имею на это права.

— Это от жары.

— Нет. Ведь еще только весна. На душе у меня тяжело.

— Вам опротивела война?

— Нет. Но я ненавижу войну.

— Я тоже не нахожу в ней удовольствия,— сказал я.

Он покачал головой и посмотрел в окно.

— Вам она не мешает. Вам она не видна. Простите. Я знаю, вы ранены.

— Это случайность.

— И все-таки, даже раненный, вы не видите ее. Я убежден в этом. Я сам не вижу ее, но я ее чувствую немного.

— Когда меня ранило, мы как раз говорили о войне. Пассини говорил.

Священник поставил стакан. Он думал о чем-то другом.

— Я их понимаю, потому что я сам такой, как они,— сказал он.

— Но вы совсем другой.

— А на самом деле я такой же, как они.

— Офицеры ничего не видят.

— Не все. Есть очень чуткие, им еще хуже, чем нам.

— Таких немного.

— Здесь дело не в образовании и не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером.

— По чину вы все равно что офицер. И я офицер.

— Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым.

— В чем же разница?

— Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране много таких. Есть другие люди, которые не хотят воевать.

— Но первые заставляют их.

— Да.

— А я помогаю этому.

— Вы иностранец. Вы патриот.

— А те, что не хотят воевать? Могут они помешать войне?

— Не знаю.

Он снова посмотрел в окно. Я следил за выражением его лица.

— Разве они когда-нибудь могли помешать?

— Они не организованы и поэтому не могут помешать ничему, а когда они организуются, их вожди предают их.

— Значит, это безнадежно?

— Нет, ничего безнадежного. Но бывает, что я не могу надеяться. Я всегда стараюсь надеяться, но бывает, что не могу.

— Но война кончится же когда-нибудь?

— Надеюсь.

— Что вы тогда будете делать?

— Если можно будет, вернусь в Абруццы.

Его смуглое лицо вдруг осветилось радостью.

— Вы любите Абруццы?

— Да, очень люблю.

— Вот и поезжайте туда.

— Это было бы большое счастье. Жить там и любить бога и служить ему.

— И пользоваться уважением,— сказал я.

— Да, и пользоваться уважением. А что?

— Ничего. У вас для этого есть все основания.

— Не в том дело. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить бога. Это не гнусная комедия.

— Понимаю.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы понимаете, но вы не любите бога.

— Нет.

— Совсем не любите? — спросил он.

— Иногда по ночам я боюсь его.

— Лучше бы вы любили его.

— Я мало кого люблю.

— Нет,— сказал он.— Неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали. Это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить.

— Я никого не люблю.

— Вы полюбите. Я знаю, что полюбите. И тогда вы будете счастливы.

— Я и так счастлив. Всегда счастлив.

— Это совсем другое. Вы не можете понять, что это, пока не испытаете.

— Хорошо,— сказал я,— если когда-нибудь я пойму, я скажу вам.

— Я слишком долго сижу с вами и слишком много болтаю.— Он искренне забеспокоился.

— Нет. Не уходите. А любовь к женщине? Если б я в самом деле полюбил женщину, тоже было бы так?

— Этого я не знаю. Я не любил ни одной женщины.

— А свою мать?

— Да, мать я, вероятно, любил.

— Вы всегда любили бога?

— С самого детства.

— Так,— сказал я. Я не знал, что сказать.— Вы совсем еще молоды.

— Я молод,— сказал он.— Но вы зовете меня отцом.

— Это из вежливости.

Он улыбнулся.

— Правда, мне пора идти,— сказал он.— Вам от меня ничего не нужно? — спросил он с надеждой.

— Нет. Только разговаривать с вами.

— Я передам от вас привет всем нашим.

— Спасибо за подарки.

— Не стоит.

— Приходите еще навестить меня.

— Приду. До свидания.— Он потрепал меня по руке.

— Прощайте,— сказал я на диалекте.

— Ciao,— повторил он.

В комнате было темно, и вестовой, который все время сидел в ногах постели, встал и пошел его проводить. Священник мне очень нравился, и я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруццы. В офицерской столовой ему отравляли жизнь, и он очень мило сносил это, но я думал о том, какой он у себя на родине. В Капракотта, рассказывал он, в речке под самым городом водится форель. Запрещено играть на флейте по ночам. Молодые люди поют серенады, и только играть на флейте запрещено. Я спросил — почему. Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Крестьяне зовут вас «дон» и снимают при встрече шляпу. Его отец каждый день охотится и заходит поесть в крестьянские хижины. Там это за честь считают. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. На Гран-Сассо д'Италиа водятся медведи, но это очень далеко. Аквила — красивый город. Летом по вечерам прохладно, а весна в Абруццах самая прекрасная во всей Италии. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом. И завтрака с собой никогда не нужно брать, крестьяне считают за честь, если поешь у них в доме вместе с ними. Немного погодя я заснул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Палата была длинная, с окнами по правой стене и дверью в углу, которая вела в перевязочную. Один ряд коек, где была и моя, стоял вдоль стены, напротив окон, а другой — под окнами, напротив стены. Лежа на левом боку, я видел дверь перевязочной. В глубине была еще одна дверь, в которую иногда входили люди. Когда у кого-нибудь начиналась агония, его койку загораживали ширмой так, чтобы никто не видел, как он умирает, и только баш-

маки и обмотки врачей и санитаров видны были из-под ширмы, а иногда под конец слышался шепот. Потом из-за ширмы выходил священник, и тогда санитары снова заходили за ширму и выносили оттуда умершего, с головой накрытого одеялом, и несли его вдоль прохода между койками, и кто-нибудь складывал ширму и убирал ее.

В это утро палатный врач спросил меня, чувствую ли я себя в силах завтра выехать. Я сказал, что да. Он сказал, что в таком случае меня отправят рано утром. Для меня лучше, сказал он, совершить переезд теперь, пока еще не слишком жарко.

Когда поднимали с койки, чтобы нести в перевязочную, можно было посмотреть в окно и увидеть новые могилы в саду. Там, у двери, выходящей в сад, сидел солдат, который мастерил кресты и писал на них имена, чины и названия полка тех, кто был похоронен в саду. Он также выполнял поручения раненых и в свободное время сделал мне зажигалку из пустого патрона от австрийской винтовки. Врачи были очень милые и казались очень опытными. Им непременно хотелось отправить меня в Милан. Нас торопились всех выписать и отправить в тыл, чтобы освободить все койки к началу наступления.

Вечером, накануне моего отъезда из полевого госпиталя, пришел Ринальди и с ним наш главный врач. Они сказали, что меня отправляют в Милан, в американский госпиталь, который только что открылся. Ожидалось прибытие из Америки нескольких санитарных отрядов, и этот госпиталь должен был обслуживать их и всех других американцев в итальянской армии. В Красном Кресте их было много. Соединенные Штаты объявили войну Германии, но не Австрии.

Итальянцы были уверены, что Америка объявит войну и Австрии, и поэтому они очень радовались приезду американцев, хотя бы просто служащих Красного Креста. Меня спросили, как я думаю, объявит ли президент Вильсон войну Австрии, и я сказал, что это вопрос дней. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логичным, что раз объявили войну Германии, значит, объявят и Австрии. Меня спросили, объявим ли мы войну Турции. Я сказал: да, вероятно, мы объявим войну Турции. А Болгарии? Мы уже выпили несколько стаканов коньяку, и я сказал: да, черт побери, и Болгарии тоже и Японии. Как же так, сказали они, ведь Япония союзница Англии. Все равно, этим гадам англичанам доверять нельзя. Японцы хотят Гавайские острова, сказал я. А где это Гавайские острова? В Тихом океане. А почему японцы их хотят? Да они их и не хотят вовсе, сказал я. Это все одни разговоры. Японцы прелестный маленький народ, любят танцы и легкое вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем у французов Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое побережье, сказал Ринальди. К Италии возвратится величие Рима, сказал майор. Мне не нравится Рим, сказал я. Там жарко и полно блох. Вам не нравится Рим? Нет, я люблю Рим. Рим — мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибр. Что? Ни-

чего. Поедемте все в Рим. Поедемте в Рим сегодня вечером и больше не вернемся. Рим — прекрасный город, сказал майор. Отец и мать народов, сказал я. Roma женского рода, сказал Ринальди. Roma не может быть отцом. А кто же тогда отец? Святой дух? Не богохульствуйте. Я не богохульствую, я прошу разъяснения. Вы пьяны, бэби. Кто меня напоил? Я вас напоил, сказал майор. Я вас напоил, потому что люблю вас и потому что Америка вступила в войну. Дальше некуда, сказал я. Вы утром уезжаете, бэби, сказал Ринальди. В Рим, сказал я. Нет, в Милан, сказал майор, в «Кристаль-Палас», в «Кова», к Кампари, к Биффи, в Galleria. Счастливчик. В «Гран-Италиа», сказал я, где я возьму взаймы у Жоржа. В «Ла Скала», сказал Ринальди. Вы будете ходить в «Ла Скала». Каждый вечер, сказал я. Вам будет не по карману каждый вечер, сказал майор. Билеты очень дороги. Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку, сказал я. Какой чек? Предъявительский. Он должен уплатить, или меня посадят в тюрьму. Мистер Кэпингэм в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота-внука, который умирает за спасение Италии? Да здравствует американский Гарибальди, сказал Ринальди. Да здравствуют предъявительские чеки, сказал я. Не надо шуметь, сказал майор. Нас уже несколько раз просили не шуметь. Так вы правда завтра едете, Федерико? Я же вам говорил, он едет в американский госпиталь, сказал Ринальди. К красоткам сестрам. Не то что бородатые сиделки полевого госпиталя. Да, да, сказал майор, я знаю, что он едет в американский госпиталь. Мне не мешают бороды, сказал я. Если кто хочет отпустить бороду — на здоровье. Отчего бы вам не отпустить бороду, signor maggiore? Она не влезет в противогаз. Влезет. В противогаз все влезет. Я раз наблевал в противогаз. Не так громко, бэби, сказал Ринальди. Мы все знаем, что вы были на фронте. Ах вы, милый бэби, что я буду делать, когда вы уедете? Нам пора, сказал майор. А то начинаются сантименты. Слушайте, у меня для вас есть сюрприз. Ваша англичанка. Знаете? Та, к которой вы каждый вечер ходили в английский госпиталь? Она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их riparto[1]. У них слишком много женщин здесь, на фронте. Решили отправить часть в тыл. Как это вам нравится, бэби? Ничего? А? Будете жить в большом городе и любезничать со своей англичанкой. Почему я не ранен? Еще успеете, сказал я. Нам пора, сказал майор. Мы пьем и шумим и беспокоим Федерико. Не уходите. Нет, нам пора. До свидания. Счастливый путь. Всего хорошего. Ciao. Ciao. Ciao. Поскорее возвращайтесь, бэби. Ринальди поцеловал меня. От вас пахнет лизолом. До свидания, бэби. До свидания. Всего хорошего. Майор похлопал меня по плечу. Они вышли на цыпочках. Я чувствовал, что совершенно пьян, но заснул.

[1] Отряд *(итал.)*.

На следующее утро мы выехали в Милан и ровно через двое суток прибыли на место. Ехать было скверно. Мы долго стояли на запасном пути, не доезжая Местре, и ребятишки подходили и заглядывали в окна. Я уговорил одного мальчика сходить за бутылкой коньяку, но он вернулся и сказал, что есть только граппа. Я велел ему взять граппу, и когда он принес бутылку, я сказал, чтобы сдачу он оставил себе, и мой сосед и я напились пьяными и проспали до самой Виченцы, где я проснулся, и меня вырвало прямо на пол. Это не имело значения, потому что моего соседа несколько раз вырвало на пол еще раньше. Потом я думал, что умру от жажды, и на остановке в Вероне я окликнул солдата, который прохаживался взад и вперед у поезда, и он принес мне воды. Я разбудил Жоржетти, соседа, который напился вместе со мной и предложил ему воды. Он сказал, чтобы я ее вылил ему на голову, и снова заснул. Солдат не хотел брать монету, которую я предложил ему за труды, и принес мне мясистый апельсин. Я сосал и выплевывал кожицу и смотрел, как солдат ходит взад и вперед у товарного вагона на соседнем пути, и немного погодя поезд дернул и тронулся.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мы приехали в Милан рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем, но, когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала сор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом. Потом они вернулись вместе со швейцаром. Швейцар был седоусый, в фуражке с галунами, но без ливреи. Носилки не умещались в кабине лифта, и они заспорили, что лучше: снять ли меня с носилок и поднять на лифте или нести на носилках по лестнице. Я слушал их спор. Они порешили — на лифте. Меня стали поднимать с носилок.

— Легче, легче,— сказал я.— Осторожнее.

В кабине было тесно, и, когда мои ноги согнулись, мне стало очень больно.

— Выпрямите мои ноги,— сказал я.

— Нельзя, signor tenente. Не хватает места.

Человек, сказавший это, поддерживал меня одной рукой, а я его обхватил за шею. Его дыхание обдало меня металлическим запахом чеснока и красного вина.

— Ты потише,— сказал другой санитар.

— А что я, не тихо, что ли?

— Потише, говорят тебе,— повторил другой, тот, что держал мои ноги.

Я увидел, как затворились двери кабины, захлопнулась решетка, и швейцар надавил кнопку четвертого этажа. У швейцара был озабоченный вид. Лифт медленно пошел вверх.

— Тяжело? — спросил я человека, от которого пахло чесноком.

— Ничего,— сказал он. На лице у него выступил пот, и он кряхтел. Лифт поднимался все выше и наконец остановился. Человек, который держал мои ноги, отворил дверь и вышел. Мы очу-

тились на площадке. На площадку выходило несколько дверей с медными ручками. Человек, который держал мои ноги, нажал кнопку. Мы услышали, как за дверью затрещал звонок. Никто не отозвался. Потом по лестнице поднялся швейцар.

— Где они все? — спросили санитары.

— Не знаю,— сказал швейцар.— Они спят внизу.

— Позовите кого-нибудь.

Швейцар позвонил, потом постучался, потом отворил дверь и вошел. Когда он вернулся, за ним шла пожилая женщина в очках. Волосы ее были растрепаны, и прическа разваливалась, она была в форме сестры милосердия.

— Я не понимаю,— сказала она.— Я не понимаю по-итальянски.

— Я говорю по-английски,— сказал я.— Нужно устроить меня куда-нибудь.

— Ни одна палата не готова. Мы еще никого не ждали.

Она старалась подобрать волосы и близоруко щурилась на меня.

— Покажите, куда меня положить.

— Не знаю,— сказала она.— Мы никого не ждали. Я не могу положить вас куда попало.

— Все равно куда,— сказал я. Затем швейцару по-итальянски: — Найдите свободную комнату.

— Они все свободны,— сказал швейцар.— Вы здесь первый раненый.— Он держал фуражку в руке и смотрел на пожилую сестру.

— Да положите вы меня куда-нибудь, ради бога! — Боль в согнутых ногах все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Швейцар скрылся за дверью вместе с седой сестрой и быстро вернулся.

— Идите за мной,— сказал он.

Меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. В ней пахло новой мебелью. У стены стояла кровать, в углу — большой зеркальный шкаф. Меня положили на кровать.

— Я не могу дать простынь,— сказала женщина,— простыни все заперты.

Я не стал разговаривать с ней.

— У меня в кармане деньги,— сказал я швейцару.— В том, который застегнут на пуговицу.

Швейцар достал деньги. Оба санитара стояли у постели с шапками в руках.

— Дайте им обоим по пять лир и пять лир возьмите себе. Мои бумаги в другом кармане. Можете отдать их сестре.

Санитары взяли под козырек и сказали спасибо.

— До свидания,— сказал я.— Вам тоже большое спасибо.

Они еще раз взяли под козырек и вышли.

— Вот,— сказал я сестре,— это моя карточка и история болезни.

Женщина взяла бумаги и посмотрела на них сквозь очки. Бумаг было три, и они были сложены.

— Я не знаю, что делать,— сказала она.— Я не умею читать по-итальянски. Я ничего не могу сделать без распоряжения врача.— Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника.— Вы американец? — спросила она сквозь слезы.

— Да. Положите, пожалуйста, бумаги на столик у кровати.

В комнате было полутемно и прохладно. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Швейцар стоял в ногах кровати. У него было славное лицо, и он казался мне добрым.

— Вы можете идти,— сказал я ему.— И вы тоже,— сказал я сестре.— Как вас зовут?

— Миссис Уокер.

— Идите, миссис Уокер. Я попытаюсь уснуть.

Я остался один в комнате. В ней было прохладно и не пахло больницей. Матрац был тугой и удобный, и я лежал не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль утихает. Немного погодя мне захотелось пить, и я нашел у изголовья грушу звонка и позвонил, но никто не явился. Я заснул.

Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся, и увидел сестру, не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой.

— Доброе утро,— сказал я.

— Доброе утро,— сказала она и подошла к кровати.— Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на Комо. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас?

— Я ранен. Оба колена и ступни, и голова тоже задета.

— Как вас зовут?

— Генри, Фредерик Генри.

— Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора.

— Скажите, мисс Баркли здесь?

— Нет. У нас такой нет.

— Что это за женщина, которая плакала, когда меня привезли?

Сестра рассмеялась.

— Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут.

Разговаривая, она раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать, очень легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта.

— Где вы получили ранение?

— На Изонцо, к северу от Плавы.

— Где это?

— К северу от Горицип.

Я видел, что все эти названия ничего не говорят ей.

— Вам очень больно?

Она вложила мне градусник в рот.

— Итальянцы ставят под мышку,— сказал я.

— Не разговаривайте.

Вынув градусник, она посмотрела температуру и сейчас же стряхнула.

— Какая температура?

— Вам не полагается знать.

— Скажите какая.

— Почти нормальная.

— У меня никогда не поднимается температура. А ведь мои ноги набиты старым железом.

— То есть как это?

— Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраца, и всякий хлам.

Она покачала головой и улыбнулась.

— Если б у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура.

— А вот посмотрим,— сказал я,— увидим, что извлекут при операции.

Она вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано.

— Кто заведует госпиталем?

— Мисс Ван-Кампен.

— Сколько тут сестер?

— Только мы две.

— А больше не будет?

— Должны приехать еще.

— А когда?

— Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным.

— Я не больной,— сказал я.— Я раненый.

Они покончили с постелью, и я лежал теперь на свежей, чистой простыне, укрытый другой такой же. Миссис Уокер вышла и возвратилась с пижамой в руках. Они натянули ее на меня, и я почувствовал себя одетым и очень чистым.

— Вы страшно любезны,— сказал я. Сестра, которую звали мисс Гэйдж, усмехнулась.— Я хотел бы попросить стакан воды.

— Пожалуйста. А потом можно и позавтракать.

— Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни.

В комнате был полумрак, и когда ставни раскрыли, ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон и за ним черепицы крыш и дымовые трубы. Я посмотрел поверх черепичных крыш и увидел белые облака и очень синее небо.

— Вы не знаете, когда должны приехать остальные сестры?
— А что? Разве вы недовольны нашим уходом?
— Вы очень любезны.
— Может быть, вам нужен подсов?
— Пожалуй.

Они приподняли меня и поддержали, но это оказалось бесполезным. Потом я лежал и глядел в открытую дверь на балкон.

— Когда доктор должен прийти?
— Как только вернется. Мы звонили по телефону на Комо, чтобы он приехал.
— Разве нет других врачей?
— Он наш госпитальный врач.

Мисс Гэйдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана, и потом они обе ушли, и я еще некоторое время смотрел в окно и потом снова заснул. Второй завтрак я съел, а после завтрака ко мне зашла заведующая, мисс Ван-Кампен. Я ей не понравился, и она не понравилась мне. Она была маленького роста, мелочно подозрительная и надутая высокомерием. Она задала мне множество вопросов и, по-видимому, считала почти позором службу в итальянской армии.

— Можно мне получить вина к обеду? — спросил я.
— Только по предписанию врача.
— А до его прихода нельзя?
— Ни в коем случае.
— Вы полагаете, что он все-таки явится?
— Ему звонили по телефону.

Она ушла, и в комнату вернулась мисс Гэйдж.

— Зачем вы нагрубили мисс Ван-Кампен? — спросила она, после того как очень ловко сделала для меня все, что нужно.
— Я не хотел грубить, но она очень задирает нос.
— Она сказала, что вы требовательны и грубы.
— Ничего подобного. Но, в самом деле, что за госпиталь без врача?
— Он должен приехать. Ему звонили по телефону на Комо.
— А что он там делает? Купается в озере?
— Нет. У него там клиника.
— Почему же не возьмут другого врача?
— Шш. Шш. Будьте паинькой, и он скоро приедет.

Я попросил позвать швейцара и, когда он пришел, сказал ему по-итальянски, чтобы он купил мне бутылку чинцано в винной лавке, флягу кьянти и вечернюю газету. Он пошел и принес бутылки завернутыми в газету, развернул их, откупорил по моей просьбе и поставил под кровать. Больше ко мне никто не приходил, и я лежал в постели и читал газету, известия с фронта и списки убитых офицеров и полученных ими наград, а потом опустил вниз руку, и достал бутылку с чинцано, и поставил ее холодным дном себе на живот, и пил понемножку, и между глотками снова ставил бутылку на живот, отпечатывая кружки на коже, и смотрел, как небо над городскими крышами становится все тем-

ней и темней. Над крышами летали ласточки и летали ночные ястребы, и я следил за их полетом и пил чинцано. Мисс Гэйдж принесла мне гоголь-моголь в стакане. Когда она вошла, я сунул бутылку за кровать.

— Мисс Ван-Кампен велела подлить сюда немного хересу,— сказала она.— Не нужно ей грубить. Она уже не молода, а заведовать госпиталем — большая ответственность. Миссис Уокер слишком стара, и от нее очень мало помощи.

— Она замечательная женщина,— сказал я,— поблагодарите ее от меня.

— Я сейчас принесу вам поужинать.

— Не стоит,— сказал я.— Я не голоден.

Когда она внесла поднос и поставила его на столик у постели, я поблагодарил ее и немного поел. Потом стало совсем темно, и мне видно было, как по небу сновали лучи прожекторов. Некоторое время я следил за ними, потом заснул. Я спал крепко, но один раз проснулся весь в поту от страха и потом заснул снова, стараясь не возвращаться в только что виденный сон. Я проснулся опять задолго до рассвета, и слышал, как пели петухи, и лежал без сна, пока не начало светать. Это утомило меня, и, когда совсем рассвело, я снова заснул.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Солнце ярко светило в комнату, когда я проснулся. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где нахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс Гэйдж; при ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошенькой.

— Доброе утро,— сказала она.— Ну, как спали?

— Хорошо, благодарю вас,— сказал я.— Нельзя ли позвать ко мне парикмахера?

— Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках.— Она открыла шкаф и показала мне бутылку с чинцано. Бутылка была почти пуста.— Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила туда,— сказала она.— Почему вы не попросили у меня стакан?

— Я боялся, что вы не позволите мне пить.

— Я бы и сама выпила с вами.

— Вот это вы молодец.

— Вам вредно пить одному,— сказала она.— Никогда этого не делайте.

— Больше не буду.

— Ваша мисс Баркли приехала,— сказала она.

— Правда?

— Да. Она мне не нравится.

— Потом понравится. Она очень славная.

Она покачала головой.

— Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда? Вот так, хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку.— Она умыла меня с помощью тряпочки, мыла и теплой воды.— Приподнимите руку,— сказала она.— Вот так, хорошо.

— Нельзя ли, чтоб парикмахер пришел до завтрака?

— Сейчас скажу швейцару.— Она вышла и скоро вернулась.— Швейцар пошел за ним,— сказала она и опустила тряпочку в таз с водой.

Парикмахер пришел вместе со швейцаром. Это был человек лет пятидесяти, с подкрученными кверху усами. Мисс Гэйдж кончила свои дела и вышла, а парикмахер намылил мне щеки и стал брить. Он делал все очень торжественно и воздерживался от разговора.

— Что же вы молчите? Рассказывайте новости,— сказал я.

— Какие новости?

— Все равно какие. Что слышно в городе?

— Теперь война,— сказал он.— У неприятеля повсюду уши.— Я оглянулся на него.— Пожалуйста, не вертите головой,— сказал он и продолжал брить.— Я ничего не скажу.

— Да что с вами такое? — спросил я.

— Я итальянец. Я не вступаю в разговоры с неприятелем.

Я не настаивал. Если он сумасшедший, то чем скорей он уберет от меня бритву, тем лучше. Один раз я попытался рассмотреть его.— Берегитесь,— сказал он.— Бритва острая.

Когда он кончил, я уплатил что следовало и прибавил пол-лиры на чай. Он вернул мне деньги.

— Я не возьму. Я не на фронте. Но я итальянец.

— Убирайтесь к черту!

— С вашего разрешения,— сказал он и завернул свои бритвы в газету. Он вышел, оставив пять медных монет на столике у кровати. Я позвонил. Вошла мисс Гэйдж.

— Будьте так добры, пришлите ко мне швейцара.

— Пожалуйста.

Швейцар пришел. Он с трудом удерживался от смеха.

— Что, этот парикмахер сумасшедший?

— Нет, signorino. Он ошибся. Он меня не расслышал, и ему показалось, будто я сказал, что вы австрийский офицер.

— О господи,— сказал я.

— Ха-ха-ха,— захохотал швейцар.— Вот потеха! «Только пошевелись он, говорит, и я бы ему...» — Швейцар провел пальцем по шее.— Ха-ха-ха! — Он никак не мог удержаться от смеха.— А когда я сказал ему, что вы не австриец! Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я сердито.— Вот была бы потеха, если б он перерезал мне глотку. Ха-ха-ха.

— Да нет же, signorino. Нет, нет. Он до смерти испугался австрийца. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я.— Убирайтесь вон.

Он вышел, и мне было слышно, как он хохочет за дверью. Я услышал чьи-то шаги в коридоре. Я оглянулся на дверь. Это была Кэтрин Баркли.

Она вошла в комнату и подошла к постели.

— Здравствуйте, милый! — сказала она. Лицо у нее было свежее и молодое и очень красивое. Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица.

— Здравствуйте! — сказал я. Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее. Все во мне перевернулось. Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал и почувствовал, как бьется ее сердце.

— Милая моя,— сказал я.— Как хорошо, что вы приехали.

— Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее.

— Вы должны остаться,— сказал я.— Вы прелесть.— Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь, и я крепко прижимал ее к себе.

— Не надо,— сказала она.— Вы еще нездоровы.

— Я здоров. Иди ко мне.

— Нет. Вы еще слабы.

— Да. Ничего я не слаб. Иди.

— Вы меня любите?

— Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну иди же.

— Слышите, как сердце бьется?

— Что мне сердце? Я хочу тебя. Я с ума схожу.

— Вы меня правда любите?

— Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди, Кэтрин.

— Ну, хорошо, но только на минутку.

— Хорошо,— сказал я.— Закрой дверь.

— Нельзя. Сейчас нельзя.

— Иди. Не говори ничего. Иди ко мне.

Кэтрин сидела в кресле у кровати. Дверь в коридор была открыта. Безумие миновало, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни.

Она спросила:

— Теперь ты веришь, что я тебя люблю?

— Ты моя дорогая,— сказал я.— Ты останешься здесь. Тебя никуда не переведут. Я с ума схожу от любви к тебе.

— Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Так нельзя.

— Ночью можно.

— Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних.

— Я буду осторожен.

— Ты должен, непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да?

— Не говори об этом. А то я тебя не отпущу.

— Ну, я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда.

— Возвращайся сейчас же.

— Я вернусь, как только можно будет.

— До свидания.

— До свидания, хороший мой.

Она вышла. Видит бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале, и всякие мысли кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо, и наконец в комнату вошла мисс Гэйдж.

— Доктор приезжает,— сказала она.— Он звонил с Комо.

— Когда он будет здесь?

— Он приедет вечером.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

До вечера ничего не произошло. Доктор был тихий, худенький человечек, которого война, казалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков. Он применил местную анестезию, или, как он говорил, «замораживание», от которого ткани одеревенели и боль не чувствовалась, пока зонд, скальпель или ланцет не проникали глубже замороженного слоя. Можно было точно определить, где этот слой кончается, и вскоре деликатность доктора истощилась, и он сказал, что лучше прибегнуть к рентгену. Зондирование ничего не дает, сказал он.

Рентгеновский кабинет был при Ospedale Maggiore [1], и доктор, который делал просвечивание, был шумный, ловкий и веселый. Пациента поддерживали за плечи, так что он сам мог видеть на экране самые крупные из инородных тел. Снимки должны были прислать потом. Доктор попросил меня написать в его записной книжке мое имя, полк и что-нибудь на память. Он объявил, что все инородное — безобразие, мерзость, гадость. Австрийцы просто сукины дети. Скольких я убил? Я не убивал ни одного, но мне очень хотелось сказать ему приятное, и я сказал, что убил тьму австрийцев. Со мной была мисс Гэйдж, и доктор обнял ее за талию и сказал, что она прекраснее Клеопатры. Понятно ей? Клеопатра — бывшая египетская царица. Да, как бог свят, она прекраснее. Санитарная машина отвезла нас обратно, в наш госпиталь, и через некоторое время, после многих перекладываний с носилок на носилки, я наконец очутился наверху, в своей постели. После

[1] Главный госпиталь *(итал.)*.

обеда прибыли снимки; доктор пообещал, что, как бог свят, они будут готовы после обеда, и сдержал обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Они были в красных конвертах, и она вынула их из конвертов, и мы вместе рассматривали их на свет.

— Это правая нога,— сказала она и вложила снимок опять в конверт.— А это левая.

— Положи их куда-нибудь,— сказал я,— а сама иди ко мне.

— Нельзя,— сказала она.— Я пришла только на минуточку, показать тебе снимки.

Она ушла, и я остался один. День был жаркий, и мне очень надоело лежать в постели. Я попросил швейцара пойти купить мне газеты, все газеты, какие только можно достать.

Пока я его дожидался, в комнату вошли три врача. Я давно заметил, что врачи, которым не хватает опыта, склонны прибегать друг к другу за помощью и советом. Врач, который не в состоянии как следует вырезать вам аппендикс, пошлет вас к другому, который не сумеет толком удалить вам гланды. Эти три врача были тоже из таких.

— Вот наш молодой человек,— сказал госпитальный врач, тот, у которого были деликатные движения.

— Здравствуйте,— сказал высокий, худой врач с бородой. Третий врач, державший в руках рентгеновские снимки в красных конвертах, ничего не сказал.

— Снимем повязки? — вопросительно произнес врач с бородой.

— Безусловно. Снимите, пожалуйста, повязки, сестра,— сказал госпитальный врач мисс Гэйдж.

Мисс Гэйдж сняла повязки. Я посмотрел на свои ноги. Когда я лежал в полевом госпитале, они были похожи на заветревший мясной фарш. Теперь их покрывала корка, и колено распухло и побелело, а икра обмякла, но гноя не было.

— Очень чисто,— сказал госпитальный врач.— Очень чисто и хорошо.

— Гм,— сказал врач с бородой. Третий врач заглянул через плечо госпитального врача.

— Согните, пожалуйста, колено,— сказал бородатый врач.

— Не могу.

— Проверим функционирование сустава? — вопросительно произнес бородатый врач. У него на рукаве, кроме трех звездочек, была еще полоска. Это означало, что он состоит в чине капитана медицинской службы.

— Безусловно,— сказал госпитальный врач. Вдвоем они осторожно взялись за мою правую ногу и стали сгибать ее.

— Больно,— сказал я.

— Так, так. Еще немножко, доктор.

— Довольно. Дальше не идет,— сказал я.

— Функционирование неполное,— сказал бородатый врач. Он выпрямился.— Разрешите еще раз взглянуть на снимки, док-

тор.— Третий врач подал ему один из снимков.— Нет. Левую ногу, пожалуйста.

— Это левая нога, доктор.

— Да, верно. Я смотрел не с той стороны.— Он вернул снимок. Другой снимок он разглядывал несколько минут.— Видите, доктор? — Он указал на одно из инородных тел, ясно и отчетливо видное на свет. Они рассматривали снимок еще несколько минут.

— Я могу сказать только одно,— сказал бородатый врач в чине капитана.— Это вопрос времени. Месяца три, а возможно, и полгода.

— Безусловно, ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость.

— Безусловно. Это вопрос времени. Я не взял бы на себя вскрыть такой коленный сустав, прежде чем вокруг осколка образуется капсула.

— Вполне разделяю ваше мнение, доктор.

— Для чего полгода? — спросил я.

— Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула и можно было без риска вскрыть коленный сустав.

— Я этому не верю,— сказал я.

— Вы хотите сохранить ногу, молодой человек?

— Нет,— сказал я.

— Что?

— Я хочу, чтобы ее отрезали,— сказал я,— так, чтобы можно было приделать к ней крючок.

— Что вы хотите сказать? Крючок?

— Он шутит,— сказал госпитальный врач и очень деликатно потрепал меня по плечу.— Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость.

— От души поздравляю,— сказал врач в чине капитана. Он пожал мне руку.— Я могу только сказать, что во избежание риска необходимо выждать, по крайней мере, полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения.

— Благодарю вас,— сказал я.— Ваше мнение для меня очень ценно.

Врач в чине капитана взглянул на часы.

— Нам пора идти,— сказал он.— Желаю вам всего хорошего.

— Вам также всего хорошего и большое спасибо,— сказал я.

Я пожал руку третьему врачу: «Capitano Varini — tenente Enry»,— и все трое вышли из комнаты.

— Мисс Гэйдж,— позвал я. Она вошла.— Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне.

Он пришел, держа кепи в руке, и стал у кровати.

— Вы хотели меня видеть?

— Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось вам когда-нибудь полгода лежать в постели?

— Вы не будете все время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце. Потом вы начнете ходить на костылях.

— Полгода, а потом операция?

— Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, когда вокруг инородных тел образуется капсула и снова накопится синовиальная жидкость. Тогда можно без риска вскрыть коленный сустав.

— А вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать?

— Это наименее рискованный путь.

— Кто этот врач в чине капитана?

— Это очень хороший миланский хирург.

— Ведь он в чине капитана, правда?

— Да, но он очень хороший хирург.

— Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор.

— Он очень хороший хирург, и я с его мнением считаюсь больше, чем с чьим бы то ни было.

— Можно показать мою ногу другому хирургу?

— Безусловно, если вы захотите. Но я лично последовал бы совету доктора Варелла.

— Вы можете пригласить ко мне другого хирурга?

— Я приглашу Валентини.

— Кто он такой?

— Хирург из Ospedale Maggiore.

— Идет. Я вам буду очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели.

— Вы не будете лежать в постели. Сначала вы будете принимать солнечные ванны. Потом можно перейти к легким упражнениям. Потом, когда образуется капсула, мы сделаем операцию.

— Но я не могу ждать полгода.

Доктор деликатным движением погладил кепи, которое он держал в руке, и улыбнулся.

— Вам так не терпится возвратиться на фронт?

— А почему бы и нет?

— Как это прекрасно! — сказал он.— Благородный молодой человек.— Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб.— Я пошлю за Валентини. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей.

— Стакан вина, доктор? — предложил я.

— Нет, благодарю. Я не пью.

— Ну, один стаканчик.— Я позвонил, чтобы швейцар принес стаканы.

— Нет, нет, благодарю вас, меня ждут.

— До свидания,— сказал я.

— До свидания.

Спустя два часа в комнату вошел доктор Валентини. Он очень торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора, у него было загорелое лицо, и он все время смеялся.

— Как это вас угораздило? — сказал он.— Ну-ка, покажите снимки. Так. Так. Вот оно что. Да вы, я вижу, здоровы, как бык. А кто эта хорошенькая девушка? Ваша возлюбленная? Так я и думал. Уж эта мне чертова война! Здесь болит? Вы молодец. Починим, будете как новенький. Тут больно? Еще бы не больно. Как они любят делать больно, эти доктора. А чем вас до сих пор лечили? Эта девушка говорит по-итальянски? Надо ее выучить. Очаровательная девушка. Я бы взялся давать ей уроки. Я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее все роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошего мальчишку. Светловолосого, как она сама. Так, хорошо. Так, отлично. Очаровательная девушка. Спросите ее, не согласится ли она со мной поужинать. Нет, я не хочу ее у вас отбивать. Спасибо. Большое вам спасибо, мисс. Вот и все. Вот и все, что я хотел знать.— Он похлопал меня по плечу.— Повязку накладывать не надо.

— Стакан вина, доктор Валентини?

— Вина? Ну конечно... Десять стаканов. Где оно у вас?

— В шкафу. Мисс Баркли достанет бутылку.

— Ваше здоровье. Ваше здоровье, мисс. Очаровательная девушка. Я вам принесу вина получше этого.— Он вытер усы.

— Когда, по-вашему, можно делать операцию?

— Завтра утром. Не раньше. Нужно освободить кишечник. Вычистить из вас все. Я зайду к старушке внизу и распоряжусь. До свидания. Завтра увидимся. Я вам принесу вина получше этого. А у вас здесь очень славно. До свидания, до завтра. Выспитесь хорошенько. Я приду рано.

Он помахал мне с порога, его усы топорщились, коричневое лицо улыбалось. На рукаве у него была звездочка в окаймлении, потому что он был в чине майора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ту ночь летучая мышь влетела в комнату через раскрытую дверь балкона, в которую нам видна была ночь над крышами города. В комнате было темно, только ночь над городом слабо светила в балконную дверь, и летучая мышь не испугалась и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и, должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы услышали голоса артиллеристов у зенитного орудия на соседней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Я вдруг встревожился среди ночи, как бы кто не вошел, но Кэтрин сказала, что все спят. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре, и дверь отворилась, и она подошла к постели и сказала, что

все в порядке: она была внизу, и там все спят. Она подходила к двери мисс Ван-Кампен и слышала, как та дышит во сне. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны, но она сказала, что утром все это нужно будет из меня вычистить. Под утро, когда стало светать, я заснул снова, и когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла, свежая и красивая, и села на кровать, и пока я лежал с градусником во рту, взошло солнце, и мы почувствовали запах росы на крышах и потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше.

— Сейчас хорошо бы погулять,— сказала Кэтрин.— Будь тут кресло, я могла бы вывезти тебя.

— А как бы я сел в кресло?

— Уж как-нибудь.

— Вот поехать бы в парк, позавтракать на воздухе.— Я поглядел в отворенную дверь.

— Нет, сейчас мы займемся другим делом,— сказала она.— Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга доктора Валентини.

— А правда замечательный доктор?

— Мне он не так понравился, как тебе. Но он, должно быть, хороший врач.

— Иди ко мне, Кэтрин. Слышишь? — сказал я.

— Нельзя. А как хорошо было ночью!

— А нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь?

— Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь.

— Захочу.

— Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие.

— Знаю. Очень хорошее.

— Тебя будет тошнить, и тебе не до меня будет.

— Ну, тогда иди ко мне сейчас.

— Нет,— сказала она.— Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя.

— Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь прийти.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала меня.— Ну вот, кривая готова. Температура все время нормальная. У тебя такая чудесная температура.

— А ты вся чудесная.

— Нет, нет. Вот у тебя температура чудесная. Я страшно горжусь твоей температурой.

— Наверно, у всех наших детей будет замечательная температура.

— Боюсь, что у наших детей будет отвратительная температура.

— А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини?

— Пустяки, только это не очень приятно.

— Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться.

— А мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется.

— Даже Фергюсон?

— Особенно Фергюсон, и Гэйдж, и эта, как ее?

— Уокер?

— Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Если не прибудут еще раненые, нас переведут отсюда. Здесь теперь четыре сестры.

— Наверное, прибудут еще. Четыре сестры не так уж много. Госпиталь большой.

— Надеюсь, что прибудут. Что мне делать, если меня захотят перевести отсюда? А ведь так и будет, если не прибавится раненых.

— Я тогда тоже уеду.

— Не говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый, и тогда мы с тобой куда-нибудь поедем.

— А потом что?

— Может быть, война кончится. Не вечно же будут воевать?

— Я поправлюсь,— сказал я.— Валентини меня вылечит.

— Еще бы, с такими-то усами! Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом — только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают.

— О чем же мне думать?

— О чем хочешь. О чем хочешь, только не о нас с тобой. Думай о своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке.

— Нет.

— Ну, тогда читай молитву. Это произведет прекрасное впечатление.

— А может быть, я не буду болтать.

— Возможно. Не все ведь болтают.

— Вот я и не буду.

— Не хвались, милый. Пожалуйста, не хвались. Ты такой хороший, не нужно тебе хвалиться.

— Я ни слова не скажу.

— Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто, когда тебе скажут дышать глубже, начни читать молитву, или стихи, или еще что-нибудь. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вообще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура, и ты спишь, как маленький мальчик, обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая? Какая-нибудь итальянская красавица?

— Нет, ты.

— Ну конечно, я. И я тебя очень люблю, и Валентини приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом.

— А ты будешь дежурить ночью?

— Да. Но тебе будет все равно.

— Увидим.

— Ну, вот и все, милый. Теперь ты совсем чистый, и снаружи и внутри. Скажи мне вот что: сколько женщин ты любил в своей жизни?

— Ни одной.

— И меня нет?

— Тебя — да.

— А скольких еще?

— Ни одной.

— А скольких — как это говорят? — скольких ты знал?

— Ни одной.

— Ты говоришь неправду.

— Да.

— Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие?

— Я ни одной не знал.

— Правильно. Они были очень привлекательные?

— Понятия не имею.

— Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, если даже и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит?

— Не знаю.

— Ну конечно, ты не знаешь. А она говорит ему, что любит его? Скажи мне. Я хочу знать.

— Да. Если он этого хочет.

— А он говорит ей, что любит ее? Скажи. Это очень важно.

— Говорит, если хочет.

— Но ты никогда не говорил? Верно?

— Нет.

— Нет, верно? Скажи мне правду.

— Нет,— солгал я.

— Ты не говорил,— сказала она.— Я так и знала, что ты не говорил. Ты милый, и я тебя очень, очень люблю.

Солнце высоко стояло над крышами, и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача.

— Значит, так? — сказала Кэтрин.— Она говорит все, что ему хочется?

— Не всегда.

— А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь, и я буду делать все, что ты пожелаешь, и ты никогда не захочешь других женщин, правда? — Она посмотрела на меня радостно.— Я буду делать то, что тебе хочется, и говорить то, что тебе хочется, и тогда все будет чудесно, правда?

— Да.

— Ну, вот ты и готов к операции. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас?

— Иди ко мне.

— Хорошо. Иду.
— Ты моя очень, очень, очень любимая,— сказал я.
— Вот видишь,— сказала она.— Я делаю все, что ты хочешь.
— Ты у меня умница.
— Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен.
— Ты умница.
— Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты.
— Милая.
— Ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?
— Нет.
— Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда я проснулся после операции, было не так, словно я куда-то исчезал. При этом не исчезаешь. Только берет удушье. Это не похоже на смерть, это просто удушье от газа, так что перестаешь чувствовать, а после все равно, как будто был сильно пьян, только когда рвет, то одной желчью и потом не делается лучше. В ногах постели я увидел мешки с песком. Они придавливали стержни, торчавшие из гипсовой повязки. Немного погодя я увидел мисс Гэйдж, и она спросила:
— Ну, как?
— Лучше,— сказал я.
— Он прямо чудо сделал с вашим коленом.
— Сколько это длилось?
— Два с половиной часа.
— Я говорил какие-нибудь глупости?
— Нет, нет, ничего. Не разговаривайте. Лежите спокойно.

Меня тошнило, и Кэтрин оказалась права. Мне было все равно, кто дежурит эту ночь.

В госпитале было теперь еще трое, кроме меня: тощий парень из Джорджии, работник Красного Креста, больной малярией, славный парень из Нью-Йорка, тоже тощий на вид, больной малярией и желтухой, и милейший парень, который вздумал отвинтить колпачок от дистанционной трубки австрийского снаряда, чтобы взять себе на память. Это был комбинированный шрапнельно-фугасный снаряд, какими австрийцы пользовались в горах: шрапнель с дистанционной трубкой двойного действия.

Все сестры очень любили Кэтрин Баркли за то, что она без конца готова была дежурить по ночам. Малярики не требовали много забот, а тот, который отвинтил колпачок взрывателя, был с нами в дружбе и звонил ночью только при крайней необходимости, и все свободное от работы время она проводила со мной. Я очень любил ее, и она любила меня. Днем я спал, а когда мы не спали, то писали друг другу записки и пересылали их через Фер-

гюсон. Фергюсон была славная девушка. Я ничего не знал о ней, кроме того, что у нее один брат в пятьдесят второй дивизии, а другой — в Месопотамии и что она очень привязана к Кэтрин Баркли.

— Придете к нам на свадьбу, Ферджи? — спросил я ее как-то.

— Вы никогда не женитесь.

— Женимся.

— Нет, не женитесь.

— Почему?

— Поссоритесь до свадьбы.

— Мы никогда не ссоримся.

— Еще успеете.

— Мы никогда не будем ссориться.

— Значит, умрете. Поссоритесь или умрете. Так всегда бывает. И никто не женится.

Я протянул к ней руку.

— Не трогайте меня,— сказала она.— Я и не думаю плакать. Может быть, у вас все обойдется. Только смотрите, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если что-нибудь с ней случится из-за вас, я вас убью.

— Ничего с ней не случится.

— Ну, так смотрите. Надеюсь, что у вас все обойдется. Сейчас вам хорошо.

— Сейчас нам чудесно.

— Так вот, не ссорьтесь и чтобы с ней ничего не случилось.

— Ладно.

— Смотрите же. Я не желаю, чтоб она осталась с младенцем военного времени на руках.

— Вы славная девушка, Ферджи.

— Ничего не славная. Не подлизывайтесь ко мне. Как ваша нога?

— Прекрасно.

— А голова? — Она дотронулась пальцами до моей макушки. Ощущение было такое, как если трогают затекшую ногу.

— Голова меня никогда не беспокоит.

— От такой шишки легко можно было остаться кретином. Совсем не беспокоит?

— Нет.

— Ваше счастье. Записка готова? Я иду вниз.

— Вот, возьмите,— сказал я.

— Вы должны попросить ее, чтоб она на время отказалась от ночных дежурств. Она очень устает.

— Хорошо. Я ее попрошу.

— Я хотела подежурить ночь, но она мне не дает. Другие рады уступить свою очередь. Можете дать ей немного отдохнуть.

— Хорошо.

— Мисс Ван-Кампен уже поговаривает о том, что вы всегда спите до полудня.

— Этого можно было ожидать.

— Хорошо бы вам настоять, чтоб она несколько почей не дежурила.

— Я бы и сам хотел.

— Вовсе вы бы не хотели. Но если вы ее уговорите, я буду уважать вас.

— Я ее уговорю.

— Что-то не верится.

Она взяла записку и вышла. Я позвонил, и очень скоро вошла мисс Гэйдж.

— Что случилось?

— Я просто хотел поговорить с вами. Как по-вашему, не пора ли мисс Баркли отдохнуть немного от ночных дежурств? У нее очень усталый вид. Почему она так долго в ночной смене?

Мисс Гэйдж посмотрела на меня.

— Я ваш друг,— сказала она.— Ни к чему вам так со мной разговаривать.

— Что вы хотите сказать?

— Не прикидывайтесь дурачком. Это все, что вам нужно было?

— Выпейте со мной вермуту.

— Хорошо. Но потом я сразу же уйду.— Она достала бутылку из шкафа и поставила на столик стакан.

— Вы берите стакан,— сказал я.— Я буду пить из бутылки.

— За ваше здоровье! — сказала мисс Гэйдж.

— Что там Ван-Кампен говорила насчет того, что я долго сплю по утрам?

— Просто скрипела на эту тему. Она называет вас «наш привилегированный пациент».

— Ну ее к черту!

— Она не злая,— сказала мисс Гэйдж.— Просто она старая и с причудами. Вы ей сразу не понравились.

— Это верно.

— А мне вы нравитесь. И я вам друг. Помните это.

— Вы на редкость славная девушка.

— Бросьте. Я знаю, кто, по-вашему, славный. Как нога?

— Прекрасно.

— Я принесу холодной минеральной воды и полью вам немного. Вероятно, зудит под гипсом. Сегодня жарко.

— Вы славная.

— Сильно зудит?

— Нет. Все очень хорошо.

— Надо поправить мешки с песком.— Она нагнулась.— Я вам друг.

— Я это знаю.

— Нет, вы не знаете. Но когда-нибудь узнаете.

Кэтрин Баркли не дежурила три ночи, но потом она снова пришла. Было так, будто каждый из нас уезжал в долгое путешествие и теперь мы встретились снова.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Нам чудесно жилось в то лето. Когда мне разрешили вставать, мы стали ездить в парк на прогулку. Я помню коляску, медленно переступающую лошадь, спину кучера впереди и его лакированный цилиндр, и Кэтрин Баркли рядом со мной на сиденье. Если наши руки соприкасались, хотя бы слегка ее рука касалась моей, это нас волновало. Позднее, когда я уже мог передвигаться на костылях, мы ходили обедать к Биффи или в «Гран-Италиа» и выбирали столик снаружи, в Galleria. Официанты входили и выходили, и прохожие шли мимо, и на покрытых скатертями столах стояли свечи с абажурами, и вскоре нашим излюбленным местом стал «Гран-Италиа», и Жорж, метрдотель, всегда оставлял нам столик. Он был замечательный метрдотель, и мы предоставляли ему выбирать меню, пока мы сидели, глядя на прохожих, и на тонувшую в сумерках Galleria, и друг на друга. Мы пили сухое белое капри, стоявшее в ведерке со льдом; впрочем, мы перепробовали много других вин: фреза, барбера и сладкие белые вина. Из-за войны в ресторане не было специального официанта для вин, и Жорж смущенно улыбался, когда я спрашивал такие вина, как фреза.

— Что можно сказать о стране, где делают вино, имеющее вкус клубники,— сказал он.

— А чем плохо? — спросила Кэтрин.— Мне даже нравится.

— Попробуйте, леди, если вам угодно,— сказал Жорж.— Но позвольте мне захватить бутылочку марго для tenente.

— Я тоже хочу попробовать, Жорж.

— Сэр, я бы вам не советовал. Оно и вкуса клубники не имеет.

— А вдруг? — сказала Кэтрин.— Это было бы просто замечательно.

— Я сейчас подам его,— сказал Жорж,— и, когда желание леди будет удовлетворено, я его уберу.

Вино было не из важных. Жорж был прав, оно не имело и вкуса клубники. Мы снова перешли на капри. Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне сто лир.

— Ничего, ничего, tenente,— сказал он.— Бывает со всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся.

После обеда мы шли по Galleria мимо других ресторанов и мимо магазинов со спущенными железными шторами и останавливались у киоска, где продавались сандвичи: сандвичи с ветчиной и латуком и сандвичи с анчоусами на крошечных румяных булочках, не длиннее указательного пальца. Мы брали их с собой чтоб съесть, когда проголодаемся ночью. Потом мы садились в открытую коляску у выхода из Galleria против собора и возвращались в госпиталь. Швейцар выходил на крыльцо госпиталя помочь мне управиться с костылями. Я расплачивался с кучером, и мы ехали наверх в лифте. Кэтрин выходила в том этаже, где жили сестры, а я поднимался выше и на костылях шел по коридору в

свою комнату; иногда я раздевался и ложился в постель, а иногда сидел на балконе, положив ногу на стул, и следил за полетом ласточек над крышами, и ждал Кэтрин. Когда она приходила наверх, было так, будто она вернулась из далекого путешествия, и я шел на костылях по коридору вместе с нею, и нес тазики, и дожидался у дверей или входил с нею вместе — смотря по тому, был больной из наших друзей или нет, и, когда она оканчивала все свои дела, мы сидели на балконе моей комнаты. Потом я ложился в постель, и когда все уже спали и она была уверена, что никто не позовет, она приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, и она сидела на кровати, не шевелясь, только иногда вдруг быстро наклонялась поцеловать меня, и я вынимал шпильки и клал их на простыню, и узел на затылке едва держался, и я смотрел, как она сидит, не шевелясь, и потом вынимал две последние шпильки, и волосы распускались совсем, и она наклоняла голову, и они закрывали нас обоих, и было как будто в палатке или за водопадом.

У нее были удивительно красивые волосы, и я иногда лежал и смотрел, как она закручивает их при свете, который падал из открытой двери, и они даже ночью блестели, как блестит иногда вода перед самым рассветом. У нее было чудесное лицо и тело и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, и я кончиками пальцев трогал ее щеки и лоб, и под глазами, и подбородок, и шею и говорил: «Совсем как клавиши рояля»,— и тогда она гладила пальцами мой подбородок и говорила: «Совсем как наждак, если им водить по клавишам рояля».

— Что, колется?

— Да нет же, милый. Это я просто чтоб подразнить тебя.

Ночью все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга — это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви, а когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что, в сущности, мы оба думали об одном и том же.

Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать, и что как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову, но для себя мы считали, что мы женаты, и беспокоились не так уж сильно, и, пожалуй, мне нравилось, что мы не женаты на самом деле. Я помню, как один раз ночью мы заговорили об этом и Кэтрин сказала:

— Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда.

— А может быть, не придется.

— Непременно придется. Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война.

— Я буду приезжать в отпуск.

— Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом, я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уж больше женатыми и быть нельзя.

— Я хочу этого только из-за тебя.

— Никакой «меня» нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельной «меня».

— Я думал, девушки всегда хотят замуж.

— Так оно и есть. Но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена?

— Ты чудесная жена.

— Видишь ли, милый, я уже один раз пробовала дожидаться замужества.

— Я не хочу слышать об этом.

— Ты знаешь, что я люблю только тебя одного. Не все ли тебе равно, что кто-то другой любил меня?

— Не все равно.

— Ведь он погиб, а ты получил все, что же тут ревновать?

— Пусть так, но я не хочу слышать об этом.

— Бедненький мой! А вот я знаю, что у тебя были всякие женщины, и меня это не трогает.

— Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно? Вдруг со мной что-нибудь случится или у тебя будет ребенок.

— Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так женаты. Видишь ли, милый, это было бы для меня очень важно, если б я была религиозна. Но я не религиозна.

— Ты дала мне святого Антония.

— Это просто на счастье. Мне тоже его дали.

— Значит, тебя ничто не тревожит?

— Только мысль о том, что нас могут разлучить. Ты моя религия. Ты для меня все на свете.

— Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь.

— Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего стыдного в том, что дает счастье и гордость. Разве ты не счастлив?

— Но ты никогда не уйдешь от меня к другому?

— Нет, милый. Я от тебя никогда ни к кому не уйду. Мне кажется, с нами случится все самое ужасное. Но не нужно тревожиться об этом.

— Я и не тревожусь. Но я тебя так люблю, а ты уже до меня кого-то любила.

— А что было дальше?

— Он погиб.

— Да, а если бы это не случилось, я бы не встретила тебя. Меня нельзя назвать непостоянной, милый. У меня много недостатков, но я очень постоянна. Увидишь, тебе даже надоест мое постоянство.

— Я скоро должен буду вернуться на фронт.

— Не будем думать об этом, пока ты еще здесь. Понимаешь, милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая. Может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Ну, давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не нравится во мне что-нибудь? Ну, что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь?

— Да, а потом ложись тут.

— Хорошо. Только раньше обойду больных.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Так проходило лето. О днях я помню немногое, только то, что было очень жарко и газеты были полны побед. У меня был здоровый организм, и раны быстро заживали, так что очень скоро после того, как я впервые встал на костыли, я смог бросить их и ходить только с палкой. Тогда я начал в Ospedale Maggiore лечебные процедуры для сгибания колен, механотерапию, прогревание фиолетовыми лучами в зеркальном ящике, массаж и ванны. Я ходил туда после обеда и на обратном пути заходил в кафе, и пил вино, и читал газеты. Я не бродил по городу: из кафе мне всегда хотелось вернуться прямо в госпиталь. Мне хотелось только одного: видеть Кэтрин. Все остальное время я рад был как-нибудь убить. Чаще всего по утрам я спал, а после обеда иногда ездил на скачки и потом на механотерапию. Иногда я заходил в англо-американский клуб и сидел в глубоком кожаном кресле перед окном и читал журналы. Нам уже не разрешалось выходить вдвоем после того, как я бросил костыли, потому что неприлично было сестре гулять одной с больным, который по виду не нуждался в помощи, и поэтому днем мы редко бывали вместе. Иногда, впрочем, удавалось пообедать вместе где-нибудь в городе, если и Фергюсон была с нами. Мы с Кэтрин считались друзьями, и мисс Ван-Кампен принимала это положение, потому что Кэтрин много помогала ей в госпитале. Она решила, что Кэтрин из очень хорошей семьи, и это окончательно расположило ее в нашу пользу. Мисс Ван-Кампен придавала большое значение происхождению и сама принадлежала к высшему обществу. К тому же в госпитале было немало дел и хлопот, и это отвлекало ее. Лето было жаркое, и у меня в Милане было много знакомых, но я всегда спешил вернуться в госпиталь с наступлением сумерек. Фронт продвинулся к Карсо, уже был взят Кук, на другом берегу против Плавы, и теперь наступали на плато Баинзицца. На западном фронте дела были не так хороши. Казалось, что война тянется уже очень долго. Мы теперь тоже вступили в войну, но я считал, что понадобится не меньше года, чтобы переправить достаточное количество войск и подготовить их к бою. На следующий год можно было ждать много плохого, а может быть, много хорошего. Итальянские войска несли огромные

потери. Я не представлял себе, как это может продолжаться. Даже если займут все плато Баинзицца и Монте-Сан-Габриеле, дальше есть множество гор, которые останутся у австрийцев. Я видел их. Все самые высокие горы дальше. На Карсо удалось продвинуться вперед, но внизу, у моря, болота и топи. Наполеон разбил бы австрийцев в долине. Он никогда не стал бы сражаться с ними в горах. Он дал бы им спуститься и разбил бы их под Вероной. Но на западном фронте все еще никто никого не разбивал. Может быть, войны теперь не кончаются победой. Может быть, они вообще не кончаются. Может быть, это новая Столетняя война. Я положил газету на место и вышел из клуба. Я осторожно спустился по ступеням и пошел по Виа-Манцони. Перед «Гранд-отелем» я увидел старика Мейерса и его жену, выходивших из экипажа. Они возвращались со скачек. Она была женщина с большим бюстом, одетая в блестящий черный шелк. Он был маленький и старый, с седыми усами, страдал плоскостопием и ходил, опираясь на палку.

— Как поживаете? Как здоровье? — Она подала мне руку.

— Привет! — сказал Мейерс.

— Ну, как скачки?

— Замечательно. Просто чудесно. Я три раза выиграла.

— А как ваши дела? — спросил я Мейерса.

— Ничего. Я выиграл один раз.

— Я никогда не знаю, как его дела,— сказала миссис Мейерс.— Он мне никогда не говорит.

— Мои дела хороши,— сказал Мейерс. Он старался быть сердечным.— Надо бы вам как-нибудь съездить на скачки.— Когда он говорил, создавалось впечатление, что он смотрит не на вас или что он принимает вас за кого-то другого.

— Непременно,— сказал я.

— Я приеду в госпиталь навестить вас,— сказала миссис Мейерс.— У меня кое-что есть для моих мальчиков. Вы ведь все мои мальчики. Вы все мои милые мальчики.

— Вам будут там очень рады.

— Такие милые мальчики. И вы тоже. Вы один из моих мальчиков.

— Мне пора идти,— сказал я.

— Передайте от меня привет всем моим милым мальчикам. Я им привезу много вкусных вещей. Я запасла хорошей марсалы и печенья.

— До свидания,— сказал я.— Вам все будут страшно рады.

— До свидания,— сказал Мейерс.— Заходите в Galleria. Вы знаете мой столик. Мы там бываем каждый день.— Я пошел дальше по улице. Я хотел купить в «Кова» что-нибудь для Кэтрин. Войдя в «Кова», я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидели двое англичан и несколько летчиков. Я выпил мартини, ни с кем не заговаривая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, которая ведет к «Ла Скала», я увидел несколько знакомых:

вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Этторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в итальянской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Энрико дель Кредо. Я не имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченца. Он пел в «Тоске», и все было изумительно.

— Да ведь вы меня никогда не слышали,— сказал он.

— Когда вы будете петь здесь?

— Осенью я выступлю в «Ла Скала».

— Пари держу, что в него будут швырять скамейками,— сказал Этторе.— Вы слышали про то, как в него швыряли скамейками в Модене?

— Это враки.

— В него швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Я был при этом. Я сам швырнул шесть скамеек.

— Вы просто жалкий макаронник из Фриско.

— У него скверное итальянское произношение,— сказал Этторе.— Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками.

— Во всей северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченца,— сказал другой тенор.— Верьте мне, препаршивый театришко.— Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под именем Эдуардо Джованни.

— Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как в вас швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Вы же не умеете петь по-итальянски.

— Он дурачок,— сказал Эдгар Саундерс.— Швырять скамейками — ничего умнее не может придумать.

— Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете,— сказал Этторе.— А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в «Ла Скала». Да вас после первой же ноты выгнали бы из «Ла Скала».

— Я буду петь в «Ла Скала»,— сказал Симмонс.— В октябре я буду петь в «Тоске».

— Придется пойти, Мак,— сказал Этторе вице-консулу.— Им может понадобиться защита.

— Может быть, американская армия подоспеет к ним на защиту,— сказал вице-консул.— Хотите еще стакан, Симмонс? Саундерс, еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Саундерс.

— Говорят, вы получаете серебряную медаль,— сказал мне Этторе.— А как вас представили — за какие заслуги?

— Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли.

— Получите. Ах, черт, что будет с девушками в «Кова»! Они вообразят, что вы один убили две сотни австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал.

— Сколько их у вас, Этторе? — спросил вице-консул.

— У него все, какие только бывают,— сказал Симмонс.— Это же ради него ведется война.

— Я был представлен два раза к бронзовой медали и три раза к серебряной,— сказал Этторе.— Но получил только одну.

— А что случилось с остальными? — спросил Симмонс.

— Операция неудачно закончилась,— сказал Этторе.— Если операции заканчиваются неудачно, медалей не дают.

— Сколько раз вы были ранены, Этторе?

— Три раза тяжело. У меня три нашивки за ранения. Вот смотрите.— Он потянул кверху сукно рукава. Нашивки были параллельные серебряные полоски на черном фоне, настроченные на рукав дюймов на восемь ниже плеча.

— У вас ведь тоже есть одна,— сказал мне Этторе.— Уверяю вас, это очень хорошо — иметь нашивки. Я их предпочитаю медалям. Уверяю вас, дружище, три такие штучки — это уже коечто. Чтоб получить хоть одну, нужно три месяца пролежать в госпитале.

— Куда вы были ранены, Этторе? — спросил вице-консул. Этторе засучил рукав.

— Вот сюда.— Он показал длинный красный гладкий рубец.— Потом сюда, в ногу. Я не могу показать, потому что это под обмоткой; и еще в ступню. В ноге омертвел кусочек кости, и от него скверно пахнет. Каждое утро я выбираю оттуда осколки, но запах не проходит.

— Чем это вас? — спросил Симмонс.

— Ручной гранатой. Такая штука, вроде толкушки для картофеля. Так и снесла кусок ноги с одной стороны. Вам эти толкушки знакомы? — Он обернулся ко мне.

— Конечно.

— Я видел, как этот мерзавец ее бросил,— сказал Этторе.— Меня сбило с ног, и я уже думал, что песенка спета, но от этих толкушек, в общем, мало проку. Я застрелил мерзавца из винтовки. Я всегда ношу винтовку, чтобы нельзя было узнать во мне офицера.

— Какой у него был вид? — спросил Симмонс.

— И всего только одна граната была у мерзавца,— сказал Этторе.— Не знаю, зачем он ее бросил. Наверно, он давно ждал случая бросить гранату. Никогда не видел настоящего боя, должно быть. Я положил мерзавца на месте.

— Какой у него был вид, когда вы его застрелили? — спросил Симмонс.

— А я почем знаю? — сказал Этторе.— Я выстрелил ему в живот. Я боялся промахнуться, если буду стрелять в голову.

— Давно вы в офицерском чине, Этторе? — спросил я.

— Два года. Я скоро буду капитаном. А вы давно в чине лейтенанта?

— Третий год.

— Вы не можете быть капитаном, потому что вы плохо знаете итальянский язык,— сказал Этторе.— Говорить вы умеете, но чи-

таете и пишете плохо. Чтоб быть капитаном, нужно иметь образование. Почему вы не переходите в американскую армию?

— Может быть, перейду.

— Я бы тоже ничего против не имел. Сколько получает американский капитан, Мак?

— Не знаю точно. Около двухсот пятидесяти долларов, кажется.

— Ах, черт! Чего только не сделаешь на двести пятьдесят долларов. Переходили бы вы скорей в американскую армию, Фред. Может, и меня тогда пристроите.

— Охотно.

— Я умею командовать ротой по-итальянски. Мне ничего не стоит выучиться и по-английски.

— Вы будете генералом,— сказал Симмонс.

— Нет, для генерала я слишком мало знаю. Генерал должен знать чертову гибель всяких вещей. Молодчики вроде вас всегда воображают, что война — пустое дело. У вас бы смекалки не хватило даже для капрала.

— Слава богу, мне этого и не нужно,— сказал Симмонс.

— Может, еще понадобится. Вот как призовут всех таких лежебок... Ах, черт, хотел бы я, чтобы вы оба попали ко мне во взвод. И Мак тоже. Я бы сделал вас своим вестовым, Мак.

— Вы славный малый, Этторе,— сказал Мак.— Но боюсь, что вы милитарист.

— Я буду полковником еще до окончания войны,— сказал Этторе.

— Если только вас не убьют раньше.

— Не убьют.— Он дотронулся большим и указательным пальцами до звездочек на воротнике.— Видали, что я сделал? Всегда нужно дотронуться до звездочек, когда кто-нибудь говорит о смерти на войне.

— Ну, пошли, Сим,— сказал Саундерс, вставая.

— Поехали.

— До свидания,— сказал я.— Мне тоже пора.— Часы в баре показывали без четверти шесть.— Ciao, Этторе.

— Ciao, Фред,— сказал Этторе.— Это здорово, что вы получите серебряную медаль.

— Не знаю, получу ли.

— Наверняка получите, Фред. Я слышал, что вы наверняка получите ее.

— Ну, до свидания,— сказал я.— Смотрите не попадите в беду, Этторе.

— Не беспокойтесь обо мне. Я не пью и не шляюсь. Я не забулдыга и не бабник. Я знаю, что хорошо и что плохо.

— До свидания,— сказал я.— Я рад, что вас произведут в капитаны.

— Мне не придется ждать производства. Я стану капитаном за боевые заслуги. Вы же знаете. Три звездочки со скрещенными шпагами и короной сверху. Вот это я и есть.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего. Когда вы возвращаетесь на фронт?

— Теперь уже скоро.

— Ну, еще увидимся.

— До свидания.

— До свидания. Не хворайте.

Я пошел переулком, откуда через проходной двор можно было выйти к госпиталю. Этторе было двадцать три года. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и только что приехал погостить к родителям в Турин, когда объявили войну. У него была сестра, которая вместе с ним воспитывалась у американского дяди и в этом году должна была окончить педагогический колледж. Он был из тех стандартизованных героев, которые на всех нагоняют скуку. Кэтрин его терпеть не могла.

— У нас тоже есть герои,— говорила она,— но знаешь, милый, они обычно гораздо тише.

— Мне он не мешает.

— Мне тоже, но уж очень он тщеславный, и потом, он на меня нагоняет скуку, скуку, скуку.

— Он и на меня нагоняет скуку.

— Ты это для меня говоришь, милый. Но это ни к чему. Можно представить себе его на фронте, и, наверно, он там делает свое дело, но я таких мальчишек не выношу.

— Ну, и не стоит обращать на него внимание.

— Это ты опять для меня говоришь, и я буду стараться, чтоб он мне нравился, но, право же, он противный, противный мальчишка.

— Он сегодня говорил, что будет капитаном.

— Как хорошо! — сказала Кэтрин.— Он, наверно, очень доволен.

— Ты бы хотела, чтоб у меня был чин повыше?

— Нет, милый. Я только хочу, чтобы у тебя был такой чин, чтобы нас пускали в хорошие рестораны.

— Для этого у меня достаточно высокий чин.

— У тебя прекрасный чин. Я вовсе не хочу, чтоб у тебя был более высокий чин. Это могло бы вскружить тебе голову. Ах, милый, я так рада, что ты не тщеславный. Я бы все равно вышла за тебя, даже если б ты был тщеславный, но это так спокойно, когда муж не тщеславный.

Мы тихо разговаривали, сидя на балконе. Луне пора было взойти, но над городом был туман, и она не взошла, и потом начало моросить, и мы вошли в комнату. Туман перешел в дождь, и спустя немного дождь полил очень сильно, и мы слышали, как он барабанит по крыше. Я встал и подошел к двери, чтобы посмотреть, не заливает ли в комнату, но оказалось, что нет, и я оставил дверь открытой.

— Кого ты еще видел? — спросила Кэтрин.

— Мистера и миссис Мейерс.

— Странная они пара.

— Говорят, на родине он сидел в тюрьме. Его выпустили, чтоб он мог умереть на свободе.

— И с тех пор он счастливо живет в Милане?

— Не знаю, счастливо ли.

— Достаточно счастливо после тюрьмы, надо полагать.

— Она собирается сюда с подарками.

— Она привозит великолепные подарки. Ты, конечно, тоже ее милый мальчик?

— А как же.

— Вы все ее милые мальчики,— сказала Кэтрин.— Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь.

— Сильный дождь.

— А ты меня никогда не разлюбишь?

— Нет.

— И это ничего, что дождь?

— Ничего.

— Как хорошо. А то я боюсь дождя.

— Почему?

Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь.

— Не знаю, милый. Я всегда боялась дождя.

— Я люблю дождь.

— Я люблю гулять под дождем. Но для любви это плохая примета.

— Я тебя всегда буду любить.

— Я тебя буду любить в дождь, и в снег, и в град, и... что еще бывает?

— Не знаю. Мне что-то спать хочется.

— Спи, милый, а я буду любить тебя, что бы ни было.

— Ты в самом деле боишься дождя?

— Когда я с тобой, нет.

— Почему ты боишься?

— Не знаю.

— Скажи.

— Не заставляй меня.

— Скажи.

— Нет.

— Скажи.

— Ну, хорошо. Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь.

— Что ты!

— А иногда мне кажется, что ты умрешь.

— Вот это больше похоже на правду.

— Вовсе нет, милый. Потому что я могу тебя уберечь. Я знаю, что могу. Но себе ничем не поможешь.

— Пожалуйста, перестань. Я сегодня не хочу слушать сумасшедшие шотландские бредни. Нам не так много осталось быть вместе.

— Что же делать, если я шотландка и сумасшедшая. Но я перестану. Это все глупости.

— Да, это все глупости.

— Это все глупости. Это только глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. Ах, господи, господи, если б я могла не бояться!

Она плакала. Я стал утешать ее, и она перестала плакать. Но дождь все шел.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Как-то раз после обеда мы отправились на скачки. С нами были Фергюсон и Кроуэлл Роджерс, тот самый, что был ранен в глаза при разрыве дистанционной трубки. Пока девушки одевались, мы с Роджерсом сидели на кровати в его комнате и просматривали в спортивном листке отчеты о последних скачках и имена предполагаемых победителей. У Кроуэлла вся голова была забинтована, и он очень мало интересовался скачками, но постоянно читал спортивный листок и от нечего делать следил за всеми лошадьми. Он говорил, что все лошади — страшная дрянь, но лучших тут нет. Старый Мейерс любил его и давал ему советы. Мейерс всегда выигрывал, но не любил давать советы, потому что это уменьшало выдачу. На скачках было много жульничества. Жокеи, которых выгнали со всех ипподромов мира, работали в Италии. Советы Мейерса всегда были хороши, но я не любил спрашивать его, потому что иногда он не отвечал вовсе, а когда отвечал, видно было, что ему очень не хочется это делать, но по каким-то причинам он считал себя обязанным подсказывать нам, и Кроуэллу он подсказывал с меньшей неохотой, чем другим. У Кроуэлла были повреждены глаза, один глаз был поврежден серьезно, и у Мейерса тоже что-то было неладно с глазами, и поэтому он любил Кроуэлла. Мейерс никогда не говорил жене, на какую лошадь он ставит, и она то выигрывала, то проигрывала, чаще проигрывала, и все время болтала.

Вчетвером мы в открытом экипаже поехали в Сан-Сиро. День был прекрасный, и мы ехали через парк, потом ехали вдоль трамвайных путей и наконец выехали за город, где дорога была очень пыльная. По сторонам тянулись виллы за железными оградами, и большие запущенные сады, и канавы с проточной водой, и огороды с запыленной зеленью на грядках. Вдали на равнине виднелись фермерские дома и обширные зеленые участки с каналами искусственного орошения, а на севере поднимались горы. По дороге к ипподрому двигалось много экипажей, и контролер у ворот пропустил нас без билетов, потому что мы были в военной форме. Мы вышли из экипажа, купили программу, пересекли круг и по гладкому плотному дерну дорожки пошли к паддоку. Трибуны были деревянные и старые, а ниже трибун были кассы, и еще другой ряд касс был возле конюшен. У забора толпились солдаты. На

паддоке было довольно много народу. Под деревьями, за большой трибуной, конюхи проводили лошадей. Мы увидели знакомых и раздобыли для Фергюсон и Кэтрин стулья и стали смотреть на лошадей.

Они ходили по кругу, гуськом, опустив голову, на поводу у конюхов. Одна лошадь была вороная с лиловатым отливом, и Кроуэлл клялся, что она крашеная. Мы всмотрелись получше и решили, что, пожалуй, он прав. Эту лошадь вывели только за минуту, перед тем как дали сигнал седлать. Мы разыскали ее в программе по номеру у конюха на рукаве, и там значилось: вороной мерин, кличка «Япалак». Предстоял заезд для лошадей, ни разу не бравших приза больше тысячи лир. Кэтрин была твердо убеждена, что у лошади искусственно изменена масть. Фергюсон сказала, что она не уверена. Мне это дело тоже казалось подозрительным. Мы все решили играть эту лошадь и поставили сто лир. В расчетном листке было сказано, что выдача за нее будет тридцатипятикратная. Кроуэлл пошел покупать билеты, а мы остались и смотрели, как жокеи сделали еще один круг под деревьями и потом выехали на дорожку и медленным галопом направились к повороту, на место старта.

Мы поднялись на трибуну, чтоб следить за скачкой. В то время в Сан-Сиро не было резиновой ленточки, и стартер выровнял всех лошадей,— они казались совсем маленькими вдали на дорожке,— и затем, хлопнув своим длинным бичом, дал старт. Они прошли мимо нас; вороная лошадь скакала впереди, и на повороте оставила всех других далеко за собой. Я смотрел в бинокль, как они шли по задней дорожке, и видел, что жокей изо всех сил старается сдержать ее, но он не мог сдержать ее, и когда они вышли из-за поворота на переднюю дорожку, вороная шла на пятнадцать корпусов впереди остальных. Пройдя столб, она сделала еще полкруга.

— Ах, как чудно,— сказала Кэтрин.— Мы получим больше трех тысяч лир. Просто замечательная лошадь.

— Надеюсь,— сказал Кроуэлл,— краска не слиняет до выдачи.

— Нет, правда, чудесная лошадь,— сказала Кэтрин.— Интересно, мистер Мейерс на нее ставил?

— Выиграли? — крикнул я Мейерсу. Он кивнул.

— А я нет,— сказала миссис Мейерс.— А вы, дети, на кого ставили?

— На Япалака.

— Да ну? За него тридцать пять дают.

— Нам понравилась его масть.

— А мне нет. Он мне показался каким-то жалким. Говорили, что на него не стоит ставить.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.

— По подсчетам, тридцать пять,— сказал я.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.— Его заиграли в последнюю минуту.

— Кто?

— Кэмптон со своими ребятами. Вот увидите. Хорошо, если вдвое выдадут.

— Значит, мы не получим три тысячи лир? — сказала Кэтрин.— Мне не нравятся эти скачки. Просто жульничество.

— Мы получим двести лир.

— Это чепуха. Это нам ни к чему. Я думала, мы получим три тысячи.

— Жульничество и гадость,— сказала Фергюсон.

— Правда, не будь тут жульничества, мы бы на нее не ставили,— сказала Кэтрин.— Но мне нравилось, что мы получим три тысячи лир.

— Идемте вниз, выпьем чего-нибудь и узнаем, какая выдача,— сказал Кроуэлл.

Мы спустились вниз, к доске, где вывешивали номера победителей, и в это время зазвенел сигнал к выдаче, и против Япалака вывесили «восемнадцать пятьдесят». Это значило, что выдача меньше чем вдвое.

Мы спустились в бар под большой трибуной и выпили по стакану виски с содовой. Мы натолкнулись там на двух знакомых итальянцев и Мак-Адамса, вице-консула, и они все пошли вместе с нами наверх. Итальянцы держали себя очень церемонно. Мак-Адамс завел разговор с Кэтрин, а мы пошли вниз делать ставки. У одной из касс стоял мистер Мейерс.

— Спросите его, на какую он ставит,— сказал я Кроуэллу.

— Какую играете, мистер Мейерс? — спросил Кроуэлл.

Мейерс вынул свою программу и карандашом указал на номер пятый.

— Вы не возражаете, если мы тоже на нее поставим? — спросил Кроуэлл.

— Валяйте, валяйте. Только не говорите жене, что это я вам посоветовал.

— Давайте выпьем чего-нибудь,— сказал я.

— Нет, спасибо. Я никогда не пью.

Мы поставили на номер пятый сто лир в ординаре и сто в двойном и выпили еще по стакану виски с содовой. Я был в прекрасном настроении, и мы подцепили еще двоих знакомых итальянцев и выпили с каждым из них и потом вернулись наверх. Эти итальянцы тоже были очень церемонны и не уступали в этом отношении тем двоим, которых мы повстречали раньше. Из-за их церемонности никому не сиделось на месте. Я отдал Кэтрин билеты.

— Какая лошадь?

— Не знаю. Это по выбору мистера Мейерса.

— Вы даже не знаете ее клички?

— Нет. Можно посмотреть в программе. Кажется, пятый номер.

— Ваша доверчивость просто трогательна,— сказала она. Номер пятый выиграл, но выдача была ничтожная.

Мистер Мейерс сердился.

— Нужно ставить двести лир, чтобы получить двадцать,— сказал он.— Двенадцать лир за десять. Не стоит труда. Моя жена выиграла двадцать лир.

— Я пойду с вами вниз,— сказала Кэтрин.

Все итальянцы встали. Мы спустились вниз и подошли к паддоку.

— Тебе тут нравится? — спросила Кэтрин.

— Да. Ничего себе.

— В общем, тут забавно,— сказала она.— Но знаешь, милый, я не выношу, когда так много знакомых.

— Не так уж их много.

— Правда. Но эти Мейерсы и этот из банка с женой и дочерьми...

— Он платит по моим чекам,— сказал я.

— Ну, не он, кто-нибудь другой платил бы. А эта последняя четверка итальянцев просто ужасна.

— Можно остаться здесь и отсюда смотреть следующий заезд.

— Вот это чудесно. И знаешь что, милый, давай поставим на такую лошадь, которой мы совсем не знаем и на которую не ставит мистер Мейерс.

— Давай.

Мы поставили на лошадь с кличкой «Свет очей», и она пришла четвертой из пяти. Мы облокотились на ограду и смотрели на лошадей, которые проносились мимо нас, стуча копытами, и видели горы вдали и Милан за деревьями и полями.

— Я здесь себя чувствую как-то чище,— сказала Кэтрин.

Лошади, мокрые и дымящиеся, возвращались через ворота. Жокеи успокаивали их, подъезжая к деревьям, чтобы спешиться.

— Давай выпьем чего-нибудь. Только здесь, чтобы видеть лошадей.

— Сейчас принесу,— сказал я.

— Мальчик принесет,— сказала Кэтрин. Она подняла руку, и к нам подбежал мальчик из бара «Пагода» возле конюшен. Мы сели за круглый железный столик.

— Ведь правда, лучше, когда мы одни?

— Да,— сказал я.

— Я себя чувствовала такой одинокой, когда с нами были все эти люди.

— Здесь очень хорошо,— сказал я.

— Да. Ипподром замечательный.

— Недурной.

— Не давай мне портить тебе удовольствие, милый. Мы вернемся наверх, как только ты захочешь.

— Нет,— сказал я. Мы останемся здесь и будем пить. А потом пойдем и станем у рва с водой на стипль-чезе.

— Ты так добр ко мне,— сказала она.

После того как мы побыли вдвоем, нам приятно было опять увидеть остальных. Мы прекрасно провели день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В сентябре наступили первые холодные ночи, потом и дни стали холодные, и на деревьях в парке начали желтеть листья, и мы поняли, что лето прошло. На фронте дела шли очень плохо, и Сан-Габриеле все не удавалось взять. На плато Баинзицца боев уже не было, а к середине месяца прекратились бои и под Сан-Габриеле. Взять его так и не удалось. Этторе уехал на фронт. Лошадей увезли в Рим, и скачек больше не было. Кроуэлл тоже уехал в Рим, откуда должен был эвакуироваться в Америку. В городе два раза вспыхивали антивоенные бунты, и в Турине тоже были серьезные беспорядки. Один английский майор сказал мне в клубе, что итальянцы потеряли полтораста тысяч человек на плато Баинзицца и под Сан-Габриеле. Он сказал, что, кроме того, они сорок тысяч потеряли на Карсо. Мы выпили, и он разговорился. Он сказал, что в этом году уже не будет боев и что итальянцы откусили больше, чем могли проглотить. Он сказал, что наступление во Фландрии обернулось скверно. Если и дальше будут так же мало беречь людей, как в эту осень, то союзники через год выдохнутся. Он сказал, что мы все уже выдохлись и что это ничего до тех пор, пока мы сами этого не знаем. Мы все выдохлись. Вся штука в том, чтоб не признавать этого. Та страна, которая последней поймет, что она выдохлась, выиграет войну. Мы выпили еще. Не из штаба ли я? Нет. А он — да. Все чушь. Мы сидели вдвоем, развалившись на одном из больших кожаных диванов клуба. Сапоги у него были из матовой кожи и тщательно начищены. Это были роскошные сапоги. Он сказал, что все чушь. У всех на уме только дивизии и пополнения. Грызутся из-за дивизий, а как получат их, так сейчас и угробят. Все выдохлись. Победа все время за немцами. Вот это, черт подери, солдаты! Старый гунн, вот это солдат. Но и они выдохлись тоже. Мы все выдохлись. Я спросил про русских. Он сказал, что и они уже выдохлись. Я скоро сам увижу, что они выдохлись. Да и австрийцы выдохлись тоже. Вот если бы им получить несколько дивизий гуннов, тогда бы они справились. Думает ли он, что они перейдут в наступление этой осенью? Конечно, да. Итальянцы выдохлись. Все знают, что они выдохлись. Старый гунн пройдет через Трентино и перережет у Виченцы железнодорожное сообщение,— вот наши итальянцы и готовы. Австрийцы уже пробовали это в шестнадцатом, сказал я. Но без немцев. Верно, сказал я. Но они вряд ли пойдут на это, сказал он. Это слишком просто. Они придумают что-нибудь посложнее и на этом окончательно выдохнутся. Мне пора, сказал я. Пора возвращаться в госпиталь.

— До свидания,— сказал он. Потом весело: — Всяческих благ.— Пессимизм его суждений находился в резком противоречии с его веселым нравом.

Я зашел в парикмахерскую и побрился, а потом пошел в госпиталь. Моя нога к этому времени уже поправилась настолько, что большего пока нельзя было ожидать. Три дня назад я был на осви-

детельствовании. Мне оставалось лишь несколько процедур, чтобы закончить курс лечения в Ospedale Maggiore, и я шел по переулку, стараясь не хромать. Под навесом старик вырезывал силуэты. Я остановился посмотреть. Две девушки стояли перед ним, и он вырезывал их силуэты вместе, поглядывая на них, откинув голову набок и очень быстро двигая ножницами. Девушки хихикали. Он показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белую бумагу и передать девушкам.

— Что, хороши? — сказал он.— Не угодно ли вам, tenente?

Девушки ушли, рассматривая свои силуэты и смеясь. Обе были хорошенькие. Одна из них служила в закусочной напротив госпиталя.

— Пожалуй,— сказал я.

— Только снимите кепи.

— Нет. В кепи.

— Так будет хуже,— сказал старик.— Впрочем,— его лицо прояснилось,— так будет воинственнее.

Он задвигал ножницами по черной бумаге, потом разнял обе половинки листа, наклеил два профиля на картон и подал мне.

— Сколько вам?

— Ничего, ничего.— Он помахал рукой.— Я вам их просто так сделал.

— Пожалуйста.— Я вынул несколько медяков.— Доставьте мне удовольствие.

— Нет. Я сделал их для собственного удовольствия. Подарите их своей милой.

— Спасибо и до свидания.

— До скорой встречи.

Я вернулся в госпиталь. Для меня были в канцелярии письма, одно официальное и еще несколько. Мне предоставлялся трехнедельный отпуск для поправления здоровья, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечел это. Да, так и есть. Отпуск будет считаться с 4 октября, когда я закончу курс лечения. В трех неделях двадцать один день. Это выходит 25 октября. Я сказал, что погуляю еще немного, и пошел в ресторан через несколько домов от госпиталя поужинать и просмотреть за столом письма и «Корьере делла сера». Одно письмо было от моего деда, в нем были семейные новости, патриотические наставления, чек на двести долларов и несколько газетных вырезок. Потом было скучное письмо от нашего священника, письмо от одного знакомого летчика, служившего во французской авиации, который попал в веселую компанию и об этом рассказывал, и записка от Ринальди, спрашивавшего, долго ли я еще намерен отсиживаться в Милане и вообще какие новости. Он просил, чтоб я привез ему граммофонные пластинки по приложенному списку. Я заказал к ужину бутылку кьянти, затем выпил кофе с коньяком, дочитал газету, положил все письма в карман, оставил газету на столе вместе с чаевыми и вышел. В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, опустил занавеси на балконной двери и,

полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты, из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда «Чикаго-Уайт-Сокс» взяла приз Американской лиги, а в Национальной лиге впереди шла команда «Нью-Йорк-Джайэнтс». Бейб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затхлые и узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же читал их. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну. Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки, хотя война в разгаре. Во Франции скачек уже не бывает. Это оттуда привезли нашего Япалака. Дежурство Кэтрин начиналось только с девяти часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и наконец вошла в мою.

— Я сегодня поздно, милый,— сказала она.— Много дела. Ну, как ты?

Я рассказал ей про газеты и про отпуск.

— Чудесно,— сказала она.— Куда же ты думаешь ехать?

— Никуда. Думаю остаться здесь.

— И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой.

— А как же ты это сделаешь?

— Не знаю. Как-нибудь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми.

— По-моему, это довольно трудно будет устроить.

— Ничуть, милый. В крайнем случае я просто брошу все и уеду. Но до этого не дойдет.

— Куда же нам поехать?

— Все равно. Куда хочешь. Где мы никого не знаем.

— А тебе совсем все равно, куда ехать?

— Да. Только бы уехать.

Она была какая-то напряженная и озабоченная.

— Что случилось, Кэтрин?

— Ничего. Ничего не случилось.

— Неправда.

— Правда. Ровно ничего.

— Я знаю, что неправда. Скажи, дорогая. Мне ты можешь сказать.

— Ничего не случилось.

— Скажи.
— Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит.
— Да нет же.
— Ты уверен? Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя.
— Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет.
— Мне не хочется говорить.
— Скажи.
— Это необходимо?
— Да.
— У меня будет ребенок, милый. Уже почти три месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо. Не огорчайся.
— Не буду.
— Правда не будешь?
— Конечно.
— Я все делала. Я все пробовала, но ничего не помогло.
— Я и не думаю огорчаться.
— Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься.
— Я тревожусь только о тебе.
— Ну вот! Как раз этого и не надо. У всех родятся дети. У других все время родятся дети. Совершенно естественная вещь.
— Ты прелесть.
— Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство. Но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило?
— Нет.
— И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань. Перестань сейчас же. Хочешь выпить чего-нибудь, милый? Я знаю, стоит тебе выпить, и ты развеселишься.
— Нет. Я и так веселый. А ты прелесть.
— Вовсе нет. Но я все улажу, и мы будем вместе, а ты только выбери место, куда нам поехать. Октябрь, наверно, будет чудесный. Мы чудесно проведем это время, милый, а когда ты будешь на фронте, я буду писать тебе каждый день.
— А ты где будешь?
— Я еще не знаю. Но непременно в самом замечательном месте. Я обо всем позабочусь.

Мы притихли и перестали разговаривать. Кэтрин сидела на постели, и я смотрел на нее, но мы не прикасались друг к другу. Каждый из нас был сам по себе, как бывает, когда в комнату входит посторонний и все вдруг настораживаются. Она протянула руку и положила ее на мою.
— Ты не сердишься, милый, скажи?
— Нет.
— И у тебя нет такого чувства, будто ты попал в ловушку?

— Немножко есть, пожалуй. Но не из-за тебя.

— Я и не думаю, что из-за меня. Не говори глупостей. Я хочу сказать — вообще в ловушку.

— Физиология всегда ловушка.

Она вдруг далеко ушла от меня, хотя не шевельнулась и не отняла руки.

— Всегда — нехорошее слово.

— Прости.

— Да нет, ничего. Но ты понимаешь, у меня никогда не было ребенка, и я никогда никого не любила. И я старалась быть такой, как ты хотел, а ты вдруг говоришь «всегда».

— Ну давай я отрежу себе язык,— предложил я.

— Милый! — Она вернулась ко мне издалека.— Не обращай внимания.— Мы снова были вместе, и настороженность исчезла.— Ведь, правда же, мы с тобой — одно, и не стоит придираться к пустякам.

— И не нужно.

— А бывает. Люди любят друг друга, и придираются к пустякам, и ссорятся, и потом вдруг сразу перестают быть одно.

— Мы не будем ссориться.

— И не надо. Потому что ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят.

— Им до нас не достать,— сказал я.— Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды.

— Все равно, и храбрые умирают.

— Но только один раз.

— Так ли? Кто это сказал?

— Трус умирает тысячу раз, а храбрый только один?

— Ну да. Кто это сказал?

— Не знаю.

— Сам был трус, наверно,— сказала она.— Хорошо разбирался в трусах, но в храбрых не смыслил ничего. Храбрый, может быть, две тысячи раз умирает, если он умен. Только он об этом не рассказывает.

— Не знаю. Храброму в душу не заглянешь.

— Да. Этим он и силен.

— Ты говоришь со знанием дела.

— Ты прав, милый. На этот раз ты прав.

— Ты сама храбрая.

— Нет,— сказала она.— Но я бы хотела быть храброй.

— А я не храбрый,— сказал я.— Я знаю себе цену. У меня было достаточно времени, чтобы узнать. Я точно бейсболист, который выбивает двадцать два за сезон и знает, что на большее он не способен.

— Что это значит: «выбивает двадцать два за сезон»? Звучит очень важно.

— Совсем не важно. Это значит — очень посредственный игрок нападения в бейсбольной команде.

— Но все-таки игрок нападения,— поддразнила она меня.

— Кажется, нам друг друга не переспорить,— сказал я.— Но ты храбрая.

— Нет. Но надеюсь когда-нибудь стать храброй.

— Мы оба храбрые,— сказал я.— Когда я выпью, так я совсем храбрый.

— Мы замечательные люди,— сказала Кэтрин. Она подошла к шкафу и достала коньяк и стакан.— Выпей, милый,— сказала она.— Это тебе за хорошее поведение.

— Да мне не хочется.

— Выпей, выпей.

— Ну, хорошо.— Я налил треть стакана коньяку и выпил.

— Однако,— сказала она.— Я знаю, что коньяк — напиток героев. Но не надо увлекаться.

— Где мы будем жить после войны?

— Вероятно, в богадельне,— сказала она.— Три года я была очень наивна и надеялась, что война кончится к рождеству. Но теперь я надеюсь, что она кончится, когда наш сын будет лейтенантом.

— А может, он будет генералом.

— Если это столетняя война, он и до генерала успеет дослужиться.

— Ты не хочешь выпить?

— Нет. Ты от коньяка всегда веселеешь, милый, а у меня голова кружится.

— Ты никогда не пила коньяк?

— Нет, милый. Я ужасно старомодная жена.

Я потянулся за бутылкой и налил себе еще коньяку.

— Надо пойти взглянуть на твоих соотечественников,— сказала Кэтрин.— Может, ты пока почитаешь газеты?

— Тебе непременно нужно идти?

— Если не сейчас, то позже.

— Лучше сейчас.

— Я скоро вернусь.

— Я успею дочитать газеты,— сказал я.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ночью стало холодно, и на следующий день шел дождь. Когда я возвращался из Ospedale Maggiore, дождь был очень сильный, и я насквозь промок. Балкон моей комнаты заливало потоками дождя, и ветер гнал их в стекло балконной двери. Я переоделся и выпил коньяку, но у коньяка был неприятный вкус. Ночью я почувствовал себя плохо, и наутро после завтрака меня вырвало.

— Картина ясная,— сказал госпитальный врач.— Взгляните на белки его глаз, мисс.

Мисс Гэйдж взглянула. Мне дали зеркало, чтобы и я мог взглянуть. Белки глаз были желтые, это была желтуха. Я пробо-

лел две недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Палланцу па Лаго-Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель. Там было бы лучше, чем в Стрезе, потому что в Палланце народу меньше. В Стрезу так удобно ездить из Милана, что там всегда полно знакомых. Близ Палланцы есть очень славные деревушки, и на гребной лодке можно добираться до рыбачьих островов, а на самом большом острове есть ресторан. Но нам не пришлось поехать.

Как-то, когда я лежал больной желтухой, мисс Ван-Кампен вошла в комнату, распахнула дверцы гардероба и увидела пустые бутылки. Я только что послал швейцара вынести целую охапку бутылок, и, наверно, она видела, как он выходил с ними, и пришла посмотреть, нет ли еще. Больше всего было бутылок из-под вермута, бутылок из-под марсалы, бутылок из-под капри, пустых фляг из-под кьянти и несколько бутылок было из-под коньяка. Швейцар унес самые большие бутылки, те, в которых был вермут, и оплетенные соломой фляги из-под кьянти, а бутылки из-под коньяка он оставил напоследок. Те бутылки, которые нашла мисс Ван-Кампен, были из-под коньяка, и одна бутылка, в виде медведя, была из-под кюммеля. Бутылка-медведь привела мисс Ван-Кампен в особенную ярость. Она взяла ее в руки. Медведь сидел на задних лапах, подняв передние, в его стеклянной голове была пробка, а ко дну пристало несколько липких кристалликов. Я засмеялся.

— Тут был кюммель,— сказал я.— Самый лучший кюммель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России.

— Это все бутылки из-под коньяка, если не ошибаюсь? — спросила мисс Ван-Кампен.

— Мне отсюда не видно,— сказал я.— Но по всей вероятности — да.

— Сколько времени это продолжается?

— Я сам покупал их и приносил сюда,— сказал я.— Меня часто навещали итальянские офицеры, и я держал коньяк, чтоб угощать их.

— Но сами вы не пили?

— Сам тоже пил.

— Коньяк! — сказала она.— Одиннадцать пустых бутылок из-под коньяка и эта медвежья жидкость.

— Кюммель.

— Сейчас я пришлю кого-нибудь, чтобы их убрали. Больше у вас нет пустых бутылок?

— Пока — нет.

— А я еще жалела вас, когда вы заболели желтухой. Жалость к вам — это зря потраченная жалость.

— Благодарю вас.

— Я готова понять, что вам не хочется возвращаться на фронт. Но вы могли бы изобрести что-нибудь более остроумное, чем вызвать у себя желтуху потреблением алкоголя.

— Чем?

— Потреблением алкоголя. Вы очень хорошо слышали, что я сказала.— Я молчал.— Боюсь, что, если вы не придумаете чего-нибудь еще, вам придется отправиться на фронт, как только пройдет ваша желтуха. Не думаю, чтобы после умышленно вызванной желтухи полагался отпуск для поправления здоровья.

— Вы не думаете?

— Не думаю.

— Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван-Кампен?

— Нет, но я не раз наблюдала эту болезнь.

— Вы заметили, какое удовольствие она доставляет больным?

— Вероятно, это все же лучше, чем фронт.

— Мисс Ван-Кампен,— сказал я,— вы когда-нибудь видели человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы самого себя в мошонку?

Мисс Ван-Кампен пропустила вопрос мимо ушей. Она должна была или пропустить его мимо ушей, или уйти из моей комнаты. Уходить ей не хотелось, потому что она невзлюбила меня уже давно и теперь готовилась свести со мной счеты.

— Я видела много людей, которые спасались от фронта умышленным членовредительством.

— Вопрос не в том. Умышленное членовредительство я и сам видел. Я спросил, видели ли вы когда-нибудь человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы себя ногой в мошонку? Потому что это ощущение ближе всего к желтухе, и я думаю, что не многим женщинам оно знакомо. Вот я и спросил, была ли у вас когда-нибудь желтуха, мисс Ван-Кампен, потому что...

Мисс Ван-Кампен вышла из комнаты. Немного спустя вошла мисс Гэйдж.

— Что вы такое сказали Ван-Кампен? Она взбешена.

— Мы сравнивали различные ощущения. Я высказал предположение, что ей никогда не случалось рожать...

— Вы сумасшедший,— сказала Гэйдж.— Она готова содрать с вас кожу живьем.

— Она уже ее содрала,— сказал я.— Она провалила мой отпуск, а теперь, пожалуй, захочет подвести меня под полевой суд. С нее станется.

— Она всегда вас недолюбливала,— сказала Гэйдж.— А из-за чего вышел разговор?

— Она говорит, что я нарочно допился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт.

— Пфф,— сказала Гэйдж.— Да я присягну, что вы никогда капли в рот не брали. Все присягнут, что вы никогда капли в рот не брали.

— Она нашла бутылки.

— Сто раз я вам говорила: нужно убирать эти бутылки. Где они?

— В гардеробе.

— У вас есть чемодан?

— Нет. Суньте в этот рюкзак.

Мисс Гэйдж упаковала бутылки в рюкзак.

— Я их отдам швейцару,— сказала она, направляясь к двери.

— Одну минуту,— сказала мисс Ван-Кампен.— Эти бутылки я захвачу.— С ней был швейцар.— Возьмите это, пожалуйста,— сказала она.— Я хочу показать их доктору, когда буду докладывать ему.

Она пошла по коридору. Швейцар понес рюкзак. Он знал, что в нем.

Ничего не случилось, только мой отпуск пропал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтоб получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля, пулеметчика в отпуску, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки.

Около пяти часов я распрощался в госпитале и вышел. Швейцар уже снес мой багаж к себе в швейцарскую, и я сказал, что буду на вокзале незадолго до полуночи. Его жена назвала меня «signorino» и заплакала. Потом вытерла глаза, потрясла мою руку и заплакала снова. Я потрепал ее по плечу, и она заплакала еще раз. Это была низенькая, пухлая, седая женщина с добрым лицом. Она всегда штопала мне носки. Когда она плакала, у нее все лицо точно расползалось. Я пошел в бар на углу и там стал дожидаться, глядя в окно. На улице было темно, и холодно, и туманно. Я уплатил за стакан кофе с граппой и смотрел, как люди идут мимо в полосе света от окна. Я увидел Кэтрин и постучал в окно. Она глянула, увидела меня и улыбнулась, и я вышел ей навстречу. На ней был темно-синий плащ и мягкая фетровая шляпа. Мы вместе пошли по тротуару мимо винных погребков, потом через рыночную площадь и дальше по улице и, пройдя под аркой, вышли на соборную площадь. Ее пересекали трамвайные рельсы, а за ними был собор. Он был белый и мокрый в тумане. Мы перешли рельсы. Слева от нас были магазины с освещенными витринами и вход в Galleria. Над площадью туман сгущался, и собор вблизи был очень большой, а камень стен мокрый.

— Хочешь, войдем?

— Нет,— сказала Кэтрин.

Мы пошли дальше. В тени одного из каменных контрфорсов стоял солдат с девушкой, и мы прошли мимо них. Они стояли, вплотную прижавшись к стене, и он укрыл ее своим плащом.

— Они похожи на нас,— сказал я.

— Никто не похож на нас,— сказала Кэтрин. Она думала не о радостном.

— Им даже пойти некуда.

— Может быть, так для них лучше.

— Не знаю. Все-таки нужно, чтоб у каждого было куда пойти.

— У них есть собор,— сказала Кэтрин.

Мы уже миновали его. Мы перешли на другую сторону и оглянулись на собор. Он был красивый в тумане. Мы стояли перед магазином кожаных изделий. В витрине были сапоги для верховой езды, рюкзак и пьексы. Все это было разложено отдельно: рюкзак посредине, сапоги с одной стороны, пьексы — с другой. Кожа была темная, гладкая и лоснилась, точно на потертом седле. Электрический свет бросал длинные блики на тускло лоснившуюся кожу.

— Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах.

— Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене,— сказала Кэтрин.

— Давай поедем туда.

— Давай,— сказала она. Мы прошли вдоль других витрин и свернули в переулок.

— Я здесь ни разу не была.

— Этой дорогой я всегда ходил в Ospedale Maggiore,— сказал я.

Переулок был узкий, и мы держались правой стороны. В густом тумане встречалось много прохожих. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. Мы загляделись на пирамиду сыра в одном окне. Перед оружейной лавкой я остановился.

— Зайдем на минутку. Мне нужно кое-что купить.

— А что?

— Пистолет.

Мы вошли, и я отстегнул свой пояс и вместе с пустой кобурой положил его на прилавок. За прилавком стояли две женщины. Они показали мне несколько пистолетов.

— Мне нужно, чтоб он пришелся по размеру,— сказал я, открывая кобуру. Кобура была серая, кожаная, я купил ее по случаю, чтобы носить в городе.

— А это хорошие пистолеты? — спросила Кэтрин.

— Все они примерно одинаковы. Можно испытать вот этот? — спросил я у женщины.

— Здесь у нас теперь негде стрелять,— сказала она.— Но он очень хороший. Вы не пожалеете.

Я спустил курок и оттянул затвор. Пружина была довольно тугая, но действовала исправно. Я прицелился и снова спустил курок.

— Он не новый,— сказала женщина.— Он принадлежал одному офицеру, первоклассному стрелку.

— А куплен был у вас?

— Да.

— Как он попал к вам опять?

— Через вестового этого офицера.

— Может быть, и мой у вас,— сказал я.— Сколько?

— Пятьдесят лир. Это очень дешево.

— Хорошо. Дайте мне еще две запасные обоймы и коробку патронов.

Она достала обоймы и патроны из-под прилавка.

— Может быть, вам нужна сабля? — спросила женщина.— У меня есть подержанные сабли, очень дешево.

— Я еду на фронт.

— А, ну тогда вам не нужна сабля,— сказала она.

Я заплатил за патроны и пистолет, зарядил обойму и вставил ее на место, вложил пистолет в пустую кобуру, набил патронами обе запасные обоймы и спрятал их в кожаные кармашки кобуры, потом надел пояс и застегнул его. Тяжесть пистолета оттягивала пояс. Все-таки, подумал я, оружие форменного образца лучше. Всегда можно достать патроны.

— Теперь мы в полном вооружении,— сказал я.— Это единственное, что мне нужно было сделать до отъезда. Кто-то взял мой старый, когда меня отправляли в госпиталь.

— Только бы он был хороший,— сказала Кэтрин.

— Может быть, вам еще что-нибудь угодно? — спросила женщина.

— Как будто нет.

— Пистолет со шнуром,— сказала она.

— Да, я заметил.

Женщине хотелось продать еще что-нибудь.

— Может, вам нужен свисток?

— Как будто нет.

Женщина сказала «до свидания», и мы вышли на улицу. Кэтрин посмотрела в окно. Женщина выглянула и поклонилась нам.

— Что это за зеркальце в деревянной оправе?

— Это чтобы приманивать птиц. С таким зеркальцем выходят в поле, жаворонки летят на блеск, тут их и убивают.

— Изобретательный народ итальянцы,— сказала Кэтрин.— У вас, в Америке, жаворонков не стреляют, милый, правда?

— Разве что случайно.

Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне.

— Мне теперь лучше,— сказала Кэтрин.— Мне было очень скверно, когда мы вышли.

— Нам всегда хорошо, когда мы вместе.

— Мы всегда будем вместе.
— Да, если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю.
— Не думай об этом, милый.
Мы шли по улице. В тумане огни были желтыми.
— Ты не устал? — спросила Кэтрин.
— А ты?
— Нет. Приятно бродить так.
— Но только не нужно очень долго.
— Хорошо.
Мы дошли до угла и свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целуя ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены.
— Пойдем куда-нибудь,— сказал я.
— Хорошо,— сказала Кэтрин. Мы шли по переулку, пока не дошли до более широкой улицы, выходившей на канал. На другой стороне были кирпичные дома. Впереди, в конце улицы, я увидел трамвай, который въезжал на мост.
— У моста мы найдем экипаж,— сказал я. Мы стояли на мосту в тумане, дожидаясь экипажа. Мимо прошло несколько трамваев, набитых людьми, которые торопились домой. Потом проехал экипаж, но в нем кто-то сидел. Стал накрапывать дождь.
— Пойдем пешком или сядем в трамвай? — сказала Кэтрин.
— Сейчас найдем экипаж,— сказал я.— Здесь их много.
— Вот как раз подъезжает,— сказала она.
Кучер остановил лошадь и опустил металлический значок у своего счетчика. Верх был поднят, и на плаще у кучера были капли дождя. Его лакированный цилиндр блестел от воды. Мы уселись вместе на заднем сиденье, от поднятого верха там было темно.
— Куда ты велел ему ехать?
— К вокзалу. Напротив вокзала есть отель, туда мы и зайдем.
— А в отель разве можно так? Без багажа.
— Можно,— сказал я.
Мы долго ехали к вокзалу переулками под дождем.
— А обедать мы не будем? — спросила Кэтрин.— Я что-то уже проголодалась.
— Мы пообедаем у себя в номере.
— Мне не во что переодеться. У меня нет даже ночной сорочки.
— А мы купим,— сказал я и окликнул кучера: — Поезжайте по Виа-Манцони.
Он кивнул и на следующем углу свернул налево. На Виа-Манцони Кэтрин стала искать магазин.
— Вот здесь,— сказала она. Я остановил кучера, и Кэтрин слезла, перешла тротуар и скрылась внутри. Я сидел, откинувшись, в экипаже и ждал ее. Шел дождь, и я чувствовал запах

мокрой улицы и дымящихся боков лошади под дождем. Кэтрин вышла со свертком, села, и мы поехали дальше.

— Я ужасная транжирка, милый,— сказала она,— но сорочка такая красивая.

У отеля я попросил Кэтрин подождать в экипаже, а сам вошел и переговорил с управляющим. Номеров было сколько угодно. Я вернулся к экипажу, заплатил кучеру, и мы с Кэтрин вместе вошли в отель. Мальчик с блестящими пуговицами понес сверток. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт. Кругом было много красного плюша и бронзы. Управляющий поднялся вместе с нами.

— Monsieur и madame угодно обедать у себя в номере?

— Да. Пришлите, пожалуйста, карточку,— сказал я.

— Угодно что-нибудь по особому заказу? Дичь или суфле?

Лифт миновал три этажа, позвякивая у каждого, потом звякнул и остановился.

— Какая у вас есть дичь?

— Можно приготовить фазана или вальдшнепа.

— Вальдшнепа,— сказал я. Мы пошли по коридору. Ковер был потертый. Справа и слева было много дверей. Управляющий остановился, отпер одну из дверей и распахнул ее.

— Вот, прошу вас. Прелестная комната.

Мальчик с блестящими пуговицами положил сверток на стол посреди комнаты. Управляющий раздвинул оконные портьеры.

— Туманно сегодня,— сказал он. Комната была обставлена красной плюшевой мебелью. Было много зеркал, два кресла и широкая кровать с атласным одеялом. Вторая дверь вела в ванную.

— Я сейчас пришлю карточку,— сказал управляющий. Он поклонился и вышел.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, потом потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, и ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и поднесла руки к волосам. Я увидел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой. Она сбросила свой плащ на постель.

— Что с тобой, дорогая?

— Я никогда еще не чувствовала себя девкой,— сказала она. Я подошел к окну и раздвинул портьеры и посмотрел на улицу. Я не думал, что так будет.

— Ты не девка.

— Я знаю, милый. Но неприятно чувствовать, будто это так.— Голос ее был сухой и тусклый.

— Это самый лучший отель, где мы могли устроиться,— сказал я.

Я смотрел в окно. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в парке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. «О черт,— думал я,— неужели сейчас время спорить?»

— Иди сюда,— сказала Кэтрин. Сухость исчезла из ее голоса.— Иди сюда. Я уже пай-девочка.

Я повернулся к постели. Кэтрин улыбалась.

Я подошел и сел на постель рядом с ней и поцеловал ее.

— Ты моя пай-девочка.

— Конечно, твоя,— сказала она.

После обеда нам стало легче, а потом сделалось совсем хорошо, и вскоре мы почувствовали, что эта комната наш дом. Раньше моя комната в госпитале была нашим домом, и точно так же этот номер отеля стал нашим домом.

Кэтрин села, накинув на плечи мой френч. Мы сильно проголодались, а обед был хороший, и мы выпили бутылку капри и бутылку сент-эстефа. Большую часть выпил я, но и Кэтрин выпила немного, и ей стало совсем хорошо. Нам подали вальдшнепа с картофелем, суфле, пюре из каштанов, салат и сабайон на сладкое.

— Хорошая комната,— сказала Кэтрин.— Чудесная комната. Как жаль, что мы раньше не догадались здесь поселиться.

— Смешная комната. Но славная.

— Замечательная вещь разврат,— сказала Кэтрин.— Люди, которые им занимаются, по-видимому, делают это со вкусом. Этот красный плюш просто бесподобен. Именно то, что надо. А зеркала, разве не прелесть?

— Ты милая.

— Не знаю, каково проснуться в такой комнате наутро. Но вообще это прекрасная комната.

Я налил еще стакан сент-эстефа.

— Мне бы хотелось согрешить по-настоящему,— сказала Кэтрин.— Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное.

— Ты изумительная.

— Только я голодна. Я ужасно голодна.

— Ты простая, ты замечательная.

— Я простая. Никто не понимал этого до тебя.

— Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель «Кавур» и как все будет.

— Это было нахальство с твоей стороны. Но ведь это не «Кавур», правда?

— Нет. Туда бы нас не пустили.

— Когда-нибудь пустят. Но вот видишь, милый, в этом разница между нами. Я никогда ни о чем не думала.

— Совсем никогда?

— Ну, немножко,— сказала она.

— Ах ты, милая!

Я налил еще стакан вина.

— Я совсем простая,— сказала Кэтрин.

— Сначала я думал иначе. Мне показалось, что ты сумасшедшая.

— Я и была немножко сумасшедшая. Но не как-нибудь по-особенному сумасшедшая. Я тебя не смутила тогда, милый?

— Изумительная вещь вино,— сказал я.— Забываешь все плохое.

— Чудесная вещь,— сказала Кэтрин.— Но у моего отца от него сделалась очень сильная подагра.

— У тебя есть отец?

— Да,— сказала Кэтрин.— У него подагра. Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца?

— Нет,— сказал я.— У меня отчим.

— А он мне понравится?

— Тебе не нужно будет с ним встречаться.

— Нам с тобой так хорошо,— сказала Кэтрин.— Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена.

Пришел официант и убрал посуду. Немного погодя мы притихли, и было слышно, как идет дождь. Внизу, на площади, прогудел автомобиль.

Но слышу мчащих все быстрей
Крылатых времени коней,—

сказал я.

— Я знаю эти стихи,— сказала Кэтрин.— Это Марвелл. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной.

Голова у меня была очень ясная и свежая, и мне хотелось говорить о житейском.

— Где ты будешь рожать?

— Не знаю. В самом лучшем месте.

— Как ты все устроишь?

— Самым лучшим образом. Не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей.

— Нам скоро пора.

— Я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора.

— Нет.

— Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать.

— Не буду. Ты мне будешь часто писать?

— Каждый день. Ваши письма просматривают?

— Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения.

— Я буду писать очень путано,— сказала Кэтрин.

— Но не слишком уж путано.

— Нет, только чуть-чуть путано.

— Пожалуй, нужно идти.

— Хорошо, милый.

— Мне не хочется уходить из нашего домика.

— И мне тоже.

— Но нужно идти.

— Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома.

— Еще поживем.

— Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению.

— Может быть, я вернусь очень скоро.

— Вдруг тебя ранят чуть-чуть в ногу.

— Или в мочку уха.

— Нет, я хочу, чтоб твои уши остались, как они есть.

— А ноги нет?

— В ноги ты уже был ранен.

— Надо нам идти, дорогая.

— Хорошо. Иди ты первый.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей. Он вскочил и поклонился, и я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед, но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтоб я не сбежал, не заплатив. По-видимому, такие случаи у него бывали, даже с друзьями. Столько друзей заводишь во время войны.

Я попросил официанта сходить за экипажем, и он взял у меня из рук сверток Кэтрин и, раскрыв зонт, вышел. Из окна мы видели, как он переходил улицу под дождем. Мы стояли в конторе и глядели в окно.

— Как ты себя чувствуешь, Кэт?

— Спать хочется.

— А мне тоскливо и есть хочется.

— У тебя есть с собой какая-нибудь еда?

— Да, в походной сумке.

Я увидел подъезжавший экипаж. Он остановился, лошадь стала, понурив голову под дождем, официант вылез, раскрыл зонт и пошел к отелю. Мы встретили его в дверях и под зонтом прошли по мокрому тротуару к экипажу. В сточной канаве бежала вода.

— Ваш сверток на сиденье,— сказал официант. Он стоял с зонтом, пока мы усаживались, и я дал ему на чай.

— Спасибо. Счастливого пути,— сказал он.

Кучер подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Официант повернулся со своим зонтом и направился к отелю. Мы поехали вдоль тротуара, затем повернули налево и выехали к вокзалу с правой стороны. Два карабинера стояли у фонаря, куда почти не попадал дождь. Их шляпы блестели под фонарем. При свете вокзальных огней дождь был прозрачный и чистый. Из-под навеса вышел носильщик, пряча от дождя голову в воротник.

— Нет,— сказал я.— Спасибо. Не требуется.

Он снова укрылся под навесом. Я обернулся к Кэтрин. Ее лицо было в тени поднятого верха.

— Что ж, попрощаемся?

— Я войду.

— Не надо.

— До свидания, Кэт.

— Скажи ему адрес госпиталя.

— Хорошо.

Я сказал кучеру, куда ехать. Он кивнул.

— До свидания,— сказал я.— Береги себя и маленькую Кэтрин.

— До свидания, милый.

— До свидания,— сказал я.

Я вышел под дождь, и кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице. Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я оглянулся; там был только навес и двое карабинеров. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду.

На перроне меня дожидался швейцар. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел пулеметчик. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Пулеметчик встал, чтоб уступить мне место. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной.

— В чем дело? — спросил я. Я повернулся к нему лицом. Он был выше меня ростом, и его лицо казалось очень худым в тени козырька, и рубец был свежий и глянцевитый. Все кругом смотрели на меня.

— Так не делают,— сказал он.— Нельзя посылать солдата заранее занимать место.

— А вот я так сделал.

Он глотнул воздух, и я увидел, как его кадык поднялся и опустился. Пулеметчик стоял около пустого места. Через стеклянную перегородку коридора смотрели люди. Кругом все молчали.

— Вы не имеете права. Я пришел сюда на два часа раньше вас.

— Чего вы хотите?

— Сидеть.

— Я тоже.

Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня. Я не осуждал их. Он был прав. Но я хотел сидеть. Кругом все по-прежнему молчали.

«А черт!» — подумал я.

— Садитесь, signor capitano,— сказал я. Пулеметчик посторонился, и высокий капитан сел. Он посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство. Но место осталось за ним.— Достаньте мои вещи,— сказал я пулеметчику. Мы вышли в коридор. Я дал швейцару и пулеметчику по десять лир. Они вышли из вагона и прошли по всей платформе, заглядывая в окна, но мест не было.

— Может быть, кто-нибудь сойдет в Брешии,— сказал швейцар.

— В Брешии еще сядут,— сказал пулеметчик. Я простился с ними, и они пожали мне руку и ушли. Они оба были расстроены. Все мы, оставшиеся без мест, стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми, и ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки, так что он пришелся между бедром и штаниной. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках в Брешии и Вероне, где в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я подложил себе под голову, а другую обхватил руками, и кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Была уже осень, и деревья все были голые и дороги покрыты грязью. Из Удине в Горицию я ехал на грузовике. По пути нам попадались другие грузовики, и я смотрел по сторонам. Тутовые деревья были голые, и земля в полях бурая. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч, сложенных вдоль обочины дороги, под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В горах шли дожди. Мы въехали в город, минуя фабрики, а потом дома и виллы, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепи, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией; шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой.

Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнута. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки.

— Привет! — сказал он.— Ну, как здоровье? — Он постарел и как будто ссохся.

— В порядке,— сказал я.— Как у вас дела?

— Все уже кончилось,— сказал он.— Снимите свое снаряжение и садитесь.

Я положил рюкзак и обе сумки на пол, а кепи — на рюкзак. Потом взял стул, стоявший у стены, и сел к столу.

— Лето было скверное,— сказал майор.— Вы вполне оправились?

— Да.

— Вы получили свои награды?

— Да. Все в лучшем виде. Благодарю вас.

— Покажите-ка.

Я распахнул свой плащ, чтобы видны были две ленточки.

— А самые медали вы тоже получили?

— Нет. Только документы.

— Медали придут потом. На это нужно больше времени.

— Куда вы меня теперь направите?

— Машины все в разъезде. Шесть на севере, в Капоретто. Вы знаете Капоретто?

— Да,— сказал я. Мне припомнился маленький белый городок с колокольней в долине. Городок был чистенький, и на площади был красивый фонтан.

— Вот они там. Сейчас много больных. Бои кончились.

— А где остальные?

— Две в горах, а четыре все еще на Баинзицце. Оба других санитарных отряда в Карсо, с третьей армией.

— Куда вы меня направите?

— Вы можете взять те четыре машины, которые на Баинзицце, если хотите. Смените Джино, он уже давно там. Это все ведь случилось уже после вас, кажется?

— Да.

— Скверное было дело. Мы потеряли три машины.

— Я слышал.

— Да, вам писал Ринальди.

— Где Ринальди?

— Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось.

— Могу себе представить.

— Да, скверно было,— сказал майор.— Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены вначале.

— Я и сам так считаю.

— В том году будет еще хуже,— сказал майор.— Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку?

— Да. Вода поднялась.

— Не думаю, чтоб наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что наши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас?

— Готовится армия в десять миллионов.

— Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну, ладно. Вы сегодня переночуйте здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джино. Я дам вам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джино вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Баинзицце.

— Очень рад буду побывать там. Очень рад, что я опять с вами.

Он улыбнулся.

— Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться.

— Настолько все скверно?

— Да. Настолько и даже хуже. Идите умойтесь и разыщите своего друга Ринальди.

Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте, и я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати, и думал о Кэтрин, и ждал Ринальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же. Разве только слегка похудел.

— Ну, бэби,— сказал он.

Я приподнялся на постели. Он подошел, сел рядом и обнял меня.

— Славный мой, хороший бэби.— Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи.

— Славный мой бэби,— сказал он.— Покажите-ка мне колено.

— Придется штаны снимать.

— Снимите штаны, бэби. Здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали.

Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено.

— И дальше у вас не сгибается?

— Нет.

— Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава.

— Было гораздо хуже. Нога была как палка.

Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор. Он согнул ногу слишком сильно.

— Уф! — сказал я.

— Вам надо было еще полечиться механотерапией,— сказал Ринальди.

— Раньше было хуже.

— Знаю, бэби. В таких вещах я смыслю больше вас.— Он поднялся и сел на кровать.— Сама операция сделана неплохо.— С моим коленом было покончено.— Теперь рассказывайте.

— Нечего рассказывать,— сказал я.— Жил тихо и мирно.

— Можно подумать, что вы семейный человек,— сказал он.— Что с вами?

— Ничего,— сказал я.— А вот что с вами?

— Эта война меня доконает,— сказал Ринальди.— Я совсем скис.— Он обхватил свое колено руками.

— Ого! — сказал я.

— В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?

— Нет. Вы, видно, провели веселое лето. Расскажите.

— Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, бэби, я становлюсь отличным хирургом.

— Это звучит уже лучше.

— Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую.

— И правильно.

— Но сейчас, бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, и на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, бэби. Можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?

— Да.

Они лежали в моем рюкзаке, в коробке, завернутые в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их.

— А у вас разве хорошо на душе, бэби?

— Омерзительно.

— Эта война ужасна,— сказал Ринальди.— Ну, ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру. И все будет хорошо.

— У меня была желтуха,— сказал я.— Мне нельзя напиваться.

— Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись: рассудительный, с больной печенью. Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались?

— Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно.

Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяка.

— Это австрийский коньяк,— сказал он.— Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриеле.

— Вы там были?

— Нет. Я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал. Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас.

— Или о том, что нужно чистить зубы.

— Нет. У меня свой есть. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались отчиститься от «Вилла-Росса», и ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались

вычистить свою совесть зубной щеткой.— Он подошел к постели.— Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным.

— Не подумаю я вас целовать. Вы обезьяна.

— Ну, ну. Я знаю, вы хороший англосаксонский пай-мальчик. Я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом.

— Налейте коньяку в стакан.

Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной.

— Вот подпою вас, выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком.

Я протянул стакан, чтобы он налил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман.

— Не выливайте коньяк в окно,— сказал Ринальди.— Если вы не можете выпить, дайте мне.

— Подите вы, знаете куда,— сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга.

— Вы женились? — спросил он, сидя на постели. Я стоял у окна, прислонясь к стене.

— Нет еще.

— Вы влюблены?

— Да.

— В ту англичанку?

— Да.

— Бедный бэби! Ну, а она вас тоже любит?

— Да.

— И доказала вам это на деле?

— Заткнитесь.

— Охотно. Вы увидите, что я человек исключительной деликатности. А что, она...

— Ринин! — сказал я.— Пожалуйста, заткнитесь. Если вы хотите, чтоб мы были друзьями, заткнитесь.

— Мне нечего хотеть, чтоб мы были друзьями, бэби. Мы и так друзья.

— Вот и заткнитесь.

— Слушаюсь.

Я подошел к кровати и сел рядом с Ринальди. Он держал стакан и смотрел в пол.

— Теперь понимаете, Ринин?

— Да, да, конечно. Всю свою жизнь я натыкаюсь на священные чувства. За вами я таких до сих пор не знал. Но, конечно, и у вас они должны быть.— Он смотрел в пол.

— А разве у вас нет?

— Нет.

— Никаких?

— Никаких.

— Вы позволили бы мне говорить что угодно о вашей матери, о вашей сестре?

— И даже о *вашей* сестре,— живо сказал Ринальди.

Мы оба засмеялись.

— Каков сверхчеловек! — сказал я.

— Может быть, я ревную,— сказал Ринальди.

— Нет, не может быть.

— Не в этом смысле. Я хотел сказать другое. Есть у вас женатые друзья?

— Есть,— сказал я.

— А у меня нет,— сказал Ринальди.— Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет.

— Почему?

— Они меня не любят.

— Почему?

— Я змей. Я змей познания.

— Вы все перепутали. Это древо было познания.

— Нет, змей.— Он немного развеселился.

— Вас портят глубокомысленные рассуждения,— сказал я.

— Я люблю вас, бэби,— сказал он.— Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы.

— Да. Это верно.

— Но вам будет легче прожить. Хоть и с угрызениями совести, а легче.

— Не думаю.

— Да, да. Это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю.— Он снова стал смотреть в пол.

— Это у вас пройдет.

— Нет. Есть еще только две вещи, которые я люблю: одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или на пятнадцать минут. Иногда меньше.

— Иногда гораздо меньше.

— Может быть, я сделал успехи, бэби. Вы ведь не знаете. Но я знаю эти две вещи и свою работу.

— Узнаете и другое.

— Нет. Мы никогда ничего не узнаем. Мы родимся со всем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латинянин.

— Никаких латинян не существует. Это вот рассуждения латинянина. Вы гордитесь своими недостатками.

Ринальди поднял глаза и засмеялся.

— Ну, хватит, бэби. Я устал рассуждать.— У него был усталый вид, еще когда он вошел в комнату.— Скоро обед. Я рад, что вы вернулись. Вы мой лучший друг и мой брат по оружию.

— Когда братья по оружию обедают? — спросил я.

— Сейчас. Выпьем еще раз за вашу печенку.

— Это что, по апостолу Павлу?

— Вы не точны. Там было вино и желудок. Вкусите вина ради пользы желудка.

— Чего хотите,— сказал я.— Ради чего угодно.

— За вашу милую,— сказал Ринальди. Он поднял свой стакан.

— Принимаю.

— Я больше не скажу о ней ни одной гадости.

— Не невольте себя.

Он выпил весь коньяк.

— У меня чистая душа,— сказал он.— Я такой же, как вы, бэби. Я себе тоже заведу английскую девушку. Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой, но она для меня слишком высокая. И высокую девушку в сестры,— продекламировал он.

— Вы сама чистота,— сказал я.

— Не правда ли? Потому-то меня и называют Чистейший Ринальди.

— Свинейший Ринальди.

— Ну, ладно, бэби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты.

Я умылся, пригладил волосы, и мы снова сошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не все было готово к обеду.

— Пойду принесу коньяк,—сказал Ринальди. Он поднялся наверх. Я сел за стол, и он вернулся с бутылкой и налил себе и мне по полстакана коньяку.

— Слишком много,— сказал я, и поднял стакан, и посмотрел в него на свет лампы, стоявшей посреди стола.

— На пустой желудок не много. Замечательная вещь. Совершенно выжигает внутренности. Хуже для вас не придумаешь.

— Ну что ж.

— Систематическое саморазрушение,— сказал Ринальди.— Портит желудок и вызывает дрожь в руках. Самая подходящая вещь для хирурга.

— Вы мне советуете?

— От всей души. Другого сам не употребляю. Проглотите это, бэби, и готовьтесь захворать.

Я выпил половину. В коридоре послышался голос вестового, выкликавший: «Суп! Суп готов!»

Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким.

— Больше никого? — спросил он. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку.

— Никого,— сказал Ринальди.— Разве только священник придет. Знай он, что Федерико здесь, он бы пришел.

— Где он? — спросил я.

— В триста седьмом,— сказал майор. Он был занят своим супом. Он вытер рот, тщательно вытирая подкрученные кверху

седые усы.— Придет, вероятно. Я был там и оставил записку, что вы приехали.

— Прежде шумнее было в столовой,— сказал я.

— Да, у нас теперь тихо,— сказал майор.

— Сейчас я буду шуметь,— сказал Ринальди.

— Выпейте вина, Энрико,— сказал майор. Он наполнил мой стакан. Принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы доедали спагетти, когда вошел священник. Он был все такой же, маленький и смуглый и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Он положил мне руку на плечо.

— Я пришел, как только узнал,— сказал он.

— Садитесь,— сказал майор.— Вы опоздали.

— Добрый вечер, священник,— сказал Ринальди.

— Добрый вечер, Ринальди,— сказал священник. Вестовой принес ему супу, но он сказал, что начнет со спагетти.

— Как ваше здоровье? — спросил он меня.

— Прекрасно,— сказал я.— Что у вас тут слышно?

— Выпейте вина, священник,— сказал Ринальди.— Вкусите вина ради пользы желудка. Это же из апостола Павла, вы знаете?

— Да, я знаю,— сказал священник вежливо. Ринальди наполнил его стакан.

— Уж этот апостол Павел! — сказал Ринальди.— Он-то и причина всему.

Священник взглянул на меня и улыбнулся. Я видел, что зубоскальство теперь не трогает его.

— Уж этот апостол Павел,— сказал Ринальди.— Сам был кобель и бабник, а как не стало силы, так объявил, что это грешно. Сам уже не мог ничего, так взялся поучать тех, кто еще в силе. Разве не так, Федерико?

Майор улыбнулся. Мы в это время ели жаркое.

— Я никогда не критикую святых после захода солнца,— сказал я. Священник поднял глаза от тарелки и улыбнулся мне.

— Ну вот, теперь и он за священника,— сказал Ринальди.— Где все добрые старые зубоскалы? Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезаре? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному, без всякой поддержки?

— Он хороший священник,— сказал майор.

— Он хороший священник,— сказал Ринальди.— Но все-таки священник. Я стараюсь, чтоб в столовой все было, как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник!

Я заметил, что майор смотрит на него и видит, что он пьян. Его худое лицо было совсем белое. Волосы казались очень черными над белым лбом.

— Ничего, Ринальди,— сказал священник.— Ничего.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — Он откинулся на спинку стула.

— Он много работал и переутомился,— сказал майор, обращаясь ко мне. Доев мясо, он корочкой подобрал с тарелки соус.

— Плевать я хотел на вас,— сказал Ринальди,— обращаясь к столу.— И вообще все и всех к черту! — Он вызывающе огляделся вокруг, глаза его были тусклы, лицо бледно.

— Ну, ладно,— сказал я.— Все и всех к черту!

— Нет, нет,— сказал Ринальди.— Так нельзя. Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите? Ни черта. Я знаю это, когда не работаю.

Священник покачал головой. Вестовой убрал жаркое.

— Почему вы едите мясо? — обернулся Ринальди к священнику.— Разве вы не знаете, что сегодня пятница?

— Сегодня четверг,— сказал священник.

— Враки. Сегодня пятница. Вы едите тело Спасителя. Это божье мясо. Я знаю. Это дохлая австриячина. Вот что вы едите.

— Белое мясо — офицерское,— сказал я, вспоминая старую шутку.

Ринальди засмеялся. Он наполнил свой стакан.

— Не слушайте меня,— сказал он.— Я немного спятил.

— Вам бы нужно поехать в отпуск,— сказал священник.

Майор укоризненно покачал головой. Ринальди посмотрел на священника.

— По-вашему, мне нужно ехать в отпуск?

Майор укоризненно качал головой, глядя на священника. Ринальди тоже смотрел на священника.

— Как хотите,— сказал священник.— Если вам не хочется, то не надо.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Они стараются от меня избавиться. Каждый вечер они стараются от меня избавиться. Я отбиваюсь, как могу. Что ж такого, если у меня *это*? *Это* у всех. *Это* у всего мира. Сначала,— он продолжал тоном лектора,— это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаем все надежды на ртуть.

— Или сальварсан,— спокойно прервал его майор.

— Ртутный препарат,— сказал Ринальди. Он говорил теперь очень приподнятым тоном.— Я знаю кое-что получше. Добрый, славный священник,— сказал он,— у вас никогда не будет *этого*. А у бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве.

Вестовой подал десерт и кофе. На сладкое было что-то вроде хлебного пудинга с густой подливкой. Лампа коптила; черная копоть оседала на стекле.

— Дайте сюда свечи и уберите лампу,— сказал майор.

Вестовой принес две зажженные свечи, прилепленные к блюдцам, и взял лампу, задув ее по дороге. Ринальди успокоился. Он как будто совсем пришел в себя. Мы все разговаривали, а после кофе вышли в вестибюль.

— Ну, мне нужно в город,— сказал Ринальди.— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи, Ринальди,— сказал священник.

— Еще увидимся, Фреди,— сказал Ринальди.

— Да,— сказал я.— Приходите пораньше.

Он состроил гримасу и вышел. Майор стоял рядом с нами.

— Он переутомлен и очень издерган,— сказал он.— К тому же он решил, что у него сифилис. Не думаю, но возможно. Он лечится от сифилиса. Покойной ночи, Энрико. Вы на рассвете выедете?

— Да.

— Ну так до свидания,— сказал он.— Счастливый путь! Педуцци разбудит вас и поедет вместе с вами.

— До свидания.

— До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джино вам все расскажет, телефонная связь теперь налажена.

— Я буду часто звонить.

— Непременно. Покойной ночи. Не давайте Ринальди так много пить.

— Постараюсь.

— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи.

Он ушел в свой кабинет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я подошел к двери и выглянул на улицу. Дождь перестал, но был сильный туман.

— Может быть, посидим у меня в комнате? — предложил я священнику.

— Только я очень скоро должен идти.

— Все равно, пойдемте.

Мы поднялись по лестнице и вошли в мою комнату. Я прилег на постель Ринальди. Священник сел на койку, которую вестовой приготовил для меня. В комнате было темно.

— Как же вы себя все-таки чувствуете? — спросил он.

— Хорошо. Просто устал сегодня.

— Вот и я устал, хотя, казалось бы, не от чего.

— Как дела на войне?

— Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство.

— Откуда оно у вас?

— Вы заметили, как изменился наш майор? Словно притих. Многие теперь так.

— Я и сам так,— сказал я.

— Лето было ужасное,— сказал священник. В нем появилась уверенность, которой я за ним не знал раньше.— Вы себе

не представляете, что это было. Только тот, кто побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли.

— Что же должно произойти? — Я поглаживал одеяло ладонью.

— Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может.

— Что же произойдет?

— Перестанут воевать.

— Кто?

— И те и другие.

— Будем надеяться,— сказал я.

— Вы в это не верите?

— Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те и другие.

— Да, конечно. Это было бы слишком хорошо. Но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может.

— Кто выиграл летнюю кампанию?

— Никто.

— Австрийцы выиграли,— сказал я.— Они не отдали итальянцам Сан-Габриеле. Они выиграли. Они не перестанут воевать.

— Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это.

— Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать.

— Вы меня обескураживаете.

— Я только говорю, что думаю.

— Значит, вы думаете, так оно и будет продолжаться? Ничего не произойдет?

— Не знаю. Но думаю, что австрийцы не перестанут воевать, раз они одержали победу. Христианами нас делает поражение.

— Но ведь австрийцы и так христиане — за исключением босняков.

— Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском духе.

Он промолчал.

— Мы все притихли, потому что потерпели поражение. Кто знает, каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.

— Все таким же.

— Не уверен,— сказал я.

— Вы меня обескураживаете,— повторил он.— Я верю, что должно что-то произойти, и молюсь об этом. Я чувствую, как оно надвигается.

— Может, что-нибудь и произойдет,— сказал я.— Но только с нами. Если б у них были такие же настроения, как у нас, тогда другое дело. Но они побили нас. У них настроения другие.

— У многих из солдат всегда были такие настроения. Это вовсе не потому, что они теперь побиты.

— Они были побиты с самого начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр — потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власть, и вы увидите, что он по-настоящему мудр.

Он ничего не ответил. Он думал.

— И у меня тоже тяжело на душе,— сказал я.— Потому-то я стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову.

— А я ведь надеялся на что-то.

— На поражение?

— Нет. На что-то большее.

— Ничего большего нет. Разве только победа. Но это, может быть, еще хуже.

— Долгое время я надеялся на победу.

— Я тоже.

— А теперь — сам не знаю.

— Что-нибудь должно быть: или победа, или поражение.

— В победу я больше не верю.

— И я не верю. Но я не верю и в поражение. Хотя, пожалуй, это было бы лучше.

— Во что же вы верите?

— В сон,— сказал я. Он встал.

— Простите, что я отнял у вас столько времени. Но я так люблю с вами беседовать.

— Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна, в шутку.

Я встал, и мы за руку попрощались в темноте.

— Я теперь ночую в триста седьмом,— сказал он.

— Завтра с утра я уезжаю на пост.

— Мы увидимся, когда вы вернетесь.

— Тогда погуляем и поговорим.— Я проводил его до двери.

— Не спускайтесь,— сказал он.— Как приятно, что вы снова здесь. Хотя для вас это не так приятно.— Он положил мне руку на плечо.

— Для меня это неплохо,— сказал я.— Покойной ночи.

— Покойной ночи, ciao!

— Ciao! — сказал я. Мне до смерти хотелось спать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я проснулся, когда пришел Ринальди, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты.

Я никогда раньше не видел Баинзиццы, и было странно проезжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подни-

маться по склону, весной еще занятому австрийцами. Там была проложена новая, крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована циновками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии. Дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо, и повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джино, и он угостил нас кофе, и потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. Джино сказал, что английские машины работают дальше, у Равне. Он очень восхищался англичанами. Еще время от времени стреляют, сказал он, но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. Говорят, австрийцы собираются наступать, но он этому не верит. Говорят, мы тоже собираемся наступать, но никаких подкреплений не прибыло, так что и это маловероятно. С продовольствием плохо, и он будет очень рад подкормиться в Гориции. Что мне вчера дали на обед? Я ему рассказал, и он нашел, что это великолепно. Особенное впечатление на него произвело dolce[1]. Я не описывал в подробностях, просто сказал, что было dolce, и, вероятно, он вообразил себе что-нибудь более изысканное, чем хлебный пудинг.

Знаю ли я, куда ему придется ехать? Я сказал, что не знаю, но что часть машин находится в Капоретто. Туда бы он охотно поехал. Это очень славный городок, и ему нравятся высокие горы, которые его окружают. Он был славный малый, и все его любили. Он сказал, что где действительно был ад,— это на Сан-Габриеле и во время атаки за Ломом, которая плохо кончилась. Он сказал, что в лесах по всему хребту Тернова, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии и по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батарея морских орудий, которые действуют ему на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим, и при разрыве летят огромные осколки. Он показал мне такой осколок, иззубренный кусок металла с фут длиной. Металл был похож на баббит.

— Не думаю, чтоб они давали хорошие результаты,— сказал Джино.— Но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар, потом сейчас же свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха?

Он сказал, что напротив нас стоят теперь полки кроатов и мадьяр. Наши войска все еще в наступательном порядке. Если австрийцы перейдут в наступление, отступать некуда. В невысоких горах сейчас же за плато есть прекрасные места для оборо-

---

[1] Сладкое *(итал.)*.

нительных позиций, но ничего не предпринято, чтоб подготовить их. Кстати, какое впечатление на меня произвела Баинзицца?

Я думал, что здесь более плоско, более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана.

— Alt piano [1],— сказал Джино,— но не piano [2].

Мы спустились в погреб дома, где он жил. Я сказал, что, по-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. Атака в горах не более трудное дело, чем на ровном месте, настаивал я.

— Смотря какие горы,— сказал он.— Возьмите Сан-Габриеле.

— Да,— сказал я.— Но туго пришлось на вершине, где плоско. До вершины добрались сравнительно легко.

— Не так уже легко,— сказал он.

— Пожалуй,— сказал я.— Но все-таки это особый случай, потому что тут была скорее крепость, чем гора. Австрийцы укрепляли ее много лет.

Я хотел сказать, что тактически при военных операциях, связанных с передвижением, удерживать в качестве линии фронта горную цепь не имеет смысла, потому что горы слишком легко обойти. Здесь нужна максимальная маневренность, а в горах маневрировать трудно. И потом, при стрельбе сверху вниз всегда бывают перелеты. В случае отхода флангов лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Мне горная война не внушает доверия. Я много думал об этом, сказал я. Мы засядем на одной горе, они засядут на другой, а как начнется что-нибудь настоящее, и тем и другим придется слезать вниз.

— А что же делать, если граница проходит в горах? — спросил он.

Я сказал, что это у меня еще не продумано, и мы оба засмеялись. Но, сказал я, в прежнее время австрийцев всегда били в четырехугольнике веронских крепостей. Им давали спуститься на равнину, и там их били.

— Да,— сказал Джино.— Но то были французы, а стратегические проблемы всегда легко разрешать, когда ведешь бой на чужой территории.

— Да,— согласился я.— У себя на родине невозможно подходить к этому чисто научно.

— Русские сделали это, чтобы заманить в ловушку Наполеона.

— Да, но ведь у русских столько земли. Попробуйте в Италии отступать, чтобы заманить Наполеона, и вы мигом очутитесь в Бриндизи.

— Отвратительный город,—сказал Джино.— Вы когда-нибудь там бывали?

— Только проездом.

---

[1] Плоскогорье *(итал.)*.
[2] Равнина *(итал.)*.

— Я патриот,— сказал Джино.— Но не могу я любить Бриндизи или Таранто.

— А Баинзицу вы любите? — спросил я.

— Это священная земля,— сказал он.— Но я хотел бы, чтобы она родила больше картофеля. Вы знаете, когда мы попали сюда, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами.

— Что, здесь действительно так плохо с продовольствием? — спросил я.

— Я лично ни разу не наелся досыта, но у меня основательный аппетит, а голодать все-таки не приходилось. Офицерские обеды неважные. На передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно.

— Спекулянты распродают его на сторону.

— Да, батальонам на передовых позициях дают все, что можно, а тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Нужно бы кормить получше. У нас у всех основательный аппетит. Я уверен, что продовольствия достаточно. Очень скверно, когда солдатам не хватает продовольствия. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей?

— Да,— сказал я.— Это не принесет победы, но может принести поражение.

— Не будем говорить о поражении. Довольно и так разговоров о поражении. Не может быть, чтобы все, что совершилось этим летом, совершилось понапрасну.

Я промолчал. Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джино был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм. Он с ним родился. Вместе с Педуцци он сел в машину, чтобы ехать в Горицию.

Весь день была буря. Ветер подгонял потоки, и всюду были лужи и грязь. Штукатурка на развалинах стен была серая и мокрая. Перед вечером дождь перестал, и с поста номер два я увидел мокрую голую осеннюю землю, тучи над вершинами холмов и

мокрые соломенные циновки на дороге, с которых стекала вода. Солнце выглянуло один раз, перед тем как зайти, и осветило голый лес за кряжем горы. В лесу на этом кряже было много австрийских орудий, но стреляли не все. Я смотрел, как клубы шрапнельного дыма возникали вдруг в небе над разрушенной фермой, близ которой проходил фронт; пушистые клубы с желто-белой вспышкой в середине. Видна была вспышка, потом слышался треск, потом шар дыма вытягивался и редел на ветру. Много шрапнельных пуль валялось среди развалин и на дороге у разрушенного дома, где находился пост, но пост в этот вечер не обстреливали. Мы нагрузили две машины и поехали по дороге, замаскированной мокрыми циновками, сквозь щели которых проникали последние солнечные лучи. Когда мы выехали на открытую дорогу, солнце уже село. Мы поехали по открытой дороге, и когда, миновав поворот, мы снова въехали под квадратные своды соломенного туннеля, опять пошел дождь.

Ночью ветер усилился, и в три часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел, и кроаты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции. Они дрались в темноте под дождем, и контратакой осмелевших от страха солдат из окопов второй линии были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гул канонады далеко на севере.

На пост прибывали раненые: одних несли на носилках, другие шли сами, третьих тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжелоранеными, которые лежали в погребе дома, где был пост, и, когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густо и тяжело валил вместе с дождем.

Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. На рассвете нас атаковали еще раз, но без успеха. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо, пока не село солнце. Обстрел начался на юге, со стороны длинного, поросшего лесом горного кряжа, где была сосредоточена австрийская артиллерия. Мы тоже ждали обстрела, но его не было. Становилось темно. Наши орудия стояли в поле за деревней, и свист их снарядов звучал успокоительно.

Мы узнали, что атака на юге прошла без успеха. В ту ночь атака не возобновлялась, но мы узнали, что на севере фронт прорван. Ночью нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Мне сказал об этом капитан. Он получил сведения из штаба бригады. Немного спустя он вернулся от телефона и сказал, что все неправда. Штабу дан приказ во что бы то ни стало удержать позиции на Баинзицце. Я спросил о прорыве, и он сказал, что в

штабе говорят, будто австрийцы прорвали фронт двадцать седьмого армейского корпуса в направлении Капоретто. На севере весь вчерашний день шли ожесточенные бои.

— Если эти сукины дети их пропустят, нам крышка,— сказал он.

— Это немцы атакуют,— сказал один из врачей. Слово «немцы» внушало страх. Мы никак не хотели иметь дело с немцами.

— Там пятнадцать немецких дивизий,— сказал врач.— Они прорвались, и мы будем отрезаны.

— В штабе бригады говорят, что мы должны удержать эти позиции. Говорят, прорыв не серьезный, и мы будем теперь держать линию фронта от Монте-Маджоре через горы.

— Откуда у них эти сведения?

— Из штаба дивизии.

— О том, что нужно готовиться к отступлению, тоже сообщили из штаба дивизии.

— Наше начальство — штаб армии,— сказал я.— Но здесь мое начальство — вы. Если вы велите мне ехать, я поеду. Но выясните точно, каков приказ.

— Приказ таков, что мы должны оставаться здесь. Ваше дело перевозить раненых на распределительный пункт.

— Нам иногда приходится перевозить и с распределительного пункта в полевые госпитали,— сказал я.— А скажите,— я никогда не видел отступления: если начинается отступление, каким образом эвакуируют всех раненых?

— Всех не эвакуируют. Забирают, сколько возможно, а прочих оставляют.

— Что я повезу на своих машинах?

— Госпитальное оборудование.

— Понятно,— сказал я.

На следующую ночь началось отступление. Стало известно, что немцы и австрийцы прорвали фронт на севере и идут горными ущельями на Чивидале и Удине. Отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью, медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска, ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. Было не больше беспорядка, чем при продвижении вперед.

В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых к Плаве, а назавтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт Плавы. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия Баинзиццы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицию. Дождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девиц было семь,

и все они были в шляпах и пальто с маленькими чемоданчиками в руках. Две из них плакали. Третья улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза.

Я остановил машину, вышел и заговорил с хозяйкой. Девицы из офицерского дома уехали рано утром, сказала она. Куда они направляются? В Конельяно, сказала она. Грузовик тронулся. Девица с толстыми губами снова показала нам язык. Хозяйка помахала рукой. Две девицы продолжали плакать. Другие с любопытством оглядывали город. Я снова сел в машину.

— Вот бы нам ехать вместе с ними,— сказал Бонелло.— Веселая была бы поездка.

— Поездка и так будет веселая,— сказал я.

— Поездка будет собачья.

— Я это и подразумевал,— сказал я. Мы выехали на аллею, которая вела к нашей вилле.

— Хотел бы я быть там, когда эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело.

— Вы думаете, они так сразу и примутся?

— Еще бы! Кто же во второй армии не знает этой хозяйки? Мы были уже перед виллой.

— Ее называют мать игуменья,— сказал Бонелло.— Девицы новые, но ее-то знает каждый. Их, должно быть, привезли только что перед отступлением.

— Теперь потрудятся.

— Вот и я говорю, что потрудятся. Хотел бы я позабавиться с ними на даровщинку. Все-таки дерут они там, в домах. Государство обжуливает нас.

— Отведите машину, пусть механик ее осмотрит,— сказал я.— Смените масло и проверьте дифференциал. Заправьтесь, а потом можете немного поспать.

— Слушаюсь.

Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, и следовать в Порденоне. Механики уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные две машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь.

— Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от Плавы,— сказал Пиани.— Что будем делать, tenente?

— Сменим масло, смажем, заправимся, подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили.

— И сразу в путь?

— Нет, часа три поспим.

— Черт, поспать — это хорошо,— сказал Бонелло.— А то бы я за рулем заснул.

— Как ваша машина, Аймо? — спросил я.

— В порядке.

— Дайте мне кожан, я помогу вам.

— Не нужно, tenente,— сказал Аймо.— Тут дела немного. Вы идите укладывать свои вещи.

— Мои вещи все уложены,— сказал я.— Я пойду вытащу весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь.

Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом.

— Разведите огонь в кухне и обсушитесь,— сказал я.

— Наплевать, буду мокрый,— сказал Пиани.— Я спать хочу.

— Я лягу на кровати майора,— сказал Бонелло.— Лягу там, где старикашке сны снились.

— Мне все равно, где ни спать,— сказал Пиани.

— Вот тут есть две кровати.— Я отворил дверь.

— Я никогда не был в этой комнате,— сказал Бонелло.

— Это была комната старой жабы,— сказал Пиани.

— Ложитесь тут оба,— сказал я.— Я разбужу вас.

— Если вы проспите, tenente, нас австрийцы разбудят,— сказал Бонелло.

— Не просплю,— сказал я.— Где Аймо?

— Пошел на кухню.

— Ложитесь спать,— сказал я.

— Я лягу,— сказал Пиани.— Я весь день спал сидя. У меня прямо лоб на глаза наезжает.

— Снимай сапоги,— сказал Бонелло.— Это жабина кровать.

— Плевать мне на жабу!

Пиани улегся на кровати, вытянув ноги в грязных сапогах, подложив руку под голову. Я пошел на кухню. Аймо развел в плите огонь и поставил котелок с водой.

— Надо приготовить немножко спагетти,— сказал он.— Захочется есть, когда проснемся.

— А вы спать не хотите, Бартоломео?

— Не очень. Как вода вскипит, я пойду. Огонь сам погаснет.

— Вы лучше поспите,— сказал я.— Поесть можно сыру и консервов.

— Так будет лучше,— сказал он.— Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать.

— В комнате майора есть постель.

— Вот вы там и ложитесь.

— Нет, я пойду в свою старую комнату. Хотите выпить, Бартоломео?

— Когда будем выезжать, tenente. Сейчас это мне ни к чему.

— Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо?

— У меня часов нет.

— В комнате майора есть стенные часы.

— Ладно.

Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигавшейся темноте я различил три машины, стоявшие одна за другой под деревьями. С деревьев стекала вода. Было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постель Ринальди и не стал бороться со сном.

Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Аймо приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных консервов. Мы уселись за стол и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. Пиани сидел за столом совсем сонный.

— Мне отступление больше нравится, чем наступление,— сказал Бонелло.— При отступлении мы пьем барбера.

— Это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду,— сказал Аймо.

— Завтра мы будем в Удине. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Проснись, Пиани! Мы будем пить шампанское завтра в Удине.

— Я не сплю,— сказал Пиани. Он положил себе на тарелку спагетти и мяса.— Томатного соуса не хватает, Барто.

— Нигде не нашел,— сказал Аймо.

— Мы будем пить шампанское в Удине,— сказал Бонелло. Он наполнил свой стакан прозрачным красным барбера.

— Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удине,— сказал Пиани.

— Вы сыты, tenente? — спросил Аймо.

— Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео.

— У меня еще есть по бутылке на брата, чтоб с собой взять,— сказал Аймо.

— Вы совсем не спали?

— Я не люблю долго спать. Я поспал немного.

— Завтра мы будем спать в королевской постели,— сказал Бонелло. Он был отлично настроен.

— Завтра, может статься, мы будем спать в дерьме,— сказал Пиани.

— Я буду спать с королевой,— сказал Бонелло. Он оглянулся, чтоб посмотреть, как я отнесся к его шутке.

— Ты будешь спать с дерьмом,— сказал Пиани сонным голосом.

— Это государственная измена, tenente,— сказал Бонелло.— Правда, это государственная измена?

— Замолчите,— сказал я.— Слишком вы разгулялись от капли вина.

Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы. Было половина десятого.

— Пора двигать,— сказал я и встал.

— Вы с кем поедете, tenente?— спросил Бонелло.

— С Аймо. Потом вы. Потом Пиани. Поедем по дороге па Кормонс.

— Боюсь, как бы я не заснул,— сказал Пиани.

— Хорошо. Я поеду с вами. Потом Бонелло. Потом Аймо.

— Это лучше всего,— сказал Пиани.— А то я совсем сплю.

— Я поведу машину, а вы немного поспите.

— Нет. Я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну.

— Я вас разбужу. Погасите свет, Барто.

— А пускай его горит,— сказал Бонелло.— Нам здесь больше не жить.

— У меня там сундучок в комнате,— сказал я.— Вы мне поможете его снести, Пиани?

— Мы сейчас возьмем,— сказал Пиани.— Пошли, Альдо.

Он вышел вместе с Бонелло. Я слышал, как они поднимались по лестнице.

— Хороший это город,— сказал Бартоломео Аймо. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и полкруга сыру.— Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, tenente?

— За Тальяменто, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне.

— Тут лучше, чем в Порденоне.

— Я в Порденоне не был,— сказал я.— Я только проезжал мимо.

— Городок не из важных,— сказал Аймо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Когда мы выезжали из Горицип, город в темноте под дождем был пустой, только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок, все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миновав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми, и орудия шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт нагруженного с верхом грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Потом она вновь тронулась, мы проехали еще немного и снова остановились. Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по дощатым мосткам и пошел по полю, начинавшемуся сразу же за канавой. Удаляясь от дороги, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Колонна стояла на месте, хотя за неподвижным транспортом мне видно было, что войска идут. Я вернулся к машинам. Могло случиться, что затор образовался под самым Удине. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет пере-

дачи на грузовике впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали, то подвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь все еще шел.

Ночью колонна снова стала и не двигалась с места. Я вылез и пошел назад, проведать Бонелло и Аймо. В машине Бонелло с ним рядом сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли.

— Их оставили чинить какой-то мост,— сказал Бонелло.— Они не могут найти свою часть, так я согласился их подвезти.

— Если господин лейтенант разрешит.

— Разрешаю,— сказал я.

— Наш лейтенант американец,— сказал Бонелло.— Он кого хочешь подвезет.

Один из сержантов улыбнулся. Другой спросил у Бонелло, из североамериканских я итальянцев или из южноамериканских.

— Он не итальянец. Он англичанин. Он англичанин из Северной Америки.

Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Аймо. Рядом с ним в машине сидели две девушки, и он курил, откинувшись в угол.

— Барто, Барто! — сказал я. Он засмеялся.

— Поговорите с ними, tenente,— сказал он.— Я их не понимаю. Эй! — Он положил руку на бедро одной из девушек и дружески сжал его. Девушка плотнее закуталась в шаль и оттолкнула его руку.— Эй! — сказал он.— Скажите tenente, как вас зовут и что вы тут делаете.

Девушка свирепо поглядела на меня. Вторая девушка сидела потупившись. Та, которая смотрела на меня, сказала что-то на диалекте, но я ни слова не понял. Она была смуглая, лет шестнадцати на вид.

— Sorella? [1] — спросил я, указывая на вторую девушку.

Она кивнула головой и улыбнулась.

— Так,— сказал я и потрепал ее по колену. Я почувствовал, как она съежилась, когда я прикоснулся к ней. Сестра по-прежнему не поднимала глаз. Ей можно было дать годом меньше. Снова Аймо положил руку старшей на бедро, и она оттолкнула ее. Он засмеялся.

— Хороший человек.— Он указал на самого себя.— Хороший человек.— Он указал на меня.— Не надо бояться.

Девушка смотрела на него свирепо. Они были похожи на двух диких птиц.

— Зачем же она со мной поехала, если я ей не нравлюсь? — спросил Аймо.— Я их только поманил, а они сейчас же влезли в машину.— Он обернулся к девушке.— Не бойся,— сказал он.— Никто тебя не...— Он употребил грубое слово.— Тут негде...— Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее

[1] Сестра? *(итал.)*

закуталась в свою шаль.— Машина полна,— сказал Аймо.— Никто тебя не... Тут негде...

Каждый раз, когда он произносил это слово, девушка съеживалась. Потом, вся съежившись и по-прежнему глядя на него, она заплакала. Я увидел, как у нее затряслись губы и слезы покатились по ее круглым щекам. Сестра, не поднимая глаз, взяла ее за руку, и так они сидели рядом. Старшая, такая свирепая раньше, теперь громко всхлипывала.

— Испугалась, видно,— сказал Аймо.— Я вовсе не хотел пугать ее.

Он вытащил свой мешок и отрезал два куска сыру.

— Вот тебе,— сказал он.— Не плачь.

Старшая девушка покачала головой и продолжала плакать, но младшая взяла сыр и стала есть. Немного погодя младшая дала сестре второй кусок сыру, и они обе ели молча. Старшая все еще изредка всхлипывала.

— Ничего, скоро успокоится,— сказал Аймо.

Ему пришла в голову мысль.

— Девушка? — спросил он ту, которая сидела с ним рядом. Она усердно закивала головой.— Тоже девушка? — Он указал на сестру. Обе закивали, и старшая сказала что-то на диалекте.

— Ну, ну, ладно,— сказал Бартоломео.— Ладно.

Обе как будто приободрились.

Я оставил их в машине с Аймо, который сидел, откинувшись в угол, а сам вернулся к Пиани. Колонна транспорта стояла неподвижно, но мимо нее все время шли войска. Дождь все еще лил, и я подумал, что остановки в движении колонны иногда происходят из-за того, что у машин намокает проводка. Скорее, впрочем, от того, что лошади или люди засыпают на ходу. Но ведь случаются заторы и в городах, когда никто не засыпает на ходу. Все дело в том, что тут и автотранспорт и гужевой вместе. От такой комбинации толку мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Славные эти девушки у Барто. Невинным девушкам не место в отступающей армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверно. Не будь войны, мы бы, наверно, все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели, у нее две простыни, одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит. Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне. Вей, западный ветер, вей. Вот он и повеял, и не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Смотри, как он льет. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. Когда бы милая моя Кэтрин. Когда бы милая моя с попутной тучей принеслась. Принеси ко мне мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались, и дождику не потушить огня.

— Спокойной ночи, Кэтрин,— сказал я громко.— Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок,— сказал я.— Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе

будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая.

Я все время спала, сказала она. Ты разговаривал во сне. Ты нездоров?

Ты правда здесь?

Ну конечно, я здесь. И никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения.

Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь ночью?

Ну конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня ни позвал.

— Ах ты ......! — сказал Пиани.— Поехали!

— Я задремал,— сказал я. Я посмотрел на часы. Было три часа утра. Я перегнулся через сиденье, чтобы достать бутылку барбера.

— Вы разговаривали во сне,— сказал Пиани.

— Мне снился сон по-английски,— сказал я.

Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, и я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед, шоссе, забитое неподвижным транспортом, сквозь который просеивалась только пехота. Мы тронулись снова, но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы подвигаемся, и я понял, что если мы хотим когда-нибудь добраться до Удине, нам придется свернуть с шоссе и ехать прямиком.

За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом; зеркала торчали между матрацами, к задкам были привязаны куры и утки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценного. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя, другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки, они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью, в канавах доверху стояла вода, и земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать прямиком. Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я все их видел не раз, когда мы проезжали в машине по шоссе, но ни одной не запомнил, потому что машина шла быстро, и все они были похожи одна на другую. Я только знал, что от правильного выбора дороги будет зависеть, доберемся ли мы до места. Неизвестно было, где теперь австрийцы и как обстоят дела, но я был уверен, что, если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, все пропало. Пусть хоть несколько машин останется без водителей или несколько лошадей падет,— и движение на дороге окончательно застопорится.

Дождь теперь лил не так сильно, и я подумал, что скоро может проясниться. Я прошел еще немного вперед, и, дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, меж двух полей уходившей на север, решил, что по ней мы и поедем, и поспешил назад, к машинам. Я сказал Пиани, где свернуть, и пошел предупредить Аймо и Бонелло.

— Если она нас никуда не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне,— сказал я.

— А что же мне с этими делать? — спросил Бонелло. Его сержанты по-прежнему сидели рядом с ним. Они были небриты, но выглядели по-военному даже в этот ранний утренний час.

— Пригодятся, если нужно будет подталкивать машину,— сказал я. Я подошел к Аймо и сказал, что мы попытаемся проехать прямиком.

— А мне что делать с моим девичьим выводком? — спросил Аймо. Обе девушки спали.

— От них мало пользы,— сказал я.— Лучше бы вам взять кого-нибудь на подмогу, чтобы толкать машину.

— Они могут пересесть в кузов,— сказал Аймо.— В кузове есть место.

— Ну пожалуйста, если вам так хочется,— сказал я.— Но возьмите кого-нибудь с широкими плечами на подмогу.

— Берсальера,— улыбнулся Аймо.— Самые широкие плечи у берсальеров. Им измеряют плечи. Как вы себя чувствуете, tenente?

— Прекрасно. А вы?

— Прекрасно. Только очень есть хочется.

— Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой, тогда остановимся и поедим.

— Как ваша нога, tenente?

— Прекрасно,— сказал я.

Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина Пиани отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Бонелло повернул вслед за ним, а потом и Аймо сделал то же, и мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Мы застали машины Пиани и Бонелло уже во дворе фермы. Дом был низкий и длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Во дворе был колодец, и Пиани уже доставал воду, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Я оглянулся на дорогу. Ферма стояла на пригорке, и оттуда видно было далеко кругом, и мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд деревьев вдоль шоссе, по которому шло отступление. Сержанты шарили в доме. Девушки проснулись и разглядывали дом, колодец, два больших санитарных автомобиля перед домом и трех шоферов у колодца. Один из сержантов вышел из дома со стенными часами в руках.

— Отнесите на место,— сказал я. Он посмотрел на меня, вошел в дом и вернулся без часов.

— Где ваш товарищ? — спросил я.

— Пошел в отхожее место.— Он взобрался на сиденье машины. Он боялся, что мы не возьмем его с собой.

— Как быть с завтраком, tenente? — спросил Бонелло.— Может, поедим чего-нибудь? Это не займет много времени.

— Как вы думаете, дорога, которая идет в ту сторону, приведет нас куда-нибудь?

— Понятно, приведет.

— Хорошо. Давайте поедим.

Пиани и Бонелло вошли в дом.

— Идем,— сказал Аймо девушкам. Он протянул руку, чтоб помочь им вылезть. Старшая из сестер покачала головой. Они не станут входить в пустой брошенный дом. Они смотрели нам вслед.

— Упрямые,— сказал Аймо.

Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно и чувствовалась покинутость. Бонелло и Пиани были на кухне.

— Есть тут особенно нечего,— сказал Пиани.— Все подобрали дочиста.

Бонелло резал большой белый сыр на кухонном столе.

— Откуда сыр?

— Из погреба. Пиани нашел еще вино и яблоки.

— Что ж, вот и завтрак.

Пиани вытащил деревянную затычку из большой, оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик.

— Пахнет недурно,— сказал он.— Поищи какой-нибудь посуды, Барто.

Вошли оба сержанта.

— Берите сыру, сержанты,— сказал Бонелло.

— Пора бы ехать,— сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином.

— Поедем. Не беспокойтесь,— сказал Бонелло.

— Брюхо армии — ее ноги,— сказал я.

— Что? — спросил сержант.

— Поесть нужно.

— Да. Но время дорого.

— Наверно, сучьи дети, уже наелись,— сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него. Они нас всех ненавидели.

— Вы знаете дорогу? — спросил меня один из них.

— Нет,— сказал я. Они посмотрели друг на друга.

— Лучше всего, если мы тронемся сейчас же,— сказал первый.

— Мы сейчас и тронемся,— сказал я.

Я выпил еще чашку красного вина. Оно казалось очень вкусным после сыра и яблок.

— Захватите сыр,— сказал я и вышел. Бонелло вышел вслед за мной с большой бутылью вина.

— Это слишком громоздко,— сказал я. Он посмотрел на вино с сожалением.

— Пожалуй, что так,— сказал он.— Дайте-ка мне фляги.

Он наполнил фляги, и немного вина пролилось на каменный пол. Потом он поднял бутыль и поставил ее у самой двери.

— Австрийцам не нужно будет выламывать дверь, чтобы найти вино,— сказал он.

— Надо двигать,— сказал я.— Мы с Пиани отправляемся вперед.

Оба сержанта уже сидели рядом с Бонелло. Девушки ели яблоки и сыр. Аймо курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесен красивыми железными перилами. Впереди была дорога, узкая и грязная, и по сторонам ее шла высокая изгородь. Сзади, один за другим, следовали наши автомобили.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В полдень мы увязли на топкой дороге, по нашим расчетам, километрах в десяти от Удине. Дождь перестал еще утром, и уже три раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево, и слышали грохот бомбежки на главном шоссе. Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно, возвращаясь назад и находя другие дороги, приближались к Удине. Но вот машина Аймо, давая задний ход, чтоб выбраться из тупика, застряла в рыхлой земле у обочины, и колеса, буксуя, зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю дифференциалом. Теперь нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи, и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Мы все стояли на дороге вокруг машины. Оба сержанта подошли к машине и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел за ними.

— Эй, вы! — сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один.

— Ну, живо,— сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один. Другой не говорил ничего. Они торопились уйти. Они не смотрели на меня.

— Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев,— сказал я. Первый сержант обернулся.

— Нам нужно идти. Через час вы будете отрезаны. Вы не имеете права приказывать нам. Вы нам не начальство.

— Я вам приказываю наломать прутьев,— сказал я. Они повернулись и пошли по дороге.

— Стой! — сказал я. Они продолжали идти по топкой дороге с изгородью по сторонам.— Стой, говорю! — крикнул я. Они прибавили шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился

в того, который больше разговаривал, и спустил курок. Я промахнулся, и они оба бросились бежать. Я выстрелил еще три раза, и один упал. Другой пролез сквозь изгородь и скрылся из виду. Я выстрелил в него сквозь изгородь, когда он побежал по полю. Пистолет дал осечку, и я вставил новую обойму. Я видел, что второй сержант уже так далеко, что стрелять в него бессмысленно. Он был на другом конце поля и бежал, низко пригнув голову. Я стал заряжать пустую обойму. Подошел Бонелло.

— Дайте я его прикончу,— сказал он. Я передал ему пистолет, и он пошел туда, где поперек дороги лежал ничком сержант инженерной части. Бонелло наклонился, приставил дуло к его голове и нажал спуск. Выстрела не было.

— Надо оттянуть затвор,— сказал я. От оттянул затвор и выстрелил дважды. Он взял сержанта за ноги и оттащил его на край дороги, так что он лежал теперь у самой изгороди. Он вернулся и отдал мне пистолет.

— Сволочь! — сказал он. Он смотрел на сержанта.— Вы видели, как я его застрелил, tenente?

— Нужно скорей наломать прутьев,— сказал я.— А что, в другого я так и не попал?

— Вероятно, нет,— сказал Аймо.— Так далеко из пистолета не попасть.

— Скотина! — сказал Пиани. Мы ломали прутья и ветки. Из машины все выгрузили. Бонелло копал перед колесами. Когда все было готово, Аймо завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места.

— Раскачайте ее, Барто,— сказал я.

Он дал задний ход, потом снова передний. Колеса только глубже зарывались. Потом машина опять уперлась дифференциалом, и колеса свободно вертелись в вырытых ими ямах. Я выпрямился.

— Попробуем веревкой,— сказал я.

— Я думаю, ничего не выйдет, tenente. Здесь не встать на одной линии.

— Нужно попробовать,— сказал я.— Иначе ее не вытащишь.

Машины Пиани и Бонелло могли встать на одной линии только по длине узкой дороги. Мы привязали одну машину к другой и стали тянуть. Колеса только вертелись на месте в колее.

— Ничего не получается,— закричал я.— Бросьте.

Пиани и Бонелло вышли из своих машин и вернулись к нам. Аймо вылез. Девушки сидели на камне, ярдах в двадцати от нас.

— Что вы скажете, tenente? — спросил Бонелло.

— Попробуем еще раз с прутьями,— сказал я.

Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за туч, и тело сержанта лежало у изгороди.

— Подстелим его френч и плащ,— сказал я. Бонелло пошел

за ними. Я ломал прутья, а Пиани и Аймо копали впереди и между колес. Я надрезал плащ, потом разорвал его надвое и разложил в грязи под колесами, потом навалил прутьев. Мы приготовились, и Аймо взобрался на сиденье и включил мотор. Колеса буксовали, мы толкали изо всех сил. Но все было напрасно.

— Ну его к...! — сказал я.— Есть тут у вас что-нибудь нужное, Барто?

Аймо влез в машину к Бонелло, захватив с собой сыр, две бутылки вина и плащ. Бонелло, сидя за рулем, осматривал карманы френча сержанта.

— Выбросьте-ка этот френч,— сказал я.— А что будет с выводком Барто?

— Пусть садятся в кузов,— сказал Пиани.— Вряд ли мы далеко уедем.

Я отворил заднюю дверцу машины.

— Ну,— сказал я.— Садитесь.

Обе девушки влезли внутрь и уселись в уголке. Они как будто и не слыхали выстрелов. Я оглянулся назад. Сержант лежал на дороге в грязной фуфайке с длинными рукавами. Я сел рядом с Пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать через поле. Когда машины свернули на поле, я слез и пошел вперед. Если б нам удалось проехать через поле, мы бы выехали на дорогу. Нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пошли к Удине пешком.

Когда мы вышли на дорогу, которая вела назад, к главному шоссе, я указал на нее девушкам.

— Идите туда,— сказал я.— Там люди.

Они смотрели на меня. Я вынул бумажник и дал каждой по десять лир.

— Идите туда,— сказал я, указывая пальцем.— Там друзья! Родные!

Они не поняли, но крепко зажали в руке деньги и пошли по дороге. Они оглядывались, словно боясь, что я отниму у них деньги. Я смотрел, как они шли по дороге, плотно закутавшись в шали, боязливо оглядываясь на нас. Все три шофера смеялись.

— Сколько вы дадите мне, если я пойду в ту сторону, tenente? — спросил Бонелло.

— Если уж они попадутся, так пусть лучше в толпе, чем одни,— сказал я.

— Дайте мне две сотни лир, и я пойду назад, прямо в Австрию,— сказал Бонелло.

— Там их у тебя отберут,— сказал Пиани.

— Может быть, война кончится,— сказал Аймо. Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревьев мне видны были наши машины, точно два больших мебельных фургона, торчавшие среди поля. Пиани тоже оглянулся.

— Придется построить дорогу, чтоб вытащить их оттуда,— сказал он.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.

— В Америке ездят на велосипедах? — спросил Аймо.

— Прежде ездили.

— Хорошая вещь,— сказал Аймо.— Прекрасная вещь велосипед.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.— Я плохой ходок.

— Что это, стреляют? — спросил я. Мне показалось, что я слышу выстрелы где-то вдалеке.

— Не знаю,— сказал Аймо. Он прислушался.

— Кажется, да,— сказал я.

— Раньше всего мы увидим кавалерию,— сказал Пиани.

— По-моему, у них нет кавалерии.

— Тем лучше, черт возьми,— сказал Бонелло.— Я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой.

— Ловко вы того сержанта прихлопнули, tenente,— сказал Пиани. Мы шли очень быстро.

— Я его застрелил,— сказал Бонелло.— Я за эту войну еще никого не застрелил, и я всю жизнь мечтал застрелить сержанта.

— Застрелил курицу на насесте,— сказал Пиани.— Не очень-то быстро он летел, когда ты в него стрелял.

— Все равно. Я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь, сержанта.

— А что ты скажешь на исповеди? — спросил Аймо.

— Скажу так: благословите меня, отец мой, я убил сержанта.

Все трое засмеялись.

— Он анархист,— сказал Пиани.— Он не ходит в церковь.

— Пиани тоже анархист,— сказал Бонелло.

— Вы действительно анархисты? — спросил я.

— Нет, tenente. Мы социалисты. Мы все из Имолы.

— Вы там никогда не бывали?

— Нет.

— Эх, черт! Славное это местечко, tenente. Приезжайте туда к нам после войны, там есть что посмотреть.

— И там все социалисты?

— Все до единого.

— Это хороший город?

— Еще бы. Вы такого и не видели.

— Как вы стали социалистами?

— Мы все социалисты. Там все до единого — социалисты. Мы всегда были социалистами.

— Приезжайте, tenente. Мы из вас тоже социалиста сделаем.

Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимо фруктового сада, обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, они перестали разговаривать. Мы шли четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Позднее мы вышли на дорогу, которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась по дороге до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине; каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла над ним. Мы пошли по берегу, выискивая место для переправы. Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. Тропинка была мокрая и грязная. Людей не было видно, только брошенное имущество и машины. На самом берегу не было никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и наконец увидели железнодорожный мост.

— Какой красивый мост! — сказал Аймо. Это был длинный железнодорожный мост через реку, которая обычно высыхала до дна.

— Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали,— сказал я.

— Некому взрывать,— сказал Пиани.— Все ушли.

— Он, вероятно, минирован,— сказал Бонелло.— Идите вы первый, tenente.

— Каков анархист, а? — сказал Аймо.— Пусть он сам идет первый.

— Я пойду,— сказал я.— Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека.

— Видишь,— сказал Пиани.— Вот что значит умный человек. Не то что ты, анархист.

— Был бы я умный, так не был бы здесь,— сказал Бонелло.

— А ведь неплохо сказано, tenente,— сказал Аймо.

— Неплохо,— сказал я. Мы были уже у самого моста. Небо опять заволокло тучами, и накрапывал дождь. Мост казался очень длинным и прочным. Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь.

— Давайте по одному,— сказал я и вступил на мост. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочных силков или признаков мины, но ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удине. Перейдя мост, я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, забрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера, человека, который сидел рядом с ним, и еще двоих на заднем сиденье. Все четверо были в немецких касках. Машина достигла берега и скрылась из виду за деревьями и транспортом, брошенным на дороге. Я оглянулся на Аймо, который в это время переходил, и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Я спустился вниз и присел под железнодорожной насыпью. Аймо спустился вслед за мной.

— Вы видели машину? — спросил я.
— Нет. Мы смотрели на вас.
— Немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту.
— Штабная машина?
— Да.
— Пресвятая дева!

Подошли остальные, и мы все присели в грязи под насыпью, глядя поверх нее на ряды деревьев, канаву и дорогу.

— Вы думаете, мы отрезаны, tenente?

— Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина поехала по этой дороге.

— Вы вполне здоровы, tenente? У вас не кружится голова?

— Не острите, Бонелло.

— А не выпить ли нам? — спросил Пиани.— Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпьем.— Он отцепил свою фляжку от пояса и отвинтил пробку.

— Смотрите! Смотрите! — сказал Аймо, указывая на дорогу. Над каменным парапетом моста двигались немецкие каски. Они были наклонены вперед и подвигались плавно, с почти сверхъестественной быстротой. Когда они достигли берега, мы увидели тех, на ком они были надеты. Это была велосипедная рота. Я хорошо разглядел двух передовых. У них были здоровые, обветренные лица. Их каски низко спускались на лоб и закрывали часть щек. Карабины были пристегнуты к раме велосипеда. Ручные гранаты ручкой вниз висели у них на поясе. Их каски и серые мундиры были мокры, и они ехали неторопливо, глядя вперед и по сторонам. Впереди ехало двое, потом четверо в ряд, потом двое, потом сразу десять или двенадцать, потом снова десять, потом один, отдельно. Они не разговаривали, но мы бы их и не услышали из-за шума реки. Они скрылись из виду на дороге.

— Пресвятая дева! — сказал Аймо.

— Это немцы,— сказал Пиани.— Это не австрийцы.

— Почему здесь некому остановить их? — сказал я.— Почему этот мост не взорван? Почему вдоль насыпи нет пулеметов?

— Это вы нам скажите, tenente,— сказал Бонелло.

Я был вне себя от злости.

— С ума все посходили. Там, внизу, взрывают маленький мостик. Здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что же, так их и не попытаются остановить?

— Это вы нам скажите, tenente,— повторил Бонелло.

Я замолчал. Меня это не касалось; мое дело было добраться до Порденоне с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь мое дело просто добраться до Порденоне. Но я, видно, не доберусь даже до Удине. Ну и черт с ним! Главное — это сохранить спокойствие и не угодить под пулю или в плен.

— Вы, кажется, открывали фляжку? — спросил я Пиани. Он протянул мне ее. Я отпил порядочный глоток.— Можно идти,— сказал я.— Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть?

— Тут не место останавливаться,— сказал Бонелло.

— Хорошо. Идем.

— Будем держаться здесь, под прикрытием?

— Лучше идти по верху. Они могут пройти и этим мостом. Гораздо хуже будет, если они очутятся у нас над головой, прежде чем мы их увидим.

Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны от нас тянулась мокрая равнина. Впереди за равниной был холм, и за ним Удине. Крыши расступались вокруг крепости на холме. Видна была колокольня и башенные часы. В полях было много тутовых деревьев. В одном месте впереди путь был разобран. Шпалы тоже вырыты и сброшены под насыпь.

— Вниз, вниз! — сказал Аймо.

Мы бросились вниз, под насыпь. Новый отряд велосипедистов проезжал по дороге. Я выглянул из-за края насыпи и увидел, что они проехали мимо.

— Они нас видели и не остановились,— сказал Аймо.

— Перебьют нас здесь, tenente,— сказал Бонелло.

— Мы им не нужны,— сказал я.— Они гонятся за кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно.

— Я бы охотнее шел здесь, под прикрытием,— сказал Бонелло.

— Идите. Мы пойдем по полотну.

— Вы думаете, нам удастся пройти? — спросил Аймо.

— Конечно. Их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет.

— Что эта штабная машина тут делала?

— Черт ее знает,— сказал я. Мы шли по полотну. Бонелло устал шагать по грязи и присоединился к нам. Линия отклонилась теперь к югу, в сторону от шоссе, и мы не видели, что делается на дороге. Мостик через канал оказался взорванным, но мы перебрались по остаткам свай. Впереди слышны были выстрелы.

За каналом мы опять вышли на линию. Она вела к городу прямиком, среди полей. Впереди виднелась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов; к югу ответвлялась неширокая дорога, густо обсаженная деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу и, обогнув таким образом город, идти проселком на Кампоформио и Тальяментское шоссе. Мы могли оставить главный путь отступления в стороне, выбирая боковые дороги. Мне помнилось, что через равнину ведет много проселочных дорог. Я стал спускаться с насыпи.

— Идем,— сказал я. Я решил выбраться на проселок и с южной стороны обогнуть город. Мы все спускались с насыпи. Навстречу нам с проселочной дороги грянул выстрел. Пуля врезалась в грязь насыпи.

— Назад! — крикнул я. Я побежал по откосу вверх, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я взобрался на насыпь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили, и Аймо, переходивший через рельсы, зашатал-

ся, споткнулся и упал ничком. Мы стащили его на другую сторону и перевернули на спину.— Нужно, чтобы голова была выше ног,— сказал я. Пиани передвинул его. Он лежал в грязи на откосе, ногами вниз, и дыхание вырывалось у него вместе с кровью. Мы трое на корточках сидели вокруг него под дождем. Пуля попала ему в затылок, прошла кверху и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, отер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его.

— Сволочи! — сказал он.

— Это не немцы,— сказал я.— Немцев здесь не может быть.

— Итальянцы,— сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство,— italiani.

Бонелло ничего не говорил. Он сидел возле Аймо, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Аймо, откатившееся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фляжку.

— Хочешь выпить? — Пиани протянул фляжку Бонелло.

— Нет,— сказал Бонелло. Он повернулся ко мне.— Это с каждым из нас могло случиться на полотне.

— Нет,— сказал я.— Это потому, что мы хотели пройти полем.

Бонелло покачал головой.

— Аймо убит,— сказал он.— Кто следующий, tenente? Куда мы теперь пойдем?

— Это итальянцы стреляли,— сказал я.— Это не немцы.

— Будь здесь немцы, они бы, наверное, нас всех перестреляли,— сказал Бонелло.

— Итальянцы для нас опаснее немцев,— сказал я.— Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят.

— Это вы правильно рассудили, tenente,— сказал Бонелло.

— Куда мы теперь пойдем? — спросил Пиани.

— Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо.

— Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного,— сказал Бонелло.— Я не хочу рисковать.

— Мы переждем где-нибудь поближе к Удине и потом в темноте пройдем.

— Тогда пошли,— сказал Бонелло.

Мы спустились по северному откосу насыпи. Я оглянулся. Аймо лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький, руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе, лицо накрыто кепи. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Аймо так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Впереди за полянами виднелась ферма. Вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях.

— Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга,— сказал я.— Я пойду вперед.

Я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка.

Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг дома или из самого дома. Я шел прямо к дому, ясно видя его перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, и между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посредине стояла большая пустая одноколка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел. Бонелло и Пиани вошли вслед за мной. Внутри было темно. Я прошел на кухню. В большом открытом очаге была зола. Над очагом висели горшки, но они были пусты. Я пошарил кругом, но ничего съестного не нашел.

— Здесь на сеновале можно переждать,— сказал я.— Пиани, может быть, вам удастся раздобыть чего-нибудь поесть, так несите туда.

— Пойду поищу,— сказал Пиани.

— И я пойду,— сказал Бонелло.

— Хорошо,— сказал я.— А я загляну на сеновал.

Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном. В крыше было два окна; одно заколочено досками, другое — узкое слуховое окошко на северной стороне. В углу был желоб, по которому сено сбрасывали вниз, в кормушку. Был люк, приходившийся над двором, куда во время уборки подъезжали возы с сеном, и над люком скрещивались балки. Я слышал стук дождя по крыше и чувствовал запах сена и, когда я спустился, опрятный запах сухого навоза в хлеву. Можно было оторвать одну доску и из окна на южной стороне смотреть во двор. Другое окно выходило на север, в поле. Если бы лестница оказалась отрезанной, можно было через любое окно выбраться на крышу и оттуда спуститься вниз или же съехать вниз по желобу. Сеновал был большой и, заслышав кого-нибудь, можно было спрятаться в сене. По-видимому, место было надежное. Я был уверен, что мы пробрались бы на юг, если бы в нас не стреляли. Не может быть, чтобы здесь были немцы. Они идут с севера и по дороге из Чивидале. Они не могли прорваться с юга. Итальянцы еще опаснее. Они напуганы и стреляют в первого встречного. Прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундирах. Я этому не верил. Такие разговоры всегда слышишь во время войны. И всегда это проделывает неприятель. Вы никогда не услышите о том, что кто-то надел немецкие мундиры, чтобы создавать сумятицу в германской армии. Может быть, это и бывает, но об этом не говорят. Я не верил, что немцы пускаются на такие штуки. Я считал, что им это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. Ее создают численность войск и недостаток

дорог. Тут и без немцев концов не найдешь. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Застрелили же Аймо. Сено приятно пахнет, и оттого, что лежишь на сеновале, исчезают все годы, которые прошли. Мы лежали на сеновале, и разговаривали, и стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на край треугольного отверстия под самым потолком сеновала. Сеновала уже нет, и был такой год, когда пихты все повырубили, и там, где был лес, теперь только пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь — тогда что? На севере, в стороне Удине, слышались выстрелы. Слышны были пулеметные очереди. Орудийной стрельбы не было. Это кое-что значило. Вероятно, стянули часть войск к дороге. Я посмотрел вниз и в полумраке двора увидел Пиани. Он держал под мышкой длинную колбасу, какую-то банку и две бутылки вина.

— Полезайте наверх,— сказал я.— Вон там лестница.

Потом я сообразил, что нужно помочь ему, и спустился. От лежания на сене у меня кружилась голова. Я был как в полусне.

— Где Бонелло? — спросил я.

— Сейчас скажу,— сказал Пиани. Мы поднялись по лестнице. Усевшись на сено, мы разложили припасы. Пиани достал ножик со штопором и стал откупоривать одну бутылку.

— Запечатано воском,— сказал он.— Должно быть, недурно.— Он улыбнулся.

— Где Бонелло? — спросил я.

Пиани посмотрел на меня.

— Он ушел, tenente,— сказал он.— Он решил сдаться в плен.

Я молчал.

— Он боялся, что его убьют.

Я держал бутылку с вином и молчал.

— Видите ли, tenente, мы вообще не сторонники войны.

— Почему вы не ушли вместе с ним? — спросил я.

— Я не хотел вас оставить.

— Куда он пошел?

— Не знаю, tenente. Просто ушел, и все.

— Хорошо,— сказал я.— Нарежьте колбасу.

Пиани посмотрел на меня в полумраке.

— Я уже нарезал ее, пока мы разговаривали,— сказал он. Мы сидели на сене и ели колбасу и пили вино. Это вино, должно быть, берегли к свадьбе. Оно было так старо, что потеряло цвет.

— Смотрите в это окно, Луиджи,— сказал я.— Я буду смотреть в то.

Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой, и забрался повыше, и лег плашмя на сено, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей и голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой

цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном; тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черная, оттого что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к Пиани. Он лежал и спал, и я не стал будить его и молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя я разбудил его, и мы тронулись в путь.

Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал,— смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали, лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон, потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше, на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца, потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, обгоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Бонелло сдаться в плен. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б не гибель Аймо, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, когда мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Бонелло.

— Как вы себя чувствуете, tenente? — спросил Пиани. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками.

— Прекрасно.

— Я устал шагать.

— Что ж, нам теперь только и дела, что шагать. Тревожиться не о чем.

— Бонелло свалял дурака.

— Конечно, он свалял дурака.

— Как вы с ним думаете быть, tenente?

— Не знаю.

— Вы не можете отметить его как взятого в плен?

— Не знаю.

— Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу.

— Война не будет продолжаться,— сказал какой-то солдат.— Мы идем домой. Война кончена.

— Все идут домой.

— Мы все идем домой.

— Прибавьте шагу, tenente,— сказал Пиани. Он хотел поскорей пройти мимо.

— Tenente? Кто тут tenente? A basso gli ufficiali! Долой офицеров!

Пиани взял меня под руку.

— Я лучше буду звать вас по имени,— сказал он.— А то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами.

Мы ускорили шаг и миновали эту группу.

— Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу,— сказал я, продолжая разговор.

— Если война кончилась, тогда все равно,— сказал Пиани.— Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась.

— Это мы скоро узнаем,— сказал я.

— Я не верю, что она кончилась. Тут все думают, что она кончилась, но я не верю.

— Viva la Pace! [1] — выкрикнул какой-то солдат.— Мы идем домой.

— Славно было бы, если б мы все пошли домой,— сказал Пиани.— Хотелось бы вам пойти домой?

— Да.

— Не будет этого. Я не верю, что война кончилась.

— Andiamo a casa! [2] — закричал солдат.

— Они бросают винтовки,— сказал Пиани.— Снимают их и кидают на ходу. А потом кричат.

— Напрасно они бросают винтовки.

— Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать.

В темноте под дождем, прокладывая себе путь вдоль края дороги, я видел, что многие солдаты сохранили свои винтовки. Они торчали за плечами.

— Какой бригады? — окликнул офицер.

— Brigata di Pace! — закричал кто-то.— Бригады мира.

Офицер промолчал.

— Что он говорит? Что говорит офицер?

— Долой офицера! Viva la Pace!

— Прибавьте шагу,— сказал Пиани.

Мы увидели два английских санитарных автомобиля, покинутых среди других машин на дороге.

— Из Горициии,— сказал Пиани.— Я знаю эти машины.

— Они опередили нас.

— Они раньше выехали.

— Странно. Где же шоферы?

— Где-нибудь впереди.

— Немцы остановились под Удине,— сказал я.— Мы все перейдем реку.

— Да,— сказал Пиани.— Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться.

— Немцы могли продвинуться дальше,— сказал я.— Странно, почему они не продвигаются дальше.

— Не понимаю. Я ничего не понимаю в этой войне.

— Вероятно, им пришлось дожидаться обоза.

---

[1] Да здравствует мир! *(итал.)*

[2] По домам! *(итал.)*

— Не понимаю,— сказал Пиани. Один, он стал гораздо деликатней. В компании других шоферов он был очень невоздержан на язык.

— Вы женаты, Луиджи?

— Вы ведь знаете, что я женат.

— Не потому ли вы не захотели сдаться в плен?

— Отчасти и потому. А вы женаты, tenente?

— Нет.

— Бонелло тоже нет.

— Нельзя все объяснять только тем, что человек женат или не женат. Но женатому, конечно, хочется вернуться к жене,— сказал я. Мне нравилось разговаривать о женах.

— Да.

— Как ваши ноги?

— Болят.

Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа.

— Должны бы закрепиться на этой реке,— сказал Пиани. В темноте казалось, что река вздулась очень высоко. Вода бурлила, и русло как будто расширилось. Деревянный мост был почти в три четверти мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменистому дну, поднялась теперь почти до самого деревянного настила. Мы прошли по берегу и потом смешались с толпой, переходившей мост. Медленно шагая под дождем, в нескольких футах от вздувшейся реки, стиснутый плотно в толпе, едва не натыкаясь на зарядный ящик впереди, я смотрел в сторону и следил за рекой. Теперь, когда пришлось равнять свой шаг по чужим, я почувствовал сильную усталость. Оживления не было при переходе через мост. Я подумал, что́ было бы, если бы днем сюда сбросил бомбу самолет.

— Пиани! — сказал я.

— Я здесь, tenente.— В толчее он немного ушел от меня вперед. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорей, думал только об этом. Мы уже почти перешли. В конце моста, по обе стороны, стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонне. Карабинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Мы почти поравнялись с офицерами. Они всматривались в каждого проходившего в колонне, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник. Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был низенький и толстый. Карабинеры потащили его в сторону от моста. Когда мы поравнялись с офицерами, я увидел, что они смотрят на меня. Потом один указал на меня и что-то сказал карабинеру. Я увидел, что карабинер направляется

в мою сторону, проталкиваясь ко мне сквозь крайние ряды колонны, потом я почувствовал, что он ухватил меня за ворот.

— В чем дело? — спросил я и ударил его по лицу. Я увидел его лицо под шляпой, подкрученные кверху усы и кровь, стекавшую по щеке. Еще один нырнул в толпу, пробираясь к нам.

— В чем дело? — спросил я. Он не отвечал. Он выбирал момент, готовясь схватить меня. Я сунул руку за спину, чтоб достать пистолет.— Ты что, не знаешь, что не смеешь трогать офицера?

Второй схватил меня сзади и дернул мою руку так, что чуть не вывихнул ее. Я обернулся к нему, и тут первый обхватил меня за шею. Я бил его ногами и левым коленом угодил ему в пах.

— В случае сопротивления стреляйте,— услышал я чей-то голос.

— Что это значит? — попытался я крикнуть, но мой голос прозвучал глухо. Они уже оттащили меня на край дороги.

— В случае сопротивления стреляйте,— сказал офицер.— Уведите его.

— Кто вы такие?

— После узнаете.

— Кто вы такие?

— Полевая жандармерия,— сказал другой офицер.

— Почему же вы не просили меня подойти, вместо того чтоб напускать на меня эти самолеты?

Они не ответили. Они не обязаны были отвечать. Они были — полевая жандармерия.

— Отведите его туда, где все остальные,— сказал первый офицер.— Слышите, он говорит по-итальянски с акцентом.

— С таким же, как и ты, сволочь,— сказал я.

— Отведите его туда, где остальные,— сказал первый офицер.

Меня повели мимо офицеров в сторону от дороги на открытое место у берега реки, где стояла кучка людей. Когда мы шли, в той стороне раздались выстрелы. Я видел ружейные вспышки и слышал залп. Мы подошли. Четверо офицеров стояли рядом, и перед ними, между двумя карабинерами, какой-то человек. Немного дальше группа людей под охраной карабинеров ожидала допроса. Еще четыре карабинера стояли возле допрашивавших офицеров, опершись на свои карабины. Эти карабинеры были в широкополых шляпах. Двое, которые меня привели, подтолкнули меня к группе, ожидавшей допроса. Я посмотрел на человека, которого допрашивали. Это был маленький толстый седой подполковник, взятый в колонне. Офицеры вели допрос со всей деловитостью, холодностью и самообладанием итальянцев, которые стреляют, не опасаясь ответных выстрелов.

— Какой бригады?

Он сказал.

— Какого полка?

Он сказал.

— Почему вы не со своим полком?

Он сказал.

— Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части?

Ему было известно.

Больше вопросов не было. Заговорил другой офицер.

— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте,— сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня,— сказал подполковник,— прошу вас, расстреливайте сразу, без дальнейшего допроса. Этот допрос нелеп.— Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу,— сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Это тоже был офицер, отбившийся от своей части. Ему не разрешили дать объяснения. Он плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали следующего, когда его расстреливали. Они все время спешили заняться допросом следующего, пока только что допрошенного расстреливали у реки. Таким образом, было совершенно ясно, что они тут уже ничего не могут поделать. Я не знал, ждать ли мне допроса или попытаться бежать немедленно. Совершенно ясно было, что я немец в итальянском мундире. Я представлял себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все были молодые люди, и они спасали родину. Вторая армия заново формировалась у Тальяменто. Они расстреливали офицеров в чине майора и выше, которые отбились от своих частей. Заодно они также расправлялись с немецкими агитаторами в итальянских мундирах. Они были в стальных касках. Несколько карабинеров были в таких же. Другие карабинеры были в широкополых шляпах. Самолеты — так их у нас называли. Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрастием и законоблюстительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает. Они допрашивали сейчас полковника линейного полка. Только что привели еще трех офицеров.

— Где ваш полк?

Я взглянул на карабинеров. Они смотрели на новых арестованных. Остальные смотрели на полковника. Я нырнул, проскочил между двумя конвойными и бросился бежать к реке, пригнув голову. У самого берега я споткнулся и с сильным плеском сорвался в воду. Вода была очень холодная, и я оставался под ней, сколько мог выдержать. Я чувствовал, как меня уносит течением, и я оставался под водой до тех пор, пока мне не показалось, что я уже не смогу всплыть. Я всплыл на поверхность, перевел дыхание и в ту же минуту снова ушел под воду. В полной форме и в башмаках нетрудно было оставаться под водой. Когда я всплыл во второй раз, я увидел впереди себя бревно, и догнал его, и ухватился за него одной рукой. Я спрятал за ним голову и даже не пытался выглянуть. Я не хотел видеть берег. Я слышал выстрелы, когда бежал и когда всплыл первый раз. Звук их доносился до меня, когда я плыл под самой поверхностью воды. Сейчас выстрелов не было. Бревно колыхалось на воде, и я держался за него одной рукой. Я посмотрел на берег. Казалось, он очень быстро уходил назад. По реке плыло много лесу. Вода была очень холодная. Мы миновали островок, поросший кустарником. Я ухватился за бревно обеими руками, и оно понесло меня по течению. Берега теперь не было видно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Никогда не знаешь, сколько времени плывешь по реке, если течение быстрое. Кажется, что долго, а на самом деле, может быть, очень мало. Вода была холодная и стояла очень высоко, и по ней проплывало много разных вещей, смытых с берега во время разлива. По счастью, мне попалось тяжелое бревно, которое могло служить опорой, и я вытянулся в ледяной воде, положив подбородок на край бревна и стараясь как можно легче держаться обеими руками. Я боялся судорог, и мне хотелось, чтобы нас отнесло к берегу. Мы плыли вниз по реке, описывая длинную кривую. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть прибрежные кусты. Впереди был поросший кустарником остров, и течение отклонялось к берегу. У меня была мысль снять башмаки и одежду и достигнуть берега вплавь, но я решил, что не нужно. Я все время не сомневался, что как-нибудь попаду на берег, и мне трудно придется, если я останусь босиком. Необходимо было как-нибудь добраться до Местре.

Берег приблизился, потом откачнулся назад, потом приблизился снова. Мы теперь плыли медленнее. Берег был уже совсем близко. Можно было разглядеть каждую веточку ивняка. Бревно медленно повернулось, так что берег оказался позади меня, и я понял, что мы попали в водоворот. Мы медленно кружились на месте. Когда берег снова стал виден, уже совсем близко, я попробовал, держась одной рукой, другой загребать к берегу, помогая

ногами, но мне не удалось подвести бревно ближе. Я боялся, что нас отнесет на середину, и, держась одной рукой, я подтянул ноги так, что они уперлись в бревно, и с силой оттолкнулся к берегу. Я видел кусты, но, несмотря на инерцию и на усилия, которые я делал, меня течением относило в сторону. Мне стало очень страшно, что я утону из-за башмаков, но я работал изо всех сил и боролся с водой, и когда я поднял глаза, берег шел на меня, и, преодолевая грозную тяжесть ног, я продолжал работать и плыть, пока не достиг его. Я уцепился за ветвь ивы и повис, не в силах подтянуться кверху, но я знал теперь, что не утону. На бревне мне ни разу не приходило в голову, что я могу утонуть. Меня всего подвело и мутило от напряжения, и я держался за ветки и ждал. Когда мутить перестало, я немного продвинулся вперед и опять отдохнул, обхватив руками куст, крепко вцепившись в ветки. Потом я вылез из воды, пробрался сквозь ивняк и очутился на берегу. Уже почти рассвело, и никого не было видно. Я лежал плашмя на земле и слушал шум реки и дождя.

Немного погодя я встал и пошел вдоль берега. Я знал, что до Латизаны нет ни одного моста. Я считал, что нахожусь, вероятно, против Сан-Вито. Я стал раздумывать о том, что мне делать. Впереди был канал, подходивший к реке. Я пошел туда. Никого вокруг не было видно, и я сел под кустами на самом берегу канала, и снял башмаки, и вылил из них воду. Я снял френч, вынул из бокового кармана бумажник с насквозь промокшими документами и деньгами и потом выжал френч. Я снял брюки и выжал их тоже, потом рубашку и нижнее белье. Я долго шлепал и растирал себя ладонями, потом снова оделся. Кепи я потерял.

Прежде чем надеть френч, я спорол с рукавов суконные звездочки и положил их в боковой карман вместе с деньгами. Деньги намокли, но были целы. Я пересчитал их. Всего было три с лишним тысячи лир. Вся одежда была мокрая и липкая, и я размахивал руками, чтобы усилить кровообращение. На мне было шерстяное белье, и я решил, что не простужусь, если буду все время в движении. Пистолет у меня отняли на дороге, и я спрятал кобуру под френч. Я был без плаща, и мне было холодно под дождем. Я пошел по берегу канала. Уже совсем рассвело, и кругом было мокро, плоско и уныло. Поля были голые и мокрые; далеко за полями торчала в небе колокольня. Я вышел на дорогу. Впереди на дороге я увидел отряд пехоты, который шел мне навстречу. Я, прихрамывая, тащился по краю дороги, и солдаты прошли мимо и не обратили на меня внимания. Это была пулеметная часть, направлявшаяся к реке. Я пошел дальше.

В этот день я пересек венецианскую равнину. Это ровная низменная местность, и под дождем она казалась еще более плоской. Со стороны моря там лагуны и очень мало дорог. Все дороги идут по устьям реки к морю, и чтобы пересечь равнину, нужно идти тропинками вдоль каналов. Я пробирался по равнине с севера на юг и пересек две железнодорожные линии и много дорог, и наконец одна тропинка привела меня к линии, которая проходила

по краю лагуны. Это была Триест-Венецианская магистраль, с высокой прочной насыпью, широким полотном и двухколейным путем. Немного дальше был полустанок, и я увидел часовых на посту. В другой стороне был мост через речку, впадавшую в лагуну. У моста тоже был часовой. Когда я шел полем на север, я видел, как по этому пути прошел поезд. На плоской равнине он был виден издалека, и я решил, что, может быть, мне удастся здесь вскочить в поезд, идущий из Портогруаро. Я посмотрел на часовых и лег на откосе у самого полотна, так что мне был виден весь путь в обе стороны. Часовой у моста сделал несколько шагов вдоль пути по направлению ко мне, потом повернулся и пошел назад, к мосту.

Голодный, я лежал и ждал поезда. Тот, который я видел издали, был такой длинный, что паровоз тянул его очень медленно, и я был уверен, что мог бы вскочить на ходу. Когда я уже почти потерял надежду, я увидел приближающийся поезд. Паровоз шел прямо на меня, постепенно увеличиваясь. Я оглянулся на часового. Он ходил у ближнего конца моста, но по ту сторону пути. Таким образом, поезд, подойдя, должен был закрыть меня от него. Я следил за приближением паровоза. Он шел, тяжело пыхтя. Я видел, что вагонов очень много. Я знал, что в поезде есть охрана, и хотел разглядеть, где она, но не мог, потому что боялся, как бы меня не заметили. Паровоз уже почти поравнялся с тем местом, где я лежал. Когда он прошел мимо, тяжело пыхтя и отдуваясь даже на ровном месте, и машинист уже не мог меня видеть, я встал и шагнул ближе к проходящим вагонам. Если охрана смотрит из окна, я внушу меньше подозрений, стоя на виду у самых рельсов. Несколько закрытых товарных вагонов прошли мимо. Потом я увидел приближавшийся низкий открытый вагон, из тех, которые здесь называют гондолами, сверху затянутый брезентом. Я почти пропустил его мимо, потом подпрыгнул и ухватился за боковые поручни и подтянулся на руках. Потом сполз на буфера между гондолой и площадкой следующего, закрытого товарного вагона. Я был почти уверен, что меня никто не видел. Я присел, держась за поручни, ногами упираясь в сцепку. Мы уже почти поравнялись с мостом. Я вспомнил про часового. Когда мы проезжали, он взглянул на меня. Он был совсем еще мальчик, и слишком большая каска сползала ему на глаза. Я высокомерно посмотрел на него, и он отвернулся. Он подумал, что я из поездной бригады.

Мы проехали мимо. Я видел, как он, все еще беспокойно, следил за проходившими вагонами, и я нагнулся посмотреть, как прикреплен брезент. По краям были кольца, и он был привязан веревкой. Я вынул нож, перерезал веревку и просунул руку внутрь. Твердые выпуклости торчали под брезентом, намокшим от дождя. Я поднял голову и поглядел вперед. На площадке переднего вагона был солдат из охраны, но он смотрел в другую сторону. Я отпустил поручни и нырнул под брезент. Я ударился лбом обо что-то так, что у меня потемнело в глазах, и я почувствовал на лице

кровь, но залез глубже и лег плашмя. Потом я повернулся назад и снова прикрепил брезент.

Я лежал под брезентом вместе с орудиями. От них опрятно пахло смазкой и керосином. Я лежал и слушал шум дождя по брезенту и перестук колес на ходу. Снаружи проникал слабый свет, и я лежал и смотрел на орудия. Они были в брезентовых чехлах. Я подумал, что, вероятно, они отправлены из третьей армии. На лбу у меня вспухла шишка, и я остановил кровь, лежа неподвижно, чтобы дать ей свернуться, и потом сцарапал присохшую кровь, не тронув только у самой раны. Это было не больно. У меня не было носового платка, но я ощупью смыл остатки присохшей крови дождевой водой, которая стекала с брезента, и дочиста вытер рукавом. Я не должен был внушать подозрения своим видом. Я знал, что мне нужно будет выбраться до прибытия в Местре, потому что кто-нибудь придет взглянуть на орудия. Орудий было слишком мало, чтоб их терять или забывать. Меня мучил лютый голод.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я лежал на досках платформы под брезентом, рядом с орудиями, мокрый, озябший и очень голодный. В конце концов я перевернулся и лег на живот, положив голову на руки. Колено у меня онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентини прекрасно сделал свое дело. Я проделал половину отступления пешком и проплыл кусок Тальяменто с его коленом. Это и в самом деле было его колено. Другое колено было мое. Доктора проделывают всякие штуки с вашим телом, и после этого оно уже не ваше. Голова была моя, и все, что в животе, тоже. Там было очень голодно. Я чувствовал, как все там выворачивается наизнанку. Голова была моя, но не могла ни работать, ни думать; только вспоминать, и не слишком много вспоминать.

Я мог вспоминать Кэтрин, но я знал, что сойду с ума, если буду думать о ней, не зная, придется ли мне ее увидеть, и я старался не думать о ней, только совсем немножко о ней, только под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент еле брезжит, и я лежу с Кэтрин на досках платформы. Жестко лежать на досках платформы, в мокрой одежде, и мыслей нет, только чувства, и слишком долгой была разлука, и доски вздрагивают раз от раза, и тоска внутри, и только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо жены.

Нельзя любить доски товарной платформы, или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла, или брезент, пропускающий дождь, хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно; но вся твоя любовь — к кому-то, кого здесь даже и вообразить себе нельзя; слишком холодным и ясным взглядом смотришь теперь перед собой, скорей даже не холодным, а ясным и пустым. Лежишь на животе и смотришь перед собой пустым

взглядом, после того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям, точно служащий универсального магазина, который во время пожара дал погибнуть товарам своего отдела. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в магазине расстреливают служащих за то, что они говорят с акцентом, который у них всегда был, никто, конечно, не вправе ожидать, что служащие возвратятся, как только торговля откроется снова. Они поищут другой работы — если можно рассчитывать на другую работу и если их не поймает полиция.

Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил. Я желал им всяческой удачи. Среди них были и добрые, и храбрые, и выдержанные, и разумные, и они заслуживали удачи. Но меня это больше не касалось, и я хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местре, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать.

Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим. Интересно, что сообщат в Штаты. Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что сталось с нашим священником. И с Ринальди. Наверно, он в Порденоне. Если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился.

Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра, и хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверно, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно. Я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно, и прошел между какими-то строениями, и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня.

— Хотите стакан граппы?

— Нет, спасибо.

— За мой счет,— сказал он и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне.— Что нового на фронте?

— Не знаю.

— Они пьяны,— сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны.

— Рассказывайте,— сказал он.— Что нового на фронте?

— Ничего я не знаю о фронте.

— Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда.

— Идет отступление.

— Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро?

— Не думаю.

Он подлил в стакан граппы из пузатой бутылки.— Если у вас не все в порядке,— сказал он,— я могу спрятать вас.

— У меня все в порядке.

— Если у вас не все в порядке, поживите здесь.

— Где здесь?

— В моем доме. Многие живут здесь. У кого не все в порядке, те часто живут здесь.

— А таких много?

— Смотря о чем речь. Вы из Южной Америки?

— Нет.

— По-испански говорите?

— Немного.
Он вытер стойку.
— Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно.
— Я не собираюсь переходить.
— Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек.
— Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь.
Он покачал головой.
— Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке.
— У меня все в порядке. Но всегда приятно иметь адрес друга.
Я положил на стойку десять лир в уплату за кофе.
— Выпейте со мной граппы,— сказал я.
— Это не обязательно.
— Выпейте.
Он налил два стакана.
— Помните,— сказал он.— Приходите сюда. Не доверяйтесь никому другому. Здесь вам будет хорошо.
— Я в этом уверен.
— Вы уверены?
— Да.
Он внимательно посмотрел на меня.
— Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуливайте в этом мундире.
— Почему?
— На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Сукно другого цвета.
Я промолчал.
— Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги.
— Какие бумаги?
— Отпускное свидетельство.
— Мне не нужны бумаги. У меня есть бумаги.
— Хорошо,— сказал он.— Но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно.
— Сколько стоят такие бумаги?
— Смотря что именно. Цена умеренная.
— Сейчас мне ничего не нужно.
Он пожал плечами.
— У меня все как следует,— сказал я.
Когда я выходил, он сказал:
— Не забывайте, что я ваш друг.
— Не забуду.
— Еще увидимся.
— Непременно,— сказал я.
Выйдя, я обогнул вокзал, где могла быть военная полиция, и нанял экипаж у ограды маленького парка. Я дал кучеру адрес госпиталя. Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Его жена расцеловала меня. Он пожал мне руку.

— Вы вернулись! Вы невредимы!
— Да.
— Вы завтракали?
— Да.
— Как ваше здоровье, tenente? Как здоровье? — спрашивала жена.
— Прекрасно.
— Может быть, позавтракаете с нами?
— Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?
— Мисс Баркли?
— Сестра-англичанка.
— Его милая,— сказала жена. Она потрепала меня по плечу и улыбнулась.
— Нет,— сказал швейцар.— Она уехала.
У меня упало сердце.
— Вы уверены? Я говорю о молодой англичанке — высокая, блондинка.
— Я уверен. Она поехала в Стрезу.
— Когда она уехала?
— Два дня тому назад, вместе с другой сестрой-англичанкой.
— Так,— сказал я.— Я хочу попросить вас кое о чем. Никому не говорите, что вы меня видели. Это крайне важно.
— Я не скажу никому,— сказал швейцар.
Я протянул ему бумажку в десять лир. Он оттолкнул ее.
— Я обещал вам, что не скажу никому,— сказал он.— Мне денег не надо.
— Чем мы можем помочь вам, signor tenente? — спросила его жена.
— Только этим,— сказал я.
— Мы будем немы,— сказал швейцар.— Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится.
— Хорошо,— сказал я.— До свидания. Еще увидимся.
Они стояли в дверях, глядя мне вслед.
Я сел в экипаж и дал кучеру адрес Симмонса, того моего знакомого, который учился петь.
Симмонс жил на другом конце города, близ Порта-Маджента. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему.
— Ужасно рано вы встаете, Генри,— сказал он.
— Я приехал ранним поездом.
— Что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету? Вон там, в ящике на столе.
Комната была большая, с кроватью у стены, роялем в противоположном углу, комодом и столом. Я сел на стул возле кровати. Симмонс сидел, подложив подушки под спину, и курил.
— Плохие у меня дела, Сим,— сказал я.
— У меня тоже,— сказал он.— У меня всегда плохие дела. Курить не хотите?

— Нет,— сказал я.— Что нужно для того, чтобы уехать в Швейцарию?

— Вам? Вас итальянцы не выпустят за границу.

— Да. Это я знаю. Ну, а швейцарцы? Как поступят швейцарцы?

— Они вас интернируют.

— Я знаю. Но какая механика этого дела?

— Никакой. Это очень просто. Вы можете ездить куда угодно. Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что? Вас преследует полиция?

— Пока еще не ясно.

— Если не хотите говорить, не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в Пьяченце.

— Да что вы!

— Да, да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз — здесь, в «Лирико».

— Очень жаль, что мне не удастся послушать.

— Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности?

— Не знаю.

— Если не хотите говорить, не надо. А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте?

— Я решил, что с меня довольно.

— Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь?

— Вы так заняты.

— Ничуть не бывало, дорогой Генри. Ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться.

— Вы примерно моего роста. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме.

— Да, ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место! Как вы могли там жить?

— Я хотел стать архитектором.

— Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разодену, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. И ничего вам не нужно покупать, дорогой мой.

— Я бы все-таки охотнее купил, Сим.

— Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками. У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете.

— Да. Мой старый паспорт при мне.

— Тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед, в добрую старую Гельвецию.

— Это все не так просто. Мне еще нужно в Стрезу.

— Чего же лучше, дорогой мой! А там в лодочку — и прямым сообщением на другую сторону. Если б не мое пение, я поехал бы с вами. И поеду.

— Вы там можете перейти на тирольский фальцет.

— И перейду, дорогой мой. Хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность.

— Головой ручаюсь, что вы умеете петь.

Он откинулся назад и закурил еще сигарету.

— Головой лучше не ручайтесь. Хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. Послушайте.— Он зарычал из «Африканки»; шея его напружилась, жилы вздулись.— Я умею петь,— сказал он.— А там как им угодно.

Я посмотрел в окно.

— Я пойду отпущу экипаж.

— Возвращайтесь скорее, дорогой мой, и сядем завтракать.

Он встал с постели, выпрямился, глубоко вдохнул воздух и начал делать гимнастические упражнения. Я сошел вниз и расплатился с кучером.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В штатском я чувствовал себя как на маскараде. Я очень долго носил военную форму, и мне теперь не хватало ощущения подтянутости в одежде. Брюки словно болтались. Я взял в Милане билет до Стрезы. Я купил себе новую шляпу. Шляпу Сима я не мог надеть, но костюм был очень хороший. От него пахло табаком, и когда я сидел в купе и смотрел в окно, у меня было такое чувство, что моя новая шляпа очень новая, а костюм очень старый. Настроение у меня было тоскливое, как мокрый ломбардский ландшафт за окном. В купе сидели какие-то летчики, которые оценили меня не слишком высоко. Они избегали смотреть на меня и подчеркивали свое презрение к штатскому моего возраста. Я не чувствовал себя оскорбленным. В прежнее время я бы оскорбил их и затеял драку. Они сошли в Галларате, и я был рад, что остался один. У меня была газета, но я не читал ее, потому что не хотел читать о войне. Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир. Я чувствовал себя отчаянно одиноким и был рад, когда поезд прибыл в Стрезу.

На вокзале я ожидал увидеть комиссионеров из отелей, но ни одного не было. Сезон уже давно окончился, и поезд никто не встречал. Я вышел из вагона со своим чемоданом,— это был чемодан Сима, очень легкий, потому что в нем не было ничего, кроме двух сорочек,— и постоял на перроне под дождем, пока поезд не тронулся. Я спросил у одного из вокзальных служащих, не знает ли он, какие отели еще открыты. «Гранд-отель» был открыт, и «Дез'иль-Борроме», и несколько маленьких отелей, которые не закрывались круглый год. Я пошел под дождем к «Дез'иль-Борроме», с чемоданом в руке. Я увидел проезжавший по улице экипаж и сделал знак кучеру. Лучше было приехать в экипаже. Мы подкатили к подъезду большого отеля, и портье вышел навстречу с зонтиком и был очень вежлив.

Я выбрал хороший номер. Он был большой и светлый, с видом на озеро. Над озером низко нависли тучи, но я знал, что при солнечном свете оно очень красиво. Я сказал, что ожидаю свою жену. В номере стояла большая двуспальная кровать, letto matrimoniale [1], с атласным одеялом. Это был очень шикарный отель. Я прошел по длинному коридору и потом по широкой лестнице спустился в бар. Бармен был мой старый знакомый, и я сидел на высоком табурете и ел соленый миндаль и хрустящий картофель. Мартини был холодный и чистый на вкус.

— Что вы здесь делаете, in borghese? [2] — спросил бармен, смешивая мне второй мартини.

— Я в отпуску. Получил отпуск для поправления здоровья.

— Здесь сейчас пусто. Не знаю, почему не закрывают отель.

— Как ваша рыбная ловля?

— Я поймал несколько великолепных форелей. В это время года часто попадаются великолепные форели.

— Вы получили табак, который я вам послал?

— Да. А вы не получили моей открытки?

Я засмеялся. Мне не удалось достать ему этот табак. Речь шла об американском трубочном табаке, но мои родные перестали посылать его, или его где-нибудь задерживали. Во всяком случае, я его больше не получал.

— Я вам достану где-нибудь,— сказал я.— Скажите, вы не встречали в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера.

— У нас в отеле таких нет.

— Они сестры из военного госпиталя.

— Двух сестер милосердия я видел. Погодите минуту, я узнаю, где они остановились.

— Одна из них — моя жена. Я приехал сюда, чтобы встретиться с ней.

— А другая — моя жена.

— Я не шучу.

— Простите за глупую шутку,— сказал он.— Я не понял.

Он вышел и довольно долго не возвращался. Я ел маслины, соленый миндаль и хрустящий картофель и в зеркале позади стойки видел себя в штатском. Наконец бармен вернулся.

— Они в маленьком отеле возле вокзала,— сказал он.

— А что, сандвичи у вас есть?

— Я сейчас позвоню. Тут, видите ли, ничего нет, потому что нет народу.

— У вас совсем пусто?

— Ну, кое-кто есть, конечно.

Принесли сандвичи, и я съел три штуки и выпил еще мартини. Никогда я не пил ничего холоднее и чище. Вкус мартини вер-

[1] Супружеское ложе *(итал.)*.
[2] В штатском *(итал.)*.

нул мне самочувствие цивилизованного человека. Я слишком долго питался красным вином, хлебом, сыром, скверным кофе и граппой. Я сидел на высоком табурете в приятном окружении красного дерева, бронзы и зеркал и ни о чем не думал. Бармен задал мне какой-то вопрос.

— Не надо говорить о войне,— сказал я.

Война была где-то очень далеко. Может быть, никакой войны и не было. Здесь не было войны. Я вдруг понял, что для меня она кончилась. Но у меня не было чувства, что она действительно кончилась. У меня было такое чувство, как у школьника, который сбежал с уроков и думает о том, что сейчас происходит в школе.

Кэтрин и Эллен Фергюсон обедали, когда я пришел к ним в отель. Еще из коридора я увидел их за столом. Кэтрин сидела почти спиной ко мне, и я видел узел ее волос и часть щеки и ее чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то рассказывала. Она замолчала, когда я вошел.

— Господи! — сказала она.

— Здравствуйте! — сказал я.

— Как, это вы? — сказала Кэтрин. Ее лицо просветлело. Казалось, она слишком счастлива, чтобы поверить. Я поцеловал ее. Кэтрин покраснела, и я сел за их стол.

— Вот так история! — сказала Фергюсон.— Что вы тут делаете? Вы обедали?

— Нет.

Вошла девушка, подававшая к столу, и я сказал ей принести для меня прибор. Кэтрин все время смотрела на меня счастливыми глазами.

— По какому это вы случаю в муфти? — спросила Фергюсон.

— Я попал в Кабинет.

— Вы попали в какую-нибудь скверную историю.

— Развеселитесь, Ферджи. Развеселитесь немножко.

— Не очень-то весело глядеть на вас. Я знаю, в какую историю вы впутали эту девушку. Вы для меня вовсе не веселое зрелище.

Кэтрин улыбнулась мне и тронула меня ногой под столом.

— Никто меня ни в какую историю не впутывал, Ферджи. Я сама впуталась.

— Я его терпеть не могу,— сказала Фергюсон.— Он только погубил вас своими коварными итальянскими шуточками. Американцы еще хуже итальянцев.

— Зато шотландцы — нравственный народ,— сказала Кэтрин.

— Я вовсе не об этом говорю. Я говорю о его итальянском коварстве.

— Разве я коварный, Ферджи?

— Да. Вы хуже чем коварный. Вы настоящая змея. Змея в итальянском мундире и плаще.

— Я уже снял итальянский мундир.

— Это только лишнее доказательство вашего коварства. Все лето вы играли в любовь и сделали девушке ребенка, а теперь, вероятно, намерены улизнуть.

Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне.

— Мы оба намерены улизнуть,— сказала она.

— Вы друг друга стоите,— сказала Ферджи.— Мне стыдно за вас, Кэтрин Баркли. У вас нет ни стыда, ни чести, и вы так же коварны, как он.

— Не надо, Ферджи,— сказала Кэтрин и потрепала ее по руке.— Не ругайте меня. Вы же знаете, что мы любим друг друга.

— Уберите руку,— сказала Фергюсон. Ее лицо было красно.— Если б вы не потеряли стыд, было бы другое дело. Но вы беременны бог знает на каком месяце и думаете, что это все шутки, и вся расплываетесь в улыбках оттого, что ваш соблазнитель вернулся. У вас нет ни стыда, ни совести.

Она заплакала. Кэтрин подошла и обняла ее одной рукой. Когда она встала, утешая Фергюсон, я не заметил никакой перемены в ее фигуре.

— Мне все равно,— всхлипывала Фергюсон.— Только это все ужасно.

— Ну, ну, Ферджи,— утешала ее Кэтрин.— Я буду стыдиться. Не плачьте, Ферджи. Не плачьте, добрая моя Ферджи.

— Я не плачу,— всхлипывала Фергюсон.— Я не плачу. Только вот как вспомню, что с вами случилось.— Она посмотрела на меня.— Я вас ненавижу,— сказала она.— Она не может помешать мне ненавидеть вас. Вы гнусный коварный американский итальянец.— Ее нос и глаза покраснели от слез.

Кэтрин улыбнулась мне.

— Не смейте улыбаться ему, когда вы меня обнимаете.

— Вы неблагоразумны, Ферджи.

— Я сама знаю,— всхлипывала Ферджи.— Не обращайте на меня внимания. Я так взволнована. Я неблагоразумна. Я сама знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы.

— Мы и так счастливы,— сказала Кэтрин.— Вы моя хорошая Ферджи.

Фергюсон снова заплакала.

— Я не хочу, чтобы вы были счастливы так, как сейчас. Почему вы не женитесь? Да он не женат ли, чего доброго?

— Нет,— сказал я. Кэтрин смеялась.

— Ничего нет смешного,— сказала Фергюсон.— Так очень часто бывает.

— Мы поженимся, Ферджи,— сказала Кэтрин,— чтоб доставить вам удовольствие.

— Не для моего удовольствия. Вы сами должны были подумать об этом.

— Мы были очень заняты.

— Да. Я знаю. Заняты тем, что делали ребят.

Я думал, что она опять начнет плакать, но она вместо того вдруг разобиделась.

— Теперь вы, конечно, уйдете с ним?
— Да,— сказала Кэтрин.— Если он захочет.
— А как же я?
— Вы боитесь остаться здесь одна?
— Да, боюсь.
— Тогда я останусь с вами.
— Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть.
— Вот только пообедаем.
— Нет, уходите сейчас же.
— Ферджи, будьте благоразумны.
— Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба.
— Ну, пойдем,— сказал я. Мне надоела Ферджи.
— Конечно, вы рады уйти. Даже обедать я теперь должна в одиночестве. Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О! О! — Она всхлипнула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась.
— Мы останемся до конца обеда,— сказала Кэтрин.— И я не оставлю вас одну, если вы хотите, чтоб я была с вами. Я не оставлю вас одну, Ферджи.
— Нет. Нет. Я хочу, чтоб вы ушли. Я хочу, чтоб вы ушли.— Она вытерла глаза.— Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания.
Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось.

Ночь в отеле, в нашей комнате, где за дверью длинный пустой коридор и наши башмаки у двери, и толстый ковер на полу комнаты, и дождь за окном, а в комнате светло, и радостно, и уютно, а потом темнота, и радость тонких простынь и удобной постели, и чувство, что ты вернулся домой, что ты не один, и ночью, когда проснешься, другой по-прежнему здесь и не исчез никуда,— все остальное больше не существовало. Утомившись, мы засыпали, и когда просыпались, то просыпались оба, и одиночества не возникало. Порой мужчине хочется побыть одному и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных. Так со мной было в первый раз. Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними, а это — худшее одиночество. Но тут мы никогда не ощущали одиночества и никогда не ощущали страха, когда были вместе. Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует, и если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но с Кэтрин ночь почти ничем не отличалась ото дня, разве что ночью было еще лучше. Когда люди

столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки.

Я помню пробуждение утром. Кэтрин еще спала, и солнечный свет проникал в окно. Дождя уже не было, и я встал с постели и подошел к окну. Внизу тянулись сады, голые теперь, но прекрасные в своей правильности, дорожки, усыпанные гравием, деревья, каменный парапет у озера и озеро в солнечном свете, а за ним горы. Я стоял и смотрел в окно, и когда я обернулся, то увидел, что Кэтрин проснулась и глядит на меня.

— Ты уже встал, милый? — сказала она.— Какой чудесный день!

— Как ты себя чувствуешь?

— Чудесно. Как хорошо было ночью.

— Хочешь есть?

Она хотела есть. Я тоже хотел, и мы поели в кровати, при ноябрьском солнце, светившем в окно, поставив поднос с тарелками себе на колени.

— А ты не хочешь прочесть газету? Ты всегда читал газету в госпитале.

— Нет,— сказал я.— Теперь я не хочу.

— Так скверно было, что ты не хочешь даже читать об этом?

— Я не хочу читать об этом.

— Как жаль, что я не была с тобой, я бы тоже все это знала.

— Я расскажу тебе, если когда-нибудь это уляжется у меня в голове.

— А тебя не арестуют, если встретят не в военной форме?

— Меня, вероятно, расстреляют.

— Тогда мы не должны здесь оставаться. Мы уедем за границу.

— Я уже об этом подумывал.

— Мы уедем. Милый, ты не должен рисковать зря. Скажи мне, как ты попал из Местре в Милан?

— Я приехал поездом. Я тогда еще был в военной форме.

— А это не было опасно?

— Не очень. У меня был старый литер. В Местре я исправил на нем число.

— Милый, тебя тут каждую минуту могут арестовать. Я не хочу. Как можно делать такие глупости. Что будет с нами, если тебя заберут?

— Не будем думать об этом. Я устал думать об этом.

— Что ты сделаешь, если придут тебя арестовать?

— Буду стрелять.

— Вот видишь, какой ты глупый. Я тебя не выпущу из отеля, пока мы не уедем отсюда.
— Куда нам ехать?
— Пожалуйста, не будь таким, милый. Поедем туда, куда ты захочешь. Но только придумай такое место, чтоб можно было ехать сейчас же.
— В том конце озера — Швейцария, можно поехать туда.
— Вот и чудесно.
Снова собрались тучи, и озеро потемнело.
— Если б не нужно было всегда жить преступником,— сказал я.
— Милый, не будь таким. Давно ли ты живешь преступником? И мы не будем жить преступниками. У нас будет чудесная жизнь.
— Я чувствую себя преступником. Я дезертировал из армии.
— Милый, ну пожалуйста, будь благоразумен. Ты вовсе не дезертировал из армии. Это ведь только итальянская армия.
Я засмеялся.
— Ты умница. Полежим еще немного. Когда я в постели, все замечательно.

Немного погодя Кэтрин сказала:
— Ты уже не чувствуешь себя преступником, правда?
— Нет,— сказал я.— Когда я с тобой,— нет.
— Ты очень глупый мальчишка,— сказала она.— Но я не дам тебе распускаться. Подумай, милый, как хорошо, что меня не тошнит по утрам.
— Великолепно.
— Ты даже не ценишь, какая у тебя чудесная жена. Но мне все равно. Я тебя увезу куда-нибудь, где тебя не могут арестовать, и мы будем чудесно жить.
— Едем сейчас же.
— Непременно, милый. Когда хочешь и куда хочешь.
— Давай не будем ни о чем думать.
— Давай.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Кэтрин пошла берегом к маленькому отелю проведать Фергюсон, а я сидел в баре и читал газеты. В баре были удобные кожаные кресла, и я сидел в одном из них и читал, пока не пришел бармен. Армия не остановилась на Тальяменто. Она отступила дальше, к Пьяве. Я помнил Пьяве. Железная дорога пересекала ее близ Сан-Дона, по пути к фронту. Река в этом месте была глубокая и медленная и совсем узкая. Ниже по течению были болотные топи и каналы. Было несколько красивых вилл. Однажды до войны, направляясь в Кортина-д'Ампеццо, я несколько часов ехал

горной дорогой над Пьяве. Сверху она была похожа на богатый форелью ручей с узкими отмелями и заводями под тенью скал. У Кадоре дорога сворачивала в сторону. Я думал о том, что армии не легко будет спуститься оттуда. Вошел бармен.

— Граф Греффи спрашивал о вас,— сказал он.

— Кто?

— Граф Греффи. Помните, тот старик, который был здесь, когда вы приезжали прошлый раз.

— Он здесь?

— Да, он здесь с племянницей. Я сказал ему, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами на бильярде.

— Где он?

— Пошел погулять.

— Как он?

— Все молодеет. Вчера перед обедом он выпил три коктейля с шампанским.

— Как его успехи на бильярде?

— Хороши. Он меня бьет. Когда я ему сказал, что вы здесь, он очень обрадовался. Ему не с кем играть.

Графу Греффи было девяносто четыре года. Он был современником Меттерниха, этот старик с седой головой и седыми усами и превосходными манерами. Он побывал и на австрийской и на итальянской дипломатической службе, и день его рождения был событием в светской жизни Милана. Он собирался дожить до ста лет и играл на бильярде с уверенной свободой, неожиданной в этом сухоньком девяносточетырехлетнем теле. Я встретился с ним, приехав как-то в Стрезу после конца сезона, и мы пили шампанское во время игры на бильярде. Я нашел, что это великолепный обычай, и он дал мне пятнадцать очков форы и обыграл меня.

— Почему вы не сказали мне, что он здесь?

— Я забыл.

— Кто здесь есть еще?

— Других вы не знаете. Во всем отеле только шесть человек.

— Чем вы сейчас заняты?

— Ничем.

— Поедем ловить рыбу.

— На часок, пожалуй, можно.

— Поедем. Берите дорожку.

Бармен надел пальто, и мы отправились. Мы спустились к берегу и взяли лодку, и я греб, а бармен сидел на корме и держал дорожку, какой ловят озерную форель, со спиннером и тяжелым грузилом на конце. Мы ехали вдоль берега, бармен держал лесу в руках и время от времени дергал ее. С озера Стреза выглядела очень пустынной. Видны были длинные ряды голых деревьев, большие отели и заколоченные виллы. Я повернул к Изола-Белла и повел лодку вдоль самого берега, где сразу глубоко и видно, как стена скал отвесно уходит в прозрачную воду, а потом отъехал и свернул к рыбачьему острову. Солнце зашло за тучи, и вода была

темная и гладкая и очень холодная. У нас ни разу не клюнуло, хотя несколько раз мы видели на воде круги от подплывающей рыбы.

Я выгреб к рыбачьему острову, где стояли вытащенные на берег лодки и люди чинили сети.

— Пойдем выпьем чего-нибудь?

— Пойдем.

Я подогнал лодку к каменному причалу, а бармен втянул лесу, свернул ее на дне лодки и зацепил спиннер за край борта. Я вылез и привязал лодку. Мы вошли в маленькое кафе, сели за деревянный столик и заказали вермуту.

— Устали грести?

— Нет.

— Обратно грести буду я,— сказал он.

— Я люблю грести.

— Может быть, если вы возьмете удочку, счастье переменится.

— Хорошо.

— Скажите, как дела на войне?

— Отвратительно.

— Я не должен идти. Я слишком стар, как граф Греффи.

— Может быть, вам еще придется пойти.

— В будущем году мой разряд призывают. Но я не пойду.

— Что же вы будете делать?

— Уеду за границу. Я не хочу идти на войну. Я уже был на войне раз, в Абиссинии. Хватит. Зачем вы пошли?

— Не знаю. По глупости.

— Еще вермуту?

— Давайте.

На обратном пути греб бармен. Мы проехали озером за Стрезу и потом назад, все время в виду берега. Держа тугую лесу и чувствуя слабое биение вращающегося спиннера, я глядел на темную ноябрьскую воду озера и пустынный берег. Бармен греб длинными взмахами, и когда лодку выносило вперед, леса дрожала. Один раз у меня клюнуло: леса вдруг натянулась и дернулась назад, я стал тащить и почувствовал живую тяжесть форели, и потом леса задрожала снова. Форель сорвалась.

— Тяжелая была.

— Да, довольно тяжелая.

— Раз я тут ездил один и держал лесу в зубах, так одна дернула, чуть всю челюсть у меня не вырвала.

— Лучше всего привязывать к ноге,— сказал я.— Тогда и лесу чувствуешь, и зубы останутся целы.

Я опустил руку в воду. Она была очень холодная. Мы были теперь почти напротив отеля.

— Мне пора,— сказал бармен,— я должен поспеть к одиннадцати часам. L'heure du cocktail [1].

[1] Час коктейлей *(франц.)*.

— Хорошо.

Я втащил лесу и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах. Бармен поставил лодку в маленькую нишу каменной стены и прикрепил ее цепью с замком.

— Когда захотите покататься,— сказал он,— я дам вам ключ.

— Спасибо.

Мы поднялись к отелю и вошли в бар. Мне не хотелось больше пить так рано, и я поднялся в нашу комнату. Горничная только что кончила убирать, и Кэтрин еще не вернулась. Я лег на постель и старался не думать.

Когда Кэтрин вернулась, все опять стало хорошо. Фергюсон внизу, сказала она. Она будет завтракать с нами.

— Я знала, что ты ничего не будешь иметь против,— сказала Кэтрин.

— Ничего,— сказал я.

— Что с тобой, милый?

— Не знаю.

— Я знаю. Тебе нечего делать. У тебя есть только я, а я ушла.

— Ты права.

— Прости меня, милый. Я знаю, это, наверно, ужасное чувство, когда вдруг совсем ничего не остается.

— У меня всегда жизнь была такой наполненной,— сказал я.— Теперь, если только тебя нет со мной, все пусто.

— Но я ведь буду с тобой. Я уходила только на два часа. Ты не можешь придумать себе какое-нибудь занятие?

— Я ездил с барменом ловить рыбу.

— Хорошо было?

— Да.

— Не думай обо мне, когда меня нет.

— Так я всегда старался на фронте. Но там мне было что делать.

— Отелло в отставке,— поддразнила она.

— Отелло был негр,— сказал я.— А кроме того, я не ревнив. Я просто так люблю тебя, что для меня больше ничего не существует.

— А теперь будь паинькой и будь любезен с Фергюсон.

— Я всегда любезен с Фергюсон, пока она не начинает меня клясть.

— Будь любезен с ней. Подумай, ведь у нас есть так много, а у нее ничего нет.

— Не думаю, чтобы ей хотелось того, что есть у нас.

— Ничего ты не знаешь, милый, а еще умница.

— Я буду любезен с ней.

— Я в этом не сомневаюсь. Ты у меня хороший.

— Но она потом не останется?

— Нет. Я ее сплавлю.

— Мы вернемся сюда?

— Конечно. А как же иначе?

Мы спустились вниз, позавтракать с Фергюсон. На нее сильное впечатление произвел отель и великолепие ресторана. Мы хорошо позавтракали и выпили две бутылки капри. В ресторан вошел граф Греффи и поклонился нам. С ним была его племянница, которая немного напоминала мою бабушку. Я рассказал о нем Кэтрин и Фергюсон, и на Фергюсон мой рассказ произвел сильное впечатление. Отель был очень большой, и пышный, и пустой, но еда была вкусная, вино очень приятное, и в конце концов от вина всем стало очень хорошо. Кэтрин чувствовала себя как нельзя лучше. Она была счастлива. Фергюсон совсем развеселилась. Мне самому было очень хорошо. После завтрака Фергюсон вернулась в свой отель. Она хочет немного полежать после завтрака, сказала она.

К концу дня кто-то постучался к нам в дверь.

— Кто там?

— Граф Греффи спрашивает, не сыграете ли вы с ним на бильярде.

Я посмотрел на часы; я их снял, и они лежали под подушкой.

— Это нужно, милый? — шепнула Кэтрин.

— Пожалуй, придется пойти.— Часы показывали четверть пятого. Я сказал громко: — Передайте графу Греффи, что я буду в бильярдной в пять часов.

Без четверти пять я поцеловал на прощанье Кэтрин и пошел в ванную одеваться. Когда я завязывал галстук и смотрелся в зеркало, мне странно было видеть себя в штатском. Я подумал, что нужно будет купить еще сорочек и носков.

— Ты надолго уходишь? — спросила Кэтрин. Она была очень красива в постели.— Дай мне, пожалуйста, щетку.

Я смотрел, как она расчесывала волосы, наклонив голову так, чтобы вся масса волос свесилась на одну сторону. За окном уже было темно, и свет лампы над изголовьем постели ложился на ее волосы, и шею, и плечи. Я подошел и поцеловал ее, отведя ее руку со щеткой, и ее голова откинулась на подушку. Я поцеловал ее шею и плечи. У меня кружилась голова, так сильно я ее любил.

— Я не хочу уходить.

— И я не хочу, чтоб ты уходил.

— Ну, так я не пойду.

— Нет. Иди. Это ведь ненадолго, а потом ты вернешься.

— Мы пообедаем здесь, наверху.

— Иди и скорее возвращайся.

Я застал графа Греффи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике немного поодаль, в тени, стояло серебряное ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф Греффи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку.

— Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной.

— С вашей стороны очень любезно было меня пригласить.

— Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены на Изонцо. Надеюсь, вы теперь вполне оправились.

— Я совершенно здоров. Как ваше здоровье?

— О, я всегда здоров. Но я старею. Начинаю замечать признаки старости.

— Этому трудно поверить.

— Да. Вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею.

— Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал.

— О, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски.

— По-американски.

— Да. По-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык.

— Я почти не встречаюсь теперь с американцами.

— Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Всегда скучно без соотечественников, а в особенности без соотечественниц. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем, или вы слишком устали?

— Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какую вы мне дадите фору?

— Вы много играли это время?

— Совсем не играл.

— Вы играете очень хорошо. Десять очков?

— Вы мне льстите.

— Пятнадцать?

— Это было бы прекрасно, но вы меня все равно обыграете.

— Будем играть на деньги? Вы всегда предпочитали играть на деньги.

— Давайте.

— Отлично. Я даю вам восемнадцать очков, и мы играем по франку очко.

Он очень красиво разыграл партию, и, несмотря на фору, я только на четыре очка обогнал его к середине игры. Граф Греффи нажал кнопку звонка, вызывая бармена.

— Будьте добры откупорить одну бутылку,— сказал он. Затем мне: — По стакану для настроения.

Вино было холодное, как лед, и очень сухое и хорошее.

— Будем говорить по-итальянски. Вы не возражаете? Это теперь моя слабость.

Мы продолжали играть, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточась на игре. Граф Греффи выбил сотое очко, а я, несмотря на

фору, имел только девяносто четыре. Он улыбнулся и потрепал меня по плечу.

— Теперь мы разопьем вторую бутылку, и вы расскажете мне о войне.— Он ждал, когда я сяду.

— О чем-нибудь другом,— сказал я.

— Вы не хотите говорить об этом? Хорошо. Что вы читали за последнее время?

— Ничего,— сказал я.— Боюсь, что я очень отупел.

— Нет. Но читать вам нужно.

— Что написано за время войны?

— Есть «Le feu» [1] одного француза, Барбюса. Есть «Мистер Бритлинг видит все насквозь».

— Это неправда.

— Что неправда?

— Он не видит все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале.

— Значит, вы кое-что читали?

— Да, но хорошего ничего.

— Мне кажется, что в «Мистере Бритлинге» очень хорошо показана душа английской буржуазии.

— Я не знаю, что такое душа.

— Бедняжка. Никто не знает, что такое душа. Вы — croyant? [2]

— Только ночью.

Граф Греффи улыбнулся и повертел стакан в пальцах.

— Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось,— сказал он.— Очень сожалею.

— Вы хотели бы жить после смерти? — сказал я и сейчас же спохватился, что глупо было упоминать о смерти. Но его не смутило это слово.

— Смотря как жить. Эта жизнь очень приятна. Я хотел бы жить вечно.— Он улыбнулся.— Мне это почти удалось.

Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке.

— Если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным.

— Вы не похожи на старика.

— Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка. А дух не стареет, и мудрости не прибавляется.

— Вы мудры.

— Нет, это великое заблуждение — о мудрости стариков. Старики не мудры. Они только осторожны.

— Быть может, это и есть мудрость.

— Это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего?

---

[1] «Огонь» *(франц.)*.

[2] Верующий *(франц.)*.

— Любимую женщину.
— Вот и я также. Это не мудрость. Жизнь вы цените?
— Да.
— Я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще дни рождения,— засмеялся он.— Видимо, вы более мудры, чем я. Вы не празднуете день своего рождения.
Мы оба потягивали вино.
— Что вы в самом деле думаете о войне? — спросил я.
— Я думаю, что она нелепа.
— Кто выиграет ее?
— Итальянцы.
— Почему?
— Они более молодая нация.
— Разве молодые нации всегда выигрывают войну?
— Они способны на это в известном периоде.
— А потом что?
— Они становятся старыми нациями.
— А вы еще говорите, что не мудры.
— Дорогой мой мальчик, это не мудрость. Это цинизм.
— Мне это кажется величайшей мудростью.
— Это не совсем так. Я мог бы вам привести примеры в подтверждение противоположного. Но это неплохо сказано. Мы выпили все шампанское?
— Почти.
— Может быть, выпьем еще? Потом я пойду переодеться.
— Пожалуй, не стоит больше.
— Вам в самом деле не хочется?
— Да.
Он встал.
— Желаю вам много удачи, и много счастья, и много, много здоровья.
— Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно.
— Благодарю вас. Я так и делаю. А если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось.
Мне казалось, что он улыбнулся с грустью, но я не был уверен. Он был очень стар, и на его лице было очень много морщин, и в улыбке участвовало столько черточек, что оттенки терялись в них.
— Я, может быть, стану очень набожным,— сказал я.— Во всяком случае, я буду молиться за вас.
— Я всегда ожидал, что стану набожным. В моей семье все умирали очень набожными. Но почему-то этого не случилось.
— Еще слишком рано.
— Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свое религиозное чувство.
— У меня оно появляется только ночью.

— Но ведь вы еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство.

— Вы думаете?

— Конечно.— Он сделал шаг к бильярду.— Вы очень добры, что сыграли со мной.

— Это было большим удовольствием для меня.

— Пойдемте наверх вместе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ночью была гроза, и, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу.

— Мне нужно поговорить с вами, tenente.

— В чем дело?

— Дело очень серьезное.

Я огляделся. В комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном.

— Войдите,— сказал я. Я за руку провел его в ванную, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны.

— В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?

— Нет. Не у меня, а у вас, tenente.

— Вот как?

— Утром придут вас арестовать.

— Вот как?

— Я пришел сказать вам. Я был в городе и в кафе услышал разговор.

— Понимаю.

Он стоял передо мной, в мокром пальто, с мокрой шляпой в руках, и молчал.

— За что меня хотят арестовать?

— Что-то связанное с войной.

— Вы знаете — что?

— Нет. Но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать.

Я минуту раздумывал.

— В котором часу они собирались прийти?

— Утром. Точного часа не знаю.

— Что вы советуете делать?

Он положил шляпу в раковину умывальника. Она была очень мокрая, и вода все время стекала на пол.

— Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться. Но попасть под арест всегда неприятно — особенно теперь.

— Я не хочу попасть под арест.

— Тогда уезжайте в Швейцарию.

— Как?
— На моей лодке.
— На озере буря,— сказал я.
— Буря миновала. Волны еще есть, но вы справитесь.
— Когда нам ехать?
— Сейчас. Они могут прийти рано утром.
— А наши вещи?
— Уложите их. Пусть ваша леди одевается. Я позабочусь о вещах.
— Где вы будете?
— Я подожду здесь. Не нужно, чтоб меня видели в коридоре.
Я отворил дверь, прикрыл ее за собой и вошел в спальню. Кэтрин не спала.
— Что там такое, милый?
— Ничего, Кэт,— сказал я.— Хочешь сейчас одеться и ехать на лодке в Швейцарию?
— А ты хочешь?
— Нет,— сказал я.— Я хочу лечь опять в постель.
— Что случилось?
— Бармен говорит, что утром меня придут арестовать.
— А бармен в своем уме?
— Да.
— Тогда, пожалуйста, милый, одевайся поскорее, и сейчас же едем.— Она села на край постели. Она была еще сонная.— Это бармен там, в ванной?
— Да.
— Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь.
Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сорочку и потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности и не хотела, чтоб я ее видел. Я оделся, слушая шум дождя за окном. Мне почти нечего было укладывать.
— У меня еще много места в чемодане, Кэт, если тебе нужно.
— Я уже почти все уложила,— сказала она.— Милый, я ужасно глупая, но скажи мне, зачем бармен сидит в ванной?
— Тсс, он ждет, чтоб снести наши вещи вниз.
— Какой славный!
— Он мой старый друг,— сказал я.— Один раз я чуть не прислал ему трубочного табаку.
Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было видно, только мрак и дождь, но ветер улегся.
— Я готова, милый,— сказала Кэтрин.
— Хорошо.— Я подошел к двери ванной.— Вот чемоданы, Эмилио,— сказал я. Бармен взял оба чемодана.
— Вы очень добры, что хотите помочь нам,— сказала Кэтрин.

— Пустяки, леди,— сказал бармен.— Я очень рад помочь вам, только не хотел бы нажить себе этим неприятности. Слушайте,— сказал он,— я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы идите спокойно, как будто собрались на прогулку.

— Чудесная ночь для прогулки,— сказала Кэтрин.

— Ночь скверная, что и говорить.

— Как хорошо, что у меня есть зонтик,— сказала Кэтрин.

Мы прошли по коридору и по широкой, устланной толстым ковром лестнице. Внизу, у дверей, сидел за своей конторкой портье.

Он очень удивился, увидя нас.

— Вы хотите выйти, сэр? — спросил он.

— Да,— сказал я.— Мы хотим посмотреть озеро в бурю.

— У вас нет зонта, сэр?

— Нет,— сказал я.— У меня непромокаемое пальто.

Он с сомнением оглядел меня.

— Я вам дам зонт, сэр,— сказал он. Он вышел и возвратился с большим зонтом.— Немножко великоват, сэр,— сказал он. Я дал ему десять лир.— О, вы слишком добры, сэр. Очень вам благодарен,— сказал он.

Он раскрыл перед нами двери, и мы вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась ему.

— Не оставайтесь долго снаружи в бурю,— сказал он.— Вы промокнете, сэр и леди.— Он был всего лишь младший портье, и его английский язык еще грешил буквализмами.

— Мы скоро вернемся,— сказал я.

Мы пошли под огромным зонтом по дорожке, и дальше мокрым темным садом к шоссе, и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь с берега. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев.

— Чемоданы в лодке,— сказал он.

— Я хочу заплатить вам за лодку,— сказал я.

— Сколько у вас есть денег?

— Не очень много.

— Вы мне потом пришлете деньги. Так будет лучше.

— Сколько?

— Сколько захотите.

— Скажите мне, сколько?

— Если вы доберетесь благополучно, пришлите мне пятьсот франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь.

— Хорошо.

— Вот здесь сандвичи.— Он протянул мне сверток.— Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяку и бутылка вина.

Я положил все в свой чемодан.

— Позвольте мне заплатить за это.

— Хорошо, дайте мне пятьдесят лир.

Я дал ему.

— Коньяк хороший,— сказал он.— Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку.

Он придержал лодку, которая то поднималась, то опускалась у каменной стены, и я помог Кэтрин спуститься. Она села на корме и завернулась в плащ.

— Вы знаете, куда ехать?

— Все время к северу.

— А как ехать?

— На Луино.

— На Луино, Коннеро, Каннобио, Транцано. В Швейцарии вы будете, только когда доедете до Бриссаго. Вам нужно миновать Монте-Тамара.

— Который теперь час? — спросила Кэтрин.

— Еще только одиннадцать,— сказал я.

— Если вы будете грести не переставая, к семи часам утра вы должны быть на месте.

— Это так далеко?

— Тридцать пять километров.

— Как бы не сбиться. В такой дождь нужен компас.

— Нет. Держите на Изола-Белла. Потом, когда обогнете Изола-Мадре, идите по ветру. Ветер приведет вас в Палланцу. Вы увидите огни. Потом идите вдоль берега.

— Ветер может перемениться.

— Нет,— сказал он.— Этот ветер будет дуть три дня. Он дует прямо с Маттароне. Вон там жестянка, чтоб вычерпывать воду.

— Позвольте мне хоть что-нибудь заплатить вам за лодку сейчас.

— Нет, я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна.

— Пусть так.

— Думаю, что вы не утонете.

— Вот и хорошо.

— Держите прямо по ветру.

— Ладно.— Я прыгнул в лодку.

— Вы оставили деньги за номер?

— Да. В конверте на столе.

— Отлично. Всего хорошего.

— Всего хорошего. Большое вам спасибо.

— Не за что будет, если вы утонете.

— Что он говорит? — спросила Кэтрин.

— Он желает нам всего хорошего.

— Всего хорошего,— сказала Кэтрин.— Большое, большое вам спасибо.

— Вы готовы?

— Да.

Он наклонился и оттолкнул нас. Я погрузил весла в воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись из виду. Кругом бушевало настоящее море, но мы шли по ветру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я греб в темноте, держась так, чтоб ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтоб это случилось как можно позднее. Лодка была легкая и хорошо слушалась весел. Я вел ее вперед по темной воде. Ничего не было видно, но я надеялся, что мы скоро доберемся до Палланцы.

Мы так и не увидели Палланцы. Ветер дул с юга, и в темноте мы проехали мыс, за которым лежит Палланца, и не увидели ее огней. Когда наконец показались какие-то огни, гораздо дальше и почти на самом берегу, это была уже Интра. Но долгое время мы вообще не видели никаких огней, не видели и берега и только упорно подвигались в темноте вперед, скользя на волнах. Иногда волна поднимала лодку, и в темноте я махал веслами по воздуху. Озеро было еще неспокойное, но я продолжал грести, пока нас вдруг чуть не прибило к скалистому выступу берега, торчавшему над водой; волны ударялись о него, высоко взлетали и падали вниз. Я сильно налег на правое весло, в то же время табаня левым, и мы отошли от берега; скала скрылась из виду, и мы снова плыли по озеру.

— Мы уже на другой стороне,— сказал я Кэтрин.

— А ведь мы должны были увидеть Палланцу?

— Она осталась за мысом.

— Ну, как ты, милый?

— Ничего!

— Я могу тебя немного сменить.

— Зачем? Не нужно.

— Бедная Фергюсон! — сказала Кэтрин.— Придет утром в отель, а нас уже нет.

— Это меня меньше беспокоит,— сказал я.— А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья, пока темно, чтобы нас не увидела таможенная стража.

— А далеко еще?

— Километров тридцать.

Я греб всю ночь. Мои ладони были до того стерты, что я с трудом сжимал в руках весла. Несколько раз мы едва не разбились о берег. Я держался довольно близко к берегу, боясь сбиться с пути и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что видели дорогу, идущую вдоль берега, и ряды деревьев вдоль дороги, и горы позади. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла луна, и, оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола, и озеро с белыми барашками, и далекие снежные вершины под луной. Потом небо опять заволокло тучами, и озеро и горные вершины исчезли, но было уже гораздо светлее, чем раньше, и виден был берег. Он был виден даже слишком ясно, и я отвел лодку подальше, чтобы ее не могла заметить с Палланцанской дороги таможенная стража, если она там была. Когда опять показалась луна, мы увидели белые виллы на берегу, по склонам гор, и белую дорогу в просветах между деревьями. Я греб не переставая.

Озеро стало шире, и на другом берегу у подножья горы мы увидели огни; это должно было быть Луино. Я увидел клинообразную расщелину между горами на другом берегу и решил, что, вероятно, это и есть Луино. Если так, то мы шли хорошим темпом. Я втащил весла в лодку и лег на спину. Я очень, очень устал грести. Руки, плечи, спина у меня болели, и ладони были стерты.

— А что, если раскрыть зонтик? — сказала Кэтрин.— Ветер будет дуть в него и гнать лодку.

— Ты сумеешь править?

— Наверно.

— Возьми это весло под мышку, прижми его вплотную к борту и так правь, а я буду держать зонтик.

Я перешел на корму и показал ей, как держать весло. Я сел лицом к носу лодки, взял большой зонт, который дал мне портье, и раскрыл его. Он хлопнул, раскрываясь. Я держал его с двух сторон за края, сидя верхом на ручке, которую зацепил за скамью. Ветер дул прямо в него, и, вцепившись изо всех сил в края, я почувствовал, как лодку понесло вперед. Зонт вырывался у меня из рук. Лодка шла очень быстро.

— Мы прямо летим,— сказала Кэтрин. Я не видел ничего, кроме спиц зонта. Зонт тянул и вырывался, и я чувствовал, как мы вместе с ним несемся вперед. Я уперся ногами и еще крепче вцепился в края, потом вдруг что-то затрещало; одна спица щелкнула меня по лбу, я хотел схватить верхушку, которая прогибалась на ветру, но тут все с треском вывернулось наизнанку, и там, где только что был полный, надутый ветром парус, я сидел теперь верхом на ручке вывернутого изодранного зонта. Я отцепил ручку от скамейки, положил зонт на дно и пошел к Кэтрин за веслом. Она хохотала. Она взяла меня за руку и продолжала хохотать.

— Чего ты? — Я взял у нее весло.

— Ты такой смешной был с этой штукой.

— Не удивительно.

— Не сердись, милый. Это было ужасно смешно. Ты казался футов двадцати в ширину и так горячо сжимал края зонтика...— Она задохнулась от смеха.

— Сейчас возьмусь за весла.

— Отдохни и выпей коньяку. Такая замечательная ночь, и мы столько уже проехали.

— Нужно поставить лодку поперек волны.

— Я достану бутылку. А потом ты немного отдохни.

Я поднял весла, и мы закачались на волнах. Кэтрин открыла чемодан. Она передала мне бутылку с коньяком. Я вытащил пробку перочинным ножом и отпил порядочный глоток. Коньяк был крепкий, и тепло разлилось по всему моему телу, и я согрелся и повеселел.

— Хороший коньяк.— сказал я. Луна опять зашла за тучу, но берег был виден. Впереди была стрелка, далеко выдававшаяся в озеро.

— Тебе не холодно, Кэт?

— Мне очень хорошо. Только ноги немножко затекли.

— Вычерпай воду со дна, тогда сможешь протянуть их.

Я снова стал грести, прислушиваясь к скрипу уключин и скрежету черпака о дно лодки под кормовой скамьей.

— Дай мне, пожалуйста, черпак,— сказал я.— Мне хочется пить.

— Он очень грязный.

— Ничего. Я его ополосну.

Я услышал, как Кэтрин ополаскивает черпак за бортом лодки. Потом она протянула его мне до краев полным воды. Меня мучила жажда после коньяка, а вода была холодная, как лед, такая холодная, что зубы заломило. Я посмотрел на берег. Мы приближались к стрелке. В бухте впереди видны были огни.

— Спасибо,— сказал я и передал ей черпак.

— Сделайте одолжение,— сказала Кэтрин.— Не угодно ли еще?

— Ты бы съела что-нибудь.

— Нет. Я пока еще не голодна. Надо приберечь еду на то время, когда я проголодаюсь.

— Ладно.

То, что издали казалось стрелкой, был длинный скалистый мыс. Я отъехал на середину озера, чтобы обогнуть его. Озеро здесь было гораздо уже. Луна опять вышла, и если guardia di Finanza[1] наблюдала с берега, она могла видеть, как наша лодка чернеет на воде.

— Как ты там, Кэт?

— Очень хорошо. Где мы?

— Я думаю, нам осталось не больше восьми миль.

---

[1] Таможенная стража *(итал.)*.

— Бедненький ты мой! Ведь это сколько еще грести. Ты еще жив?

— Вполне. Я ничего. Только вот ладони натер.

Мы ехали все время к северу. Горная цепь на правом берегу прервалась, отлогий спуск вел к низкому берегу, где, по моим расчетам, должно было находиться Каннобио. Я держался на большом расстоянии от берега, потому что в этих местах опасность встретить guardia была особенно велика. На другом берегу впереди была высокая куполообразная гора. Я устал. Грести оставалось немного, но когда уже выбьешься из сил, то и такое расстояние велико. Я знал, что нужно миновать эту гору и сделать еще по меньшей мере пять миль по озеру, прежде чем мы попадем наконец в швейцарские воды. Луна уже заходила, но перед тем, как она зашла, небо опять заволокло тучами, и стало очень темно. Я держался подальше от берега и время от времени отдыхал, подняв весла так, чтобы ветер ударял в лопасти.

— Дай я погребу немножко,— сказала Кэтрин.

— Тебе, пожалуй, нельзя.

— Глупости. Это мне даже полезно. Не будут так затекать ноги.

— Тебе, наверно, нельзя, Кэт.

— Глупости. Умеренные занятия греблей весьма полезны для молодых дам в период беременности.

— Ну, ладно, садись и греби умеренно. Я перейду на твое место, а потом ты иди на мое. Держись за борта, когда будешь переходить.

Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. Она гребла хорошо, но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел два сандвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще.

— Скажи мне, когда устанешь,— сказал я. Потом, спустя немного: — Смотри не ткни себя веслом в живот.

— Если б это случилось,— сказала Кэтрин между взмахами,— жизнь стала бы много проще.

Я выпил еще коньяку.

— Ну как?

— Хорошо.

— Скажи мне, когда надоест.

— Хорошо.

Я выпил еще коньяку, потом взялся за борта и пошел к середине лодки.

— Не надо. Мне так очень хорошо.

— Нет, иди на корму. Я отлично отдохнул.

Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко. Потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий смутный привкус желчи во рту, оттого что я слишком сильно греб после коньяка.

— Дай мне, пожалуйста, глоток воды,— сказал я.

— Хоть целое ведро.

Перед рассветом начало моросить. Ветер улегся, а может быть, нас теперь защищали горы, обступившие изгиб озера. Когда я понял, что приближается рассвет, я уселся поудобнее и налег на весла. Я не знал, где мы, и хотел скорей попасть в швейцарскую часть озера. Когда стало светать, мы были совсем близко от берега. Видны были деревья и каменистый спуск к воде.

— Что это? — сказала Кэтрин. Я поднял весла и прислушался. На озере стучал лодочный мотор. Мы подъехали к самому берегу и остановились. Стук приблизился; потом невдалеке от нашей кормы мы увидели под дождем моторную лодку. На корме сидели четыре guardia di Finanza в надвинутых шляпах альпийских стрелков, с поднятыми воротниками и с карабинами за спиной; все четверо казались сонными в этот ранний час. Мне видны были желтые знаки у них на воротниках и что-то желтое на шляпах. Стуча мотором, лодка проехала дальше и скрылась из виду под дождем.

Я отъехал к середине озера. Очевидно, граница была совсем близко, и я вовсе не хотел, чтоб нас окликнул с дороги часовой. Я выровнялся там, откуда берег был только виден, и еще три четверти часа греб под дождем. Один раз мы опять услышали моторную лодку, и я переждал, пока стук затих у другого берега.

— Кажется, мы уже в Швейцарии, Кэт,— сказал я.

— Правда?

— Точно нельзя сказать, пока мы не увидим швейцарскую армию.

— Или швейцарский флот.

— Ты не шути швейцарским флотом. Та моторная лодка, которую мы только что слышали, и была, наверно, швейцарский флот.

— Ну, если мы в Швейцарии, так, по крайней мере, позавтракаем на славу. В Швейцарии такие чудесные булочки, и масло, и варенье.

Было уже совсем светло, и шел мелкий дождь. Ветер все еще дул с юга, и видны были белые гребни барашков, уходившие от нас по озеру. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями в стороне от берега виднелись домики, а немного дальше на берегу было селение с каменными домами, несколькими виллами на холмах и церковью. Я смотрел, нет ли стражи на дороге, которая тянулась вдоль берега, но никого не было видно. Потом дорога подошла совсем близко к озеру, и я увидел солдата, выходившего из кафе у дороги. На нем была серо-зеленая форма и каска, похожая на немецкую. У него было здоровое, краснощекое лицо и маленькие усики щеточкой. Он посмотрел на нас.

— Помаши ему рукой,— сказал я Кэтрин. Она помахала, и солдат нерешительно улыбнулся и тоже помахал в ответ. Я стал грести медленнее. Мы проезжали мимо самого селения.

— Вероятно, мы уже давно в Швейцарии,— сказал я.

— Нужно знать наверняка, милый. Недостает еще, чтобы нас на границе вернули обратно.

— Граница далеко позади. Это, вероятно, таможенный пункт. Я почти убежден, что это Бриссаго.

— А нет ли здесь итальянцев? На таможенных пунктах всегда много народу из соседней страны.

— Не в военное время. Не думаю, чтоб сейчас итальянцам разрешали переходить границу.

Городок был очень хорошенький. У пристани стояло много рыбачьих лодок, и на рогатках развешаны были сети. Шел мелкий ноябрьский дождь, но здесь даже в дождь было весело и чисто.

— Тогда давай причалим и пойдем завтракать.

— Давай.

Я приналег на левое весло и подошел к берегу, потом, у самой пристани, выровнялся и причалил боком. Я втащил весла, ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин.

— Выходи, Кэт. Замечательное чувство.

— А чемоданы?

— Оставим в лодке.

Кэтрин вышла, и мы вместе вступили в Швейцарию.

— Какая прекрасная страна,— сказала она.

— Правда, замечательная?

— Пойдем скорей завтракать.

— Нет, правда замечательная страна? По ней как-то приятно ступать.

— У меня так затекли ноги, что я ничего не чувствую. Но, наверно, приятно. Милый, ты понимаешь, что мы уже здесь, что мы выбрались из этой проклятой Италии.

— Да. Честное слово, да. Я еще никогда так хорошо ничего не понимал.

— Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь! Вон там можно и позавтракать.

— А какой чудный дождь! В Италии никогда не бывает такого дождя. Это веселый дождь.

— И мы с тобой уже здесь, милый. Нет, ты понимаешь, что мы с тобой уже здесь?

Мы вошли в кафе и сели за чистенький деревянный столик. Мы были как пьяные. Вышла чудесная чистенькая женщина в переднике и спросила, что нам подать.

— Булочки, и варенье, и кофе,— сказала Кэтрин.

— Извините, булочек теперь нет — время военное.

— Тогда хлеба.

— Может быть, сделать гренки?

— Сделайте.

— И еще яичницу.

— Из скольких яиц угодно господину?
— Из трех.
— Лучше из четырех, милый.
— Из четырех яиц.
Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и очень крепко сжал ей руку. Мы смотрели друг на друга и по сторонам.
— Милый, ну скажи, разве не чудесно?
— Замечательно,— сказал я.
— Это ничего, что нет булочек,— сказала Кэтрин.— Я думала о них всю ночь. Но это ничего. Это совсем даже ничего.
— Вероятно, нас очень скоро арестуют.
— Не думай об этом, милый. Мы раньше позавтракаем. Быть арестованными после завтрака не так уж страшно. И потом, что они могут нам сделать? Я британская подданная, а ты американский, и у нас все в полном порядке.
— У тебя есть паспорт?
— Конечно. Ах, не будем говорить об этом. Давай радоваться.
— Я и так радуюсь изо всех сил,— сказал я.
Толстая серая кошка, распушив хвост султаном, прошла по комнате к нашему столу и, изогнувшись вокруг моей ноги, стала об нее тереться с довольным урчанием. Я наклонился и погладил кошку. Кэтрин радостно улыбнулась мне.
— А вот и кофе,— сказала она.
Нас арестовали после завтрака. Мы погуляли немного по городку и потом спустились к пристани за своими чемоданами. У лодки стоял на страже солдат.
— Это ваша лодка?
— Да.
— Откуда вы приехали?
— С той стороны озера.
— Вам придется пойти со мной.
— А чемоданы?
— Можете взять.
Я взял чемоданы, и Кэтрин пошла рядом со мной, а солдат позади нас, к старому дому, где была таможня. В таможне очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать.
— Ваша национальность?
— Американец и англичанка.
— Предъявите ваши паспорта.
Я дал свой, и Кэтрин достала свой из сумочки. Он долго рассматривал их.
— Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?
— Я спортсмен,— сказал я.— Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.
— Зачем вы приехали сюда?
— Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.
— Здесь не место для зимнего спорта.

— Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом.

— Что вы делали в Италии?

— Я изучал архитектуру. Моя кузина изучала искусство.

— Почему вы уехали оттуда?

— Мы хотим заниматься зимним спортом. В военное время трудно изучать архитектуру.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— сказал лейтенант. Он взял наши паспорта и вышел во внутреннюю дверь.

— Милый, ты неподражаем,— сказала Кэтрин,— на том и стой. Ты хочешь заниматься зимним спортом.

— Ты что-нибудь понимаешь в искусстве?

— Рубенс,— сказала Кэтрин.

— Много мяса,— сказал я.

— Тициан,— сказала Кэтрин.

— Тициановские волосы,— сказал я.— Ну, а Мантенья?

— Ты трудных не спрашивай,— сказала Кэтрин.— Но я все-таки знаю: очень страшный.

— Очень,— сказал я.— Масса дырок от гвоздей.

— Видишь, какая чудная у тебя будет жена,— сказала Кэтрин.— Я смогу беседовать об искусстве с твоими заказчиками.

— Вот он идет,— сказал я.

Худой лейтенант появился из глубины таможенного здания с нашими паспортами в руке.

— Мне придется отправить вас в Локарно,— сказал он.— Вы можете нанять экипаж, с вами вместе сядет солдат.

— Что ж, пожалуйста,— сказал я.— А как быть с лодкой?

— Лодка конфискована. Что у вас в этих чемоданах?

Он осмотрел содержимое обоих чемоданов и вынул бутылку с коньяком.

— Может быть, составите мне компанию? — спросил я.

— Нет, благодарю вас.— Он выпрямился.— Сколько у вас денег?

— Две с половиной тысячи лир.

— А у вашей кузины?

У Кэтрин было тысяча двести с лишним. Лейтенант остался доволен. Его обращение с нами стало менее высокомерным.

— Если вас интересует зимний спорт,— сказал он,— самое лучшее для этого место — Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год.

— Очень приятно,— сказал я.— Нельзя ли получить у вас адрес?

— Я вам напишу на карточке.— Он очень вежливо подал мне карточку.— Солдат вас проводит до Локарно. Ваши паспорта будут у него. Очень сожалею, но это необходимо. Я не сомневаюсь, что в Локарно вы получите визу или разрешение от полиции.

Он передал оба паспорта солдату, и, взяв чемоданы, мы направились к селению, чтобы там нанять экипаж.

— Эй! — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на диалекте. Солдат перекинул винтовку через плечо и подхватил наши чемоданы.

— Прекрасная страна,— сказал я Кэтрин.

— Практичная, во всяком случае.

— Очень вам благодарен,— сказал я лейтенанту. Он помахал нам рукой.

— К вашим услугам,— сказал он. Мы пошли за своим стражем наверх.

Мы поехали в Локарно в экипаже, с солдатом на переднем сиденье возле кучера. В Локарно все сошло неплохо. Нас допросили, но очень вежливо, потому что у нас были паспорта и деньги. Едва ли они поверили хоть одному моему слову, и я думал о том, как все это глупо, но это было все равно как в суде. Никаких разумных доводов не требовалось, требовалась только формальная отговорка, за которую можно было бы держаться без всяких объяснений. Мы имели паспорта и хотели тратить деньги. Поэтому нам дали временные визы. Эти визы в любой момент могли аннулировать. Мы должны были являться в полицию всюду, куда ни приедем.

Можем ли мы ехать, куда хотим? Да. А куда мы хотим ехать?

— Куда ты хочешь ехать, Кэт?

— В Монтре.

— Очень хороший город,— сказал чиновник.— Я думаю, что вам понравится этот город.

— Локарно тоже очень хороший город,— сказал другой чиновник.— Я уверен, что вам очень понравится Локарно. Это очень красивый город.

— Нам нравится там, где можно заниматься зимним спортом.

— В Монтре не занимаются зимним спортом.

— Прошу прощения,— сказал первый чиновник.— Я сам из Монтре. На Монтре-Оберланд-Бернской железной дороге, безусловно, есть условия для зимнего спорта. С вашей стороны нечестно было бы отрицать это.

— Я и не отрицаю. Я просто говорю, что в Монтре не занимаются зимним спортом.

— Я оспариваю это,— сказал первый чиновник.— Я оспариваю это утверждение.

— Я настаиваю на этом утверждении.

— Я оспариваю это утверждение. Я сам катался на luge [1] по улицам Монтре. Я совершал это неоднократно. Luge, безусловно, один из видов зимнего спорта.

Второй чиновник обернулся ко мне.

— Вы имели в виду luge, говоря о зимнем спорте, сэр? Уверяю вас, в Локарно вам будет чрезвычайно удобно. Вы найдете

[1] Небольшие швейцарские санки *(франц.)*.

здесь здоровый климат, вы найдете здесь красивые окрестности. Вам здесь очень понравится.

— Господин сам выразил желание ехать в Монтре.

— А что такое luge? — спросил я.

— Вы видите, он даже никогда не слыхал о luge.

Это очень понравилось второму чиновнику. Он торжествовал.

— Luge,— сказал первый чиновник,— это то же, что тобогган.

— Должен возразить,— покачал головой второй чиновник.— Здесь я опять должен возразить. Тобогган очень отличается от luge. Тобогган делается в Канаде из плоских планок. Luge — это обыкновенные салазки на полозьях. Точность прежде всего.

— А нельзя ли нам кататься на тобоггане? — спросил я.

— Конечно, можно и на тобоггане,— сказал первый чиновник.— Вполне можно кататься на тобоггане. В Монтре продаются отличные канадские тобогганы. Братья Окс торгуют тобогганами. Они сами импортируют тобогганы.

Второй чиновник отвернулся.

— Для катания на тобоггане,— сказал он,— требуется специальная piste [1]. Нельзя кататься на тобоггане по улицам Монтре. Где вы остановились?

— Мы еще сами не знаем,— сказал я.— Мы только что приехали из Бриссаго. Экипаж ждет на улице.

— Вы не пожалеете о том, что едете в Монтре,— сказал первый чиновник.— Вы найдете там прекрасный мягкий климат. Вам не нужно будет далеко ходить, если вы захотите заниматься зимним спортом.

— Если вас действительно интересует зимний спорт,— сказал второй чиновник,— поезжайте в Энгадин или Мюррен. Я вынужден протестовать против данного вам совета ехать в Монтре для зимнего спорта.

— В Лез-Аван над Монтре превосходные условия для любого зимнего спорта.— Патриот Монтре яростно взглянул на своего коллегу.

— Господа,— сказал я.— К сожалению, мы должны ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискнем отправиться в Монтре.

— Приветствую ваше решение.— Первый чиновник пожал мне руку.

— Полагаю, что вы будете сожалеть об отъезде из Локарно,— сказал второй чиновник.— Во всяком случае, в Монтре вам придется явиться в полицию.

— Никаких недоразумений с полицией у вас не будет,— уверил меня первый чиновник.— Со стороны населения вы встретите исключительное радушие и дружелюбие.

— Большое спасибо вам обоим,— сказал я.— Ваши советы для нас очень ценны.

— До свидания,— сказала Кэтрин.

---

[1] Дорожка *(франц.)*.

— Большое спасибо вам обоим.

Они проводили нас поклонами до дверей, патриот Локарно с некоторой холодностью. Мы спустились по лестнице и сели в экипаж.

— О господи, милый! — сказала Кэтрин.— Неужели нельзя было выбраться оттуда раньше? — Я дал кучеру адрес отеля, рекомендованного нам одним из чиновников. Кучер подобрал вожжи.

— Ты забыл про армию,— сказала Кэтрин. Солдат стоял у экипажа. Я дал ему десять лир.

— У меня еще нет швейцарских денег,— сказал я. Он поблагодарил, взял под козырек и ушел. Экипаж тронулся, и мы поехали в отель.

— Что это тебе вздумалось сказать про Монтре? — спросил я Кэтрин.— Ты действительно хочешь туда ехать?

— Это было первое, что мне пришло в голову,— сказала она.— Там неплохо. Мы можем поселиться где-нибудь наверху, в горах.

— Тебе хочется спать?

— Я уже засыпаю.

— Мы хорошо выспимся. Бедная ты моя Кэт! Досталось тебе этой ночью.

— Мне было очень весело,— сказала Кэтрин.— Особенно когда ты сидел с зонтиком.

— Ты понимаешь, что мы в Швейцарии?

— Нет, мне все кажется: вот я проснусь, и это все неправда.

— И мне тоже.

— Но ведь это правда, милый? Это ведь не на Миланский вокзал я еду провожать тебя?

— Надеюсь, что нет.

— Не говори так. Я боюсь. Вдруг это в самом деле так.

— Я точно пьяный и ничего не соображаю,— сказал я.

— Покажи свои руки.

Я протянул ей обе руки. Они были стерты до живого мяса.

— Только в боку раны нет,— сказал я.

— Не богохульствуй.

Я очень устал, и у меня кружилась голова. Все мое оживление пропало. Экипаж катился по улице.

— Бедные руки! — сказала Кэтрин.

— Не трогай их,— сказал я.— Что за черт, я не пойму, где мы. Куда мы едем, кучер?

Кучер остановил лошадь.

— В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?

— Да, да,— сказал я.— Все в порядке, Кэт.

— Все в порядке, милый. Не волнуйся. Мы хорошо выспимся, и завтра ты уже не будешь точно пьяный.

— Я совсем пьяный,— сказал я.— Весь этот день похож на оперетту. Может быть, я голоден.

— Ты просто устал, милый. Это все пройдет.

Экипаж остановился у отеля. Мальчик вышел взять наши чемоданы.

— Уже проходит,— сказал я. Мы были на мостовой и шли к отелю.

— Я знала, что пройдет. Ты просто устал. Тебе нужно выспаться.

— Во всяком случае, мы в Швейцарии.

— Да, мы действительно в Швейцарии.

Вслед за мальчиком с чемоданами мы вошли в отель.

КНИГА ПЯТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В ту осень снег выпал очень поздно. Мы жили в деревянном домике среди сосен на склоне горы, и по ночам бывали заморозки, так что вода в двух кувшинах на умывальнике покрывалась к утру тонкой корочкой льда. Madame Гуттинген рано утром входила в комнату, чтобы закрыть окна, и разводила огонь в высокой изразцовой печке. Сосновые дрова трещали и разгорались, и огонь в печке начинал гудеть, и madame Гуттинген во второй раз входила в комнату, неся толстые поленья для печки и кувшин с горячей водой. Когда комната нагревалась, она приносила завтрак. Завтракая в постели, мы видели озеро и горы по ту сторону озера, на французском берегу. На вершинах гор лежал снег, и озеро было серое со стальной синевой.

Снаружи, перед самым домом, проходила дорога. От мороза колеи и борозды были твердые, как камень, и дорога упорно лезла вверх через рощу и потом, опоясав гору, выбиралась туда, где были луга, и сараи, и хижины в лугах на опушке леса, над самой долиной. Долина была глубокая, и на дне ее протекала речка, впадавшая в озеро, и когда ветер дул из долины, слышно было, как речка шумит по камням.

Иногда мы сворачивали с дороги и шли тропинкой через сосновую рощу. В роще земля под ногами была мягкая: она не отвердела от мороза, как на дороге. Но нам не мешало то, что земля на дороге твердая, потому что подошвы и каблуки у нас были подбиты гвоздями, и гвозди вонзались в мерзлую землю, и в подбитых гвоздями башмаках идти по дороге было приятно и как-то бодрило. Но идти рощей было тоже очень хорошо.

От дома, в котором мы жили, начинался крутой спуск к небольшой равнине у озера, и в солнечные дни мы сидели на веранде, и нам было видно, как вьется дорога по горному склону, и виден был склон другой горы и расположенные террасами виноградники, где все лозы уже высохли по-зимнему, и поля, раз-

деленные каменными оградами, и пониже виноградников городские дома на узкой равнине у берега озера. На озере был островок с двумя деревьями, и деревья были похожи на двойной парус рыбачьей лодки. Горы по ту сторону озера были крутые и остроконечные, и у южного края озера длинной впадиной между двумя горными кряжами лежала долина Роны, а в дальнем конце, там, где долину срезали горы, был Дан-дю-Миди. Это была высокая снежная гора, и она господствовала над долиной, но она была так далеко, что не отбрасывала тени.

Когда было солнечно, мы завтракали на веранде, но остальное время мы ели наверху, в маленькой комнатке с дощатыми стенами и большой печкой в углу. Мы накупили в городе журналов и книг и выучились многим карточным играм для двоих. Маленькая комната с печкой была нашей гостиной и столовой. Там было два удобных кресла и столик для журналов и книг, а в карты мы играли на обеденном столе, после того как уберут посуду. Monsieur и madame Гуттинген жили внизу, и вечерами мы иногда слышали, как они разговаривают, и они тоже были очень счастливы вдвоем. Он когда-то был обер-кельнером, а она работала горничной в том же отеле, и они скопили деньги на покупку этого дома. У них был сын, который готовился стать обер-кельнером. Он служил в отеле в Цюрихе. Внизу было помещение, где торговали вином и пивом, и по вечерам мы иногда слышали, как на дороге останавливались повозки и мужчины поднимались по ступенькам в дом пропустить стаканчик.

В коридоре перед нашей комнатой стоял ящик с дровами, и оттуда я брал поленья, чтоб подбрасывать в печку. Но мы не засиживались поздно. Мы ложились спать в нашей большой спальне, не зажигая огня, и, раздевшись, я открывал окна, и смотрел в ночь, и на холодные звезды, и на сосны под окнами, и потом как можно быстрее ложился в постель. Хорошо в постели, когда воздух такой холодный и чистый, а за окном ночь. Мы спали крепко, и если ночью я просыпался, то знал отчего, и тогда я отодвигал пуховик, очень осторожно, чтобы не разбудить Кэтрин, и опять засыпал, с новым чувством легкости от тонкого одеяла. Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег.

Иногда мы спускались по склону горы в Монтре. От самого дома вела вниз тропинка, но она была очень крутая, и обычно мы предпочитали спускаться по дороге и шли широкой, отверделой от мороза дорогой между полями, а потом между каменными оградами виноградников и еще ниже между домиками лежащих у дороги деревень. Деревень было три: Шернэ, Фонтаниван и еще одна, забыл какая. Потом все той же дорогой мы проходили мимо старого, крепко сбитого каменного château на выступе горы, среди расположенных террасами виноградников, где каждая лоза была подвязана к тычку, и все лозы были сухие и бурые, и земля ожидала снега, а внизу, в глубине, лежало озеро, гладкое и серое,

как сталь. От château дорога шла вниз довольно отлого, а потом сворачивала вправо, и дальше был вымощенный булыжником очень крутой спуск прямо к Монтре.

У нас не было никого знакомых в Монтре. Мы шли по берегу озера и видели лебедей, и бесчисленных чаек, и буревестников, которые взлетали, как только подойдешь поближе, и жалобно кричали, глядя вниз, на воду. Поодаль от берега плыли стаи гагар, маленьких и темных, оставляя за собой след на воде. Придя в город, мы пошли по главной улице и рассматривали витрины магазинов. Там было много больших отелей, теперь закрытых, но магазины почти все были открыты, и нам везде были очень рады. Была очень хорошая парикмахерская, и Кэтрин зашла туда причесаться. Хозяйка парикмахерской встретила ее очень приветливо, это была наша единственная знакомая в Монтре. Пока Кэтрин причесывалась, я сидел в пивном погребке и пил темное мюнхенское пиво и читал газеты. Я читал «Корьере делла сера» и английские и американские газеты из Парижа. Все объявления были замазаны типографской краской, вероятно, чтобы нельзя было использовать их для сношений с неприятелем. Это было невеселое чтение. Дела везде обстояли невесело. Я сидел в уголке с большой кружкой темного пива и вскрытым бумажным пакетом pretzels[1] и ел pretzels, потому что мне нравился их солоноватый привкус и то, каким вкусным от них становилось пиво, и читал о разгроме. Я думал, что Кэтрин зайдет за мной, но она не заходила, и я положил газеты на место, заплатил за пиво и пошел искать ее. День был холодный, и сумрачный, и зимний, и камень стен казался холодным. Кэтрин все еще была в парикмахерской. Хозяйка завивала ей волосы. Я сидел в кабинетике и смотрел. Это меня волновало, и Кэтрин улыбалась и разговаривала со мной, и голос у меня был немного хриплый от волнения. Щипцы приятно позвякивали, и я видел волосы Кэтрин в трех зеркалах, и в кабинетике было тепло и приятно. Потом хозяйка уложила Кэтрин волосы, и Кэтрин посмотрела в зеркало и немножко изменила прическу, вынимая и вкалывая шпильки; потом встала.

— Мне прямо совестно, что я так долго.

— Monsieur было очень интересно. Разве нет, monsieur? — улыбнулась хозяйка.

— Да,— сказал я.

Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер.

— Ты даже не знаешь, как я тебя люблю,— сказал я.

— Ведь, правда, нам теперь очень хорошо? — сказала Кэтрин.— Знаешь что? Давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пива. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти.

— Маленькая Кэтрин,— сказал я.— Вот лентяйка!

[1] Род печенья *(нем.)*.

— Она умница,— сказала Кэтрин.— Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти.

— Ты правда не давай ей расти, и если она будет мальчик, он сможет стать жокеем.

Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться,— сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за столиком в углу. На улице уже темнело. Было рано, но день был сумрачный, и вечер рано наступил.

— Давай поженимся теперь,— сказал я.

— Нет,— сказала Кэтрин.— Теперь неудобно. Уже слишком заметно. Не пойду я такая в мэрию.

— Жаль, что мы раньше не поженились.

— Пожалуй, так было бы лучше. Но когда же мы могли, милый?

— Не знаю.

— А я знаю только одно. Не пойду я в мэрию такой почтенной матроной.

— Какая же ты матрона?

— Самая настоящая, милый. Парикмахерша спрашивала, первый ли это у нас. Я ей сказала, что у нас уже есть два мальчика и две девочки.

— Когда же мы поженимся?

— Как только я опять похудею. Я хочу, чтобы у нас была великолепная свадьба и чтоб все думали: какая красивая пара.

— Но тебя это не огорчает?

— А отчего же мне огорчаться, милый? У меня только единственный раз было скверно на душе, это в Милане, когда я почувствовала себя девкой, и то через пять минут все прошло, и потом тут больше всего была виновата комната. Разве я плохая жена?

— Ты чудная жена.

— Вот и не думай о формальностях, милый. Как только я опять похудею, мы поженимся.

— Хорошо.

— Как ты думаешь, выпить мне еще пива? Доктор сказал, что у меня таз узковат, так что лучше не давать маленькой Кэтрин очень расти.

— Что он еще сказал? — Я встревожился.

— Ничего. У меня замечательное кровяное давление, милый. Он в восторге от моего кровяного давления.

— А что еще он сказал насчет узкого таза?

— Ничего. Совсем ничего. Он сказал, что мне нельзя ходить на лыжах.

— Правильно.

— Он сказал, что теперь уже поздно начинать, если я до сих пор не ходила. Он сказал, что ходить бы на лыжах можно, только падать нельзя.

— Он шутник, твой доктор.

— Нет, в самом деле, он очень славный. Мы его позовем, когда придет время родиться маленькому.
— Ты его не спрашивала, пожениться ли нам?
— Нет. Я ему сказала, что мы женаты четыре года. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя, я стану американкой, а по американским законам, когда б мы ни поженились,— ребенок считается законным.
— Где ты это вычитала?
— В нью-йоркском «Уорлд алманак» в библиотеке.
— Ты просто прелесть.
— Я очень рада, что буду американкой. И мы поедем в Америку, правда, милый? Я хочу посмотреть Ниагарский водопад.
— Ты прелесть.
— Я еще что-то хотела посмотреть, только я забыла что.
— Бойни?
— Нет. Я забыла.
— Небоскреб Вулворта?
— Нет.
— Большой Каньон?
— Нет. Но и это тоже.
— Что же тогда?
— Золотые ворота! Вот что я хотела посмотреть. Где это Золотые ворота?
— В Сан-Франциско.
— Ну, так поедем туда. И вообще я хочу посмотреть Сан-Франциско.
— Отлично. Туда мы и поедем.
— А теперь давай поедем на вершину горы. Хорошо?
— В пять с минутами есть поезд.
— Вот на нем и поедем.
— Ладно. Я только выпью еще пива.
Когда мы вышли, и пошли по улице, и стали подниматься по лестнице к станции, было очень холодно. Холодный ветер дул из Ронской долины. В витринах магазинов горели огни, и мы поднялись по крутой каменной лестнице на верхнюю улицу и потом по другой лестнице к станции. Там уже стоял электрический поезд, весь освещенный. На большом циферблате было обозначено время отхода. Стрелки показывали десять минут шестого. Я посмотрел на станционные часы. Было пять минут шестого. Когда мы садились в вагон, я видел, как вагоновожатый и кондуктор вышли из буфета. Мы уселись и открыли окно. Вагон отапливался электричеством, и в нем было душно, но в окно входил свежий холодный воздух.
— Ты устала, Кэт? — спросил я.
— Нет. Я себя великолепно чувствую.
— Нам не долго ехать.
— Я с удовольствием проедусь,— сказала она.— Не тревожься обо мне, милый. Я себя чувствую прекрасно.

Снег выпал только за три дня до рождества. Как-то утром мы проснулись, и шел снег. В печке гудел огонь, а мы лежали в постели и смотрели, как сыплет снег. Madame Гуттинген убрала посуду после завтрака и подбросила в печку дров. Это была настоящая снежная буря. Madame Гуттинген сказала, что она началась около полуночи. Я подошел к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мело со всех сторон. Я снова лег в постель, и мы лежали и разговаривали.

— Хорошо бы походить на лыжах,— сказала Кэтрин.— Такая досада, что мне нельзя на лыжах.

— Мы достанем санки и съедем по дороге вниз. Это для тебя не опаснее, чем в автомобиле.

— А трясти не будет?

— Можно попробовать.

— Хорошо бы, не трясло.

— Немного погодя можно будет выйти погулять по снегу.

— Перед обедом,— сказала Кэтрин,— для аппетита.

— Я и так всегда голоден.

— И я тоже.

Мы вышли в метель. Повсюду намело сугробы, так что нельзя было уйти далеко. Я пошел вперед, протаптывая дорожку, но пока мы добрались до станции, нам пришлось довольно долго идти. Мело так, что невозможно было раскрыть глаза, и мы вошли в маленький кабачок у станции и, метелкой стряхнув друг с друга снег, сели на скамью и спросили вермуту.

— Сегодня сильная буря,— сказала кельнерша.

— Да.

— Снег поздно выпал в этом году.

— Да.

— Что, если я съем плитку шоколада? — спросила Кэтрин.— Или уже скоро завтрак? Я всегда голодна.

— Можешь съесть одну,— сказал я.

— Я возьму с орехами,— сказала Кэтрин.

— О орехами очень вкусный,— сказала девушка.— Я больше всего люблю с орехами.

— Я выпью еще вермуту,— сказал я.

Когда мы вышли, чтоб идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал monsieur Гуттинген.

— Завтра можно будет пойти на лыжах,— сказал он.— Вы ходите на лыжах, мистер Генри?

— Нет. Но я хочу научиться.

— Вы научитесь очень легко. Мой сын приезжает на рождество, он вас научит.

— Чудесно. Когда он должен приехать?

— Завтра вечером.

Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала:

— Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый, побыть среди мужчин, походить на лыжах?

— Зачем мне это?

— Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей?

— А тебе хочется повидать других людей?

— Нет.

— И мне нет.

— Я знаю. Но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем.

— Ты хочешь, чтоб я уехал?

— Нет, я хочу, чтоб ты был со мной.

— Ну, так я и не поеду никуда.

— Иди сюда,— сказала она.— Я хочу пощупать шишку у тебя на голове. Большая все-таки шишка.— Она провела по ней пальцами.— Милый, почему бы тебе не отпустить бороду?

— Тебе хочется?

— Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой.

— Ладно. Отпущу бороду. Сейчас же сию минуту начну отпускать. Это идея. Теперь у меня будет занятие.

— Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия?

— Нет. Я очень доволен. Мне очень хорошо. А тебе?

— Мне чудесно. Но я все боюсь, может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной?

— Ох, Кэт! Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю.

— Даже теперь?

— И теперь и всегда. И я вполне счастлив. Разве нам не хорошо тут?

— Очень хорошо, но мне все кажется, что ты какой-то неспокойный.

— Нет. Я иногда вспоминаю фронт и разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю.

— Кого ты вспоминаешь?

— Ринальди, и священника, и еще всяких людей. Но долго я о них не думаю. Я не хочу думать о войне. Я покончил с ней.

— О чем ты сейчас думаешь?

— Ни о чем.

— Нет, ты думал о чем-то. Скажи.

— Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис.

— И все?

— Да.

— А у него сифилис?

— Не знаю.

— Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было?

— У меня был триппер.

— Я не хочу об этом слышать. Тебе очень больно было, милый?

— Очень.

— Я б хотела, чтоб у меня тоже был.

— Не выдумывай.

— Нет, правда. Я б хотела, чтобы у меня все было, как у тебя. Я б хотела знать всех женщин, которых ты знал, чтоб потом высмеивать их перед тобой.

— Вот это красиво.

— А что у тебя был триппер, красиво?

— Нет. Смотри, как снег идет.

— Я лучше буду смотреть на тебя. Милый, что, если б ты отпустил волосы?

— То есть как?

— Ну, немножко подлиннее.

— Они и так длинные.

— Нет, отпусти их немного длиннее, а я остригусь, и мы будем совсем одинаковые, только один светлый, а другой темный.

— Я не хочу, чтоб ты остриглась.

— А это, может быть, забавно. Мне надоели волосы. Ночью в постели они ужасно мешают.

— Мне нравится так.

— А с короткими бы тебе не понравилось?

— Может быть. Мне нравится, как сейчас.

— Может быть, с короткими лучше. И мы были бы оба одинаковые. Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой.

— Я никогда не уеду,— сказал я.— Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни.

— Я хочу, чтобы у тебя была жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь. Но это будет наша общая жизнь, правда?

— Ну как, перестать мне отпускать бороду или пусть растет?

— Пусть растет. Отпускай. Это так интересно. Может быть, она вырастет к Новому году.

— Хочешь, сыграем в шахматы?

— Лучше в другую игру.

— Нет. Давай в шахматы.

— А потом в другую?

— Да.

— Ну, хорошо.

Я достал шахматную доску и расставил фигуры. За окном по-прежнему валил снег.

Как-то раз я среди ночи проснулся и почувствовал, что Кэтрин тоже не спит. Луна светила в окно, и на постель падали тени от оконного переплета.

— Ты не спишь, дорогой?

— Нет. А ты не можешь заснуть?

— Я только что проснулась и думаю о том, какая была сумасшедшая, когда мы встретились. Помнишь?

— Ты была чуть-чуть сумасшедшая.

— Теперь со мной никогда такого не бывает. Теперь у меня все замечательно. Ты так чудно говоришь это слово. Скажи «замечательно».

— Замечательно.

— Ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень, очень, очень счастлива.

— Ну спи,— сказал я.

— Ладно. Давай заснем оба сразу.

— Ладно.

Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Потом я тоже заснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

К середине января я уже отрастил бороду, и установились наконец по-зимнему холодные, яркие дни и холодные, суровые ночи. Снова можно было ходить по дорогам. Снег стал твердый и гладкий, укатанный полозьями саней и бревнами, которые волокли с горы вниз. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтре. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки по другому склону горы до Бэн-де-л'Альяз. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ и брала с собой палку с острым стальным наконечником. Под плащом ее полнота не была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала.

В Бэн-де-л'Альяз был кабачок под деревьями, куда заходили выпить лесорубы, и мы сидели там, греясь у печки, и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют Glühwein, и это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье. В кабачке было темно и дымно, и потом, когда мы выходили, холодный воздух обжигал легкие и кончик носа при дыхании немел. Мы оглядывались на кабачок, где во всех окнах горел свет, и у входа лошади лесорубов били копытами, чтоб согреться, и мотали головой. Волоски на их мордах были покрыты инеем, и пар от их дыхания застывал в воздухе. На обратном пути дорога была гладкая и скользкая, и лед был

оранжевый от лошадиной мочи до самого поворота, где тропа, по которой волокли бревна, уходила в сторону. Дальше дорога была покрыта плотно укатанным снегом и вела через лес, и два раза, возвращаясь вечером домой, мы видели лисицу.

Это был славный край, и когда мы выходили гулять, нам всегда было очень весело.

— У тебя замечательная борода,— сказала Кэтрин.— Совсем как у лесорубов. Ты видел того, в золотых сережках?

— Это охотник на горных козлов,— сказал я.— Они носят серьги, потому что это будто бы обостряет слух.

— Неужели? Вряд ли это так. По-моему, они носят их, чтоб всякий знал, что они охотники на горных козлов. А здесь водятся горные козлы?

— Да, за Дан-де-Жаман.

— Как забавно, что мы видели лисицу.

— А лисица, когда спит, обертывает свой хвост вокруг тела, и ей тепло.

— Вот, должно быть, приятно.

— Мне всегда хотелось иметь такой хвост. Что, если б у нас были хвосты, как у лисиц?

— А как же тогда одеваться?

— Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения.

— Мы и сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, правда, милый?

— Да.

— Давай посидим минутку. Я немножко устала.

Мы сидели на бревне совсем рядом. Впереди дорога уходила в лес.

— Она не будет мешать нам, малышка? Как ты думаешь?

— Нет. Мы ей не позволим.

— Как у нас с деньгами?

— Денег куча. Я уже получил по последнему чеку.

— А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии.

— Возможно. Я им напишу как-нибудь.

— Разве ты еще не написал?

— Нет. Только послал чек на подпись.

— Слава богу, что я тебе не родственница.

— Я дам им телеграмму.

— Разве ты их совсем не любишь?

— Раньше любил, но мы столько ссорились, что ничего не осталось.

— Мне кажется, что они бы мне понравились. Наверно, они бы мне очень понравились.

— Давай не будем о них говорить, а то я начну о них тревожиться.— Немного погодя я сказал: — Пойдем, если ты отдохнула.

— Я отдохнула.

Мы пошли по дороге дальше. Было уже темно, и снег скрипел под ногами. Ночь была сухая, и холодная, и очень ясная.

— Мне очень нравится твоя борода,— сказала Кэтрин.— Просто прелесть. На вид жесткая и колючая, а на самом деле мягкая и такая приятная.

— По-твоему, так лучше, чем без бороды?

— Пожалуй, лучше. Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин. Я теперь слишком толстая и похожа на матрону. Но когда она родится и я опять похудею, непременно остригусь, и тогда у тебя будет совсем другая, новая девушка. Мы пойдем с тобой вместе, и я остригусь, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз.

Я молчал.

— Ты ведь не запретишь мне, правда?

— Нет. Может быть, мне даже понравится.

— Ну, какой же ты милый! А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькая и так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься.

— О черт! — сказал я.— Я и так в тебя достаточно влюблен. Чего ты еще хочешь? Чтоб я совсем потерял голову?

— Да. Я хочу, чтоб ты потерял голову.

— Ну и пусть,— сказал я.— Я сам этого хочу.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолгие оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь. Дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной нависли тучи. Высоко в горах шел дождь. Кэтрин надела глубокие калоши, а я резиновые сапоги monsieur Гуттингена, и мы под зонтиком, по грязи и воде, размывавшей лед на дороге, пошли в кабачок у станции выпить вермуту перед завтраком. Было слышно, как за окном идет дождь.

— Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город?

— А ты как думаешь? — спросила Кэтрин.

— Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет нехорошо. Сколько еще до маленькой Кэтрин?

— Около месяца. Может быть, немножко больше.

— Можно спуститься вниз и поселиться в Монтре.

— А почему не в Лозанне? Ведь больница там.

— Можно и в Лозанне. Я просто думал, не слишком ли это большой город.

— Мы и в большом городе можем быть одни, а в Лозанне, наверно, славно.

— Когда же мы переедем?

— Мне все равно. Когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь.

— Посмотрим, как погода.

Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром на третий день дождя мы решили переехать в город.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, monsieur Генри,— сказал Гуттинген.— Никакого предупреждения не нужно. Я и не думал, что вы останетесь здесь, раз уж погода испортилась.

— Нам нужно быть поближе к больнице из-за madame,— сказал я.

— Ну конечно,— сказал он.— Может быть, еще приедете как-нибудь вместе с маленьким.

— Если только найдется место.

— Весной тут у нас очень славно, приезжайте, вам понравится. Можно будет устроить маленького с няней в большой комнате, которая теперь заперта, а вы с madame займете свою прежнюю, с видом на озеро.

— Я вам напишу заранее,— сказал я.

Мы уложились и уехали с первым поездом после обеда. Monsieur и madame Гуттинген проводили нас на станцию, и он довез наши вещи на санках по грязи. Они оба стояли у станции под дождем и махали нам на прощанье.

— Они очень славные,— сказала Кэтрин.

— Они были очень добры к нам.

В Монтре мы сели на лозаннский поезд. Из окна вагона нельзя было видеть горы в той стороне, где мы жили, потому что мешали облака. Поезд остановился в Веве, потом пошел дальше, и с одной стороны пути было озеро, а с другой — мокрые бурые поля, и голый лес, и мокрые домики. Мы приехали в Лозанну и остановились в небольшом отеле. Когда мы проезжали по улицам и потом свернули к отелю, все еще шел дождь. Портье с медными ключами на цепочке, продетой в петлицу, лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спальня — все это после Гуттингенов показалось нам необычайной роскошью. Окна номера выходили в мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой сверху. На другой стороне круто спускавшейся улицы был другой отель, с такой же стеной и решеткой. Я смотрел, как капли дождя падают в бассейн в саду.

Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски с содовой, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года, и немцы наступали во Франции. Я пил виски с содовой и читал, пока Кэтрин раскладывала вещи и возилась в комнате.

— Знаешь, милый, о чем мне придется подумать,— сказала она.

— О чем?
— О детских вещах. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени.
— Это ведь можно купить.
— Я знаю. Завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно.
— Тебе следовало бы знать. Ведь ты же была сестрой.
— Да, но, знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале.
— А я?
Она запустила в меня подушкой и расплескала мое виски с содовой.
— Я сейчас закажу тебе другое,— сказала она.— Извини, пожалуйста.
— Там уже немного оставалось. Иди сюда, ко мне.
— Нет. Я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похожа.
— На что?
— На наш с тобой дом.
— Вывесь флаги Антанты.
— Заткнись, пожалуйста.
— А ну повтори еще раз.
— Заткнись.
— Ты так осторожно это говоришь,— сказал я,— как будто боишься обидеть кого-то.
— Ничего подобного.
— Ну, тогда иди сюда, ко мне.
— Ладно.— Она подошла и села на кровати.— Я знаю, что тебе теперь со мной неинтересно, милый. Я похожа на пивную бочку.
— Неправда. Ты красивая, и ты очень хорошая.
— Я просто уродина, на которой ты по неосторожности женился.
— Неправда. Ты становишься все красивее.
— Но я опять похудею, милый.
— Ты и теперь худая.
— Ты, должно быть, выпил.
— Только стакан виски с содовой.
— Сейчас принесут еще виски,— сказала она.— Может быть, сказать, чтоб нам и обед сюда подали?
— Очень бы хорошо.
— Тогда мы совсем не будем выходить сегодня, ладно? Просидим вечер дома.
— И поиграем,— сказал я.
— Я выпью вина,— сказала Кэтрин.— Ничего мне от этого не будет. Может быть, тут есть наше белое капри.
— Наверно, есть,— сказал я.— В таком отеле всегда бывают итальянские вина.

Кельнер постучал в дверь. Он принес виски в стакане со льдом и на том же подносе маленькую бутылку содовой.

— Спасибо,— сказал я.— Поставьте здесь. Будьте добры, принесите сюда обед на две персоны и две бутылки сухого белого капри во льду.

— Прикажете на первое — суп?

— Ты хочешь суп, Кэт?

— Да, пожалуйста.

— Один суп.

— Слушаю, сэр.

Он вышел и затворил двери. Я вернулся к газетам и к войне в газетах и медленно лил содовую в стакан со льдом и виски. Надо было сказать, чтобы не клали лед в виски. Принесли бы лед отдельно. Тогда можно определить, сколько в стакане виски, и оно не окажется вдруг слишком слабым от содовой. Надо будет купить бутылку виски и сказать, чтобы принесли только лед и содовую. Это лучше всего. Хорошее виски — приятная вещь. Одно из самых приятных явлений жизни.

— О чем ты думаешь, милый?

— О виски.

— А о чем именно?

— О том, какая славная вещь виски.

Кэтрин сделала гримасу.

— Ладно,— сказала она.

Мы прожили в этом отеле три недели. Там было недурно: ресторан обычно пустовал, и мы очень часто обедали у себя в номере. Мы гуляли по городу, и ездили трамваем в Уши, и гуляли над озером. Погода стояла совсем теплая, и было похоже на весну. Мы жалели, что уехали из своего шале в горах, но весенняя погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени.

Кэтрин закупала все необходимое для ребенка. Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В мнимо весенние дни очень приятно было после бокса и душа пройтись по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть и посмотреть на людей, и прочесть газету, и выпить вермуту; а потом вернуться в отель и позавтракать с Кэтрин. Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть, прыгал через веревку, и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой.

Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне.

Иногда мы с Кэтрин ездили в экипаже по окрестностям. В хорошую погоду ездить было приятно, и мы нашли два славных местечка, куда можно было заехать пообедать. Кэтрин уже не могла много ходить, и я с удовольствием ездил с ней вместе по деревенским дорогам.

Если день был хороший, мы чудесно проводили время, и ни разу мы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко, и от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Как-то я проснулся около трех часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается на постели.

— Тебе нездоровится, Кэт?

— У меня как будто схватки, милый.

— Регулярно?

— Нет, не совсем.

— Если пойдут регулярно, нужно ехать в больницу.

Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова.

— Ты, может, позвонишь доктору,— сказала Кэтрин.— Может, это уже начинается.

Я подошел к телефону и позвонил доктору.

— Как часто повторяются схватки? — спросил он.

— Как часто, Кэт?

— Примерно каждые пятнадцать минут.

— Тогда поезжайте в больницу,— сказал доктор.— Я сейчас оденусь и тоже приеду туда.

Я повесил трубку и потом позвонил в привокзальный гараж, чтобы вызвать такси. Долгое время никто не подходил к телефону. Наконец я добился какого-то человека, который обещал сейчас же выслать машину. Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Мы вышли в коридор, и я позвонил лифтеру. Ответа не было. Я сошел вниз. Внизу никого не было, кроме ночного швейцара. Я сам поднялся в лифте наверх, внес в кабину чемодан Кэтрин, она вошла, и мы спустились вниз. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца и стали ждать такси. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Кэтрин была очень возбуждена.

— Я так рада, что уже началось,— сказала она.— Теперь скоро все будет позади.

— Ты молодец.

— Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало.

Мы услышали шум машины на улице и увидели свет от фар. Такси подъехало к крыльцу, и я помог Кэтрин сесть, а шофер поставил чемодан на переднее сиденье.

— В больницу,— сказал я.

Мы выехали на мостовую и стали подниматься в гору.

Когда мы подъехали к больнице, я взял чемодан, и мы вошли. Внизу за конторкой сидела женщина, которая записала в книгу имя и фамилию Кэтрин, возраст, адрес, сведения о родственниках и о религии. Кэтрин сказала, что у нее нет никакой религии, и женщина поставила против этого слова в книге черточку. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри.

— Я отведу вас в палату,— сказала женщина.

Мы поднялись на лифте. Женщина остановила лифт, и мы вышли и пошли за ней по коридору. Кэтрин крепко держалась за мою руку.

— Вот это ваша палата,— сказала женщина.— Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь в постель. Вот вам ночная сорочка.

— У меня есть ночная сорочка,— сказала Кэтрин.

— Вам удобнее будет в этой,— сказала женщина.

Я вышел и сел на стул в коридоре.

— Теперь можете войти,— сказала сестра, стоя в дверях.

Кэтрин лежала на узкой кровати, в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из холста. Она улыбнулась мне.

— Теперь уже у меня хорошие схватки,— сказала она.

Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам.

— Вот сейчас была сильная,— сказала Кэтрин. Я видел это по ее лицу.

— Где доктор? — спросил я у сестры.

— Спит внизу. Он придет, когда нужно будет. Я должна кое-что сделать madame,— сказала сестра.— Будьте добры, выйдите опять.

Я вышел в коридор. Коридор был пустой, с двумя окнами и рядом затворенных дверей по всей длине. В нем пахло больницей. Я сидел на стуле, и смотрел в пол, и молился за Кэтрин.

— Можете войти,— сказала сестра. Я вошел.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин.

— Ну, как?

— Теперь уже совсем часто.

Ее лицо исказилось. Потом она улыбнулась.

— Вот это была настоящая. Пожалуйста, сестра, подложите мне опять руку под спину.

— А вам так легче? — спросила сестра.

— Ты теперь уходи, милый,— сказала Кэтрин.— Иди поешь чего-нибудь. Сестра говорит, это может тянуться очень долго.

— Первые роды обычно бывают затяжные,— сказала сестра.

— Пожалуйста, иди поешь чего-нибудь,— сказала Кэтрин.— Я себя хорошо чувствую, правда.

— Я еще немного побуду,— сказал я.

Схватки повторялись совершенно регулярно, потом пошли реже. Кэтрин была очень возбуждена. Когда ей было особенно больно, она говорила, что схватка хорошая. Когда схватки стали слабее, она была разочарована и смущена.

— Ты уходи, милый,— сказала она.— При тебе мне как-то несвободно.— Ее лицо исказилось.— Вот. Эта уже была лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких фокусов. Пожалуйста, иди позавтракай, милый, а потом приходи опять. Я не буду скучать без тебя. Сестра такая славная.

— У вас вполне хватит времени позавтракать,— сказала сестра.

— Хорошо, я пойду. До свидания, дорогая.

— До свидания,— сказала Кэтрин.— Позавтракай как следует, за меня тоже.

— Где тут можно позавтракать? — спросил я сестру.

— На нашей улице, у самой площади, есть кафе,— сказала она.— Там должно быть открыто.

Уже светало. Я дошел пустой улицей до кафе. В окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки, и старик буфетчик подал мне стакан белого вина и бриошь. Бриошь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе.

— Что вы тут делаете в такой ранний час? — спросил старик.

— У меня жена рожает в больнице.

— Вот как! Ну, желаю счастья.

— Дайте мне еще стакан вина.

Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку. Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака.

— Чего тебе там нужно? — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее; сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков.

— Ничего нет, пес,— сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лестнице в тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей. Я постучался. Никто не отвечал. Я открыл дверь; палата была пуста, только чемодан Кэтрин стоял на стуле и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и стал искать кого-нибудь. Я увидел другую сестру.

— Где madame Генри?

— Только что какую-то даму взяли в родильную.

— Где это?

— Пойдемте, я вам покажу.

Она повела меня в конец коридора. Дверь родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров,— доктор. Доктор держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке.

— Я дам вам халат, и вы сможете войти,— сказала сестра.— Идите, пожалуйста, сюда.

Она надела на меня белый халат и заколола его сзади у ворота английской булавкой.

— Теперь может войти,— сказала она.— Я вошел в комнату.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин напряженным голосом.— Что-то дело не двигается.

— Вы monsieur Генри? — спросил доктор.

— Да. Как тут у вас, доктор?

— Все идет очень хорошо,— сказал доктор.— Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ во время схваток.

— Дайте,— сказала Кэтрин.

Доктор накрыл ее лицо резиновой маской и повернул какой-то диск, и я увидел, как Кэтрин глубоко и быстро задышала. Потом она оттолкнула маску. Доктор выключил аппарат.

— Не очень сильная. Вот недавно была одна очень сильная. Доктор сделал так, что меня как будто не было. Правда, доктор? — У нее был странный голос. Он повысился на слове «доктор». Доктор улыбнулся.

— Дайте,— сказала Кэтрин. Она крепко прижала резину к лицу и быстро дышала. Я услышал, как она слегка застонала. Потом она сдвинула маску и улыбнулась.

— Эта была сильнее,— сказала она.— Это была очень сильная. Ты не беспокойся, милый. Уходи. Позавтракай еще раз.

— Я побуду здесь,— сказал я.

Мы поехали в больницу около трех часов утра. В полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее. Вид у нее был очень усталый и измученный, но она все еще бодрилась.

— Никуда я не гожусь, милый,— сказала она.— Так обидно. Я думала, у меня все пройдет очень легко. А теперь — вот, опять...— Она протянула руку за маской и положила ее себе на лицо. Доктор повернул диск и следил за ней. Схватка скоро кончилась.

— Эта так себе,— сказала Кэтрин.— Она улыбалась.— Мне ужасно нравится этот газ. Чудесная вещь!

— Мы возьмем немного домой,— сказал я.

— *Сейчас еще будет,*— сказала Кэтрин торопливо. Доктор повернул диск и посмотрел на часы.

— Какой теперь промежуток между схватками? — спросил я.

— Около минуты.

— Вы не голодны?

— Я сейчас пойду завтракать,— сказал он.

— Вам непременно нужно поесть, доктор,— сказала Кэтрин.— До чего мне обидно, что я так долго вожусь. Может быть, мой муж сумеет давать мне газ пока?

— Если хотите,— сказал доктор.— Будете поворачивать до цифры два.

— Понимаю,— сказал я. На диске была стрелка, и он вращался с помощью рычажка.

— *Дайте,*— сказала Кэтрин. Она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры два, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие.

— Это ты давал газ, милый? — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку.

— Я.

— Какой ты хороший!

Она была немного пьяна от газа.

— Я поем в соседней комнате,— сказал доктор.— Чуть что — вы можете меня позвать.

Я смотрел, как он ест; потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала.

— Как ты думаешь, я все-таки сумею родить? — спросила она.

— Конечно, сумеешь.

— Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. *Сейчас будет. Дай скорей.*

В два часа я вышел и пошел поесть. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик.

— Что у вас есть? — спросил я кельнера.

— Второй завтрак уже кончился.

— Разве нет порционных блюд?

— Можно приготовить choucroute [1].

— Дайте choucroute и пива.

— Кружку или полкружки?

— Полкружки светлого.

Кельнер принес порцию Sauerkraut [2] с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту. Я ел капусту и пил пиво. Я был очень голоден. Я смотрел на публику за столиками кафе. За одним столиком играли в карты. Двое мужчин за соседним столиком разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. За цинковой стойкой, где я завтракал утром, было теперь трое: старик, полная женщина в черном платье, которая сидела у кассы и следила за всем, что подается на столики, и мальчик в фартуке. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала.

Покончив с choucroute, я пошел назад, в больницу. На улице было теперь совсем чисто. Ведер с отбросами не было. День был облачный, но солнце старалось пробиться. Я поднялся в лифте,

[1] Кислая капуста *(франц.)*.
[2] Кислая капуста *(нем.)*.

вышел и пошел по коридору в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его и заколол сзади у ворота. Я посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил; тогда я повернул ручку и вошел. Доктор сидел возле Кэтрин. Сестра что-то делала на другом конце комнаты.

— Вот ваш муж,— сказал доктор.

— Ах, милый, доктор такой чудный! — сказала Кэтрин очень странным голосом.— Он мне рассказывал такой чудный анекдот, а когда было уж очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор.

— Ты пьяна,— сказал я.

— Я знаю,— сказала Кэтрин.— Только не нужно говорить об этом.— Потом: — *Дайте скорее. Дайте скорее.*

Она вцепилась в маску и дышала часто и прерывисто, так что в респираторе щелкало. Потом она глубоко вздохнула, и доктор протянул левую руку и снял с нее маску.

— Это была очень сильная,— сказала Кэтрин.— У нее был очень странный голос.— Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад?

— Вот и не возвращайся туда опять.

— Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Я не умру, милый.

— Вы такой глупости не сделаете,— сказал доктор.— Вы не умрете и не оставите вашего мужа одного.

— Нет, нет. Я не умру. Я не хочу умирать. Это глупо — умереть. Вот опять. *Дайте скорее.*

Немного погодя доктор сказал:

— Выйдите на несколько минут, мистер Генри, я исследую вашу жену.

— Он хочет посмотреть, как двигается дело,— сказала Кэтрин.— Ты потом приходи назад. Можно, доктор?

— Да,— сказал доктор.— Я за ним пошлю, когда можно будет.

Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привезти Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать, и я стал читать ее. За окном уже темнело, и я зажег свет, чтобы можно было читать. Немного погодя я перестал читать и погасил свет и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной. Может быть, это лучше, что я ушел оттуда. Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Я посмотрел на часы. Если еще десять минут никто не придет, я все равно вернусь туда.

Бедная, бедная моя Кэт. Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе. Вот когда захлопывается ловушка. Вот что получают за то, что любят друг друга. Хорошо еще, что существует газ. Что же это было раньше, без анестезии? Как начнется, точно в мельничное колесо попадаешь. Кэтрин очень легко

перенесла всю беременность. Это было совсем не так плохо. Ее даже почти не тошнило. До самого последнего времени у нее не было особенно неприятных ощущений. Но под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь. Черта с два! И будь мы хоть пятьдесят раз женаты, было бы то же самое. А вдруг она умрет? Она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все мужья так думают. Да, но вдруг она умрет? Она не умрет. Ей только трудно. Первые роды обычно бывают затяжные. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить: как трудно было, а Кэтрин будет говорить: не так уж и трудно. А вдруг она умрет? Не может этого быть, говорят тебе. Не будь дураком. Просто ей трудно. Просто это так природой устроено, мучиться. Это ведь первые роды, а они почти всегда бывают затяжные. Да, но вдруг она умрет? Не может она умереть. Почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок, побочный продукт миланских ночей. Из-за него все огорчения, а потом он родится, и о нем заботишься, и, может быть, начинаешь любить его. У нее ничего нет опасного. А вдруг она умрет? Она не может умереть. А вдруг она умрет? Тогда что, а? Вдруг она умрет?

Доктор вошел в комнату.

— Ну как, доктор?

— Никак.

— Что вы хотите сказать?

— То, что говорю. Я только что исследовал ее...— Он подробно рассказал о результатах исследования.— Потом я еще подождал. Но дело не подвигается.

— Что вы советуете?

— Есть два пути: или щипцы, но при этом могут быть разрывы и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке, или кесарево сечение.

— А кесарево сечение очень опасно?

Вдруг она умрет?

— Не более чем нормальные роды.

— Вы можете сделать это сами?

— Да. Мне понадобится около часу, чтобы все приготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше.

— Что, по-вашему, лучше?

— Я бы рекомендовал кесарево сечение. Если б зто была моя жена, я делал бы кесарево сечение.

— Какие могут быть последствия?

— Никаких. Только шрам.

— А инфекция?

— При наложении щипцов опасность инфекции больше.

— А что, если ничего не делать и просто ждать?

— Рано или поздно придется что-нибудь сделать. Madame Генри уже и так потеряла много сил. Чем скорее приступим к операции, тем лучше.

— Приступайте как можно скорее,— сказал я.

— Сейчас пойду распоряжусь.

Я пошел в родильную. Кэтрин лежала на столе, большая под простыней, очень бледная и усталая. Сестра была возле нее.

— Ты дал согласие? — спросила она.

— Да.

— Ну, вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милый. Я больше не могу. *Дай, дай скорее.* Не помогает. *Боже мой, не помогает.*

— Дыши глубже.

— Я дышу. Боже мой, уже не помогает. Не помогает.

— Дайте другой цилиндр,— сказал я сестре.

— Это новый цилиндр.

— Я такая глупая, милый,— сказала Кэтрин.— Но только правда, больше не помогает.— Она вдруг заплакала.— Я так хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей, и теперь у меня уже нет сил, и я больше не могу, и газ уже не помогает. Милый, уже совсем не помогает. Пусть я умру, только чтоб это кончилось. О милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Вот опять. О-о, о-о, о-о! — Она, всхлипывая, дышала под маской.— Не помогает. Не помогает. Не помогает. Прости меня, милый. Не надо плакать. Прости меня. Я больше не могу. Бедный ты мой! Я тебя так люблю, я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. Разве нельзя дать еще что-нибудь? Если бы только мне дали еще что-нибудь!

— Я сделаю так, что газ подействует. Я поверну до отказа.

— Вот сейчас дай.

Я повернул диск до отказа, и когда она задышала тяжело и глубоко, ее пальцы, державшие маску, разжались. Я выключил аппарат и снял с нее маску.

Она вернулась очень издалека.

— Как хорошо, милый. Какой ты добрый.

— Потерпи, ведь ты у меня храбрая. А то я не могу все время так делать. Это может убить тебя.

— Я уже не храбрая, милый. Я совсем сломлена. Меня сломили. Я теперь знаю.

— Со всеми так бывает.

— Но ведь это ужасно. Мучают до тех пор, пока не сломят.

— Еще час, и все кончится.

— Как хорошо! Милый, я ведь не умру, правда?

— Нет. Я тебе обещаю, что ты не умрешь.

— А то я не хочу умереть и оставить тебя одного, но только я так устала, и я чувствую, что умру.

— Глупости. Все так чувствуют.

— Иногда я просто знаю, что так будет.

— Так не будет. Так не может быть.

— А если?

— Я тебе не позволю.

— Дай мне скорее. *Дай, дай мне.*

Потом опять:

— Я не умру. Я сама себе не позволю.
— Конечно, ты не умрешь.
— Ты будешь со мной?
— Да, только я не буду смотреть.
— Хорошо. Но ты не уходи.
— Нет, нет. Я никуда не уйду.
— Ты такой добрый. Вот опять дай. Дай еще. *Не помогает!*
Я повернул диск до цифры три, потом до цифры четыре. Я хотел, чтобы доктор скорей вернулся. Я боялся цифр, которые идут после двух.

Наконец пришел другой доктор и две сестры, и они переложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись по коридору. Носилки быстро проехали по коридору и въехали в лифт, где всем пришлось тесниться к стенкам, чтобы дать им место; потом вверх, потом дверь настежь, и из лифта на площадку, и по коридору на резиновых шинах в операционную. Я не узнал доктора в маске и в шапочке. Там был еще один доктор и еще сестры.

— Пусть мне дадут что-нибудь,— сказала Кэтрин.— Пусть мне дадут что-нибудь. Доктор, пожалуйста, дайте мне столько, чтобы подействовало.

Один из докторов накрыл ей лицо маской, и я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр операционной.

— Вы можете войти вон в ту дверь и там посидеть,— сказала мне сестра.

За барьером стояли скамьи, откуда виден был белый стол и лампы. Я посмотрел на Кэтрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Носилки повезли вперед. Я повернулся и пошел по коридору. Ко входу на галерею торопливо шли две сестры.

— Кесарево сечение,— сказала одна.— Сейчас будут делать кесарево сечение.

Другая засмеялась:

— Мы как раз вовремя. Вот повезло! — Они вошли в дверь, которая вела на галерею.

Подошла еще одна сестра. Она тоже торопилась.

— Входите, что же вы. Входите,— сказала она.

— Я подожду здесь.

Она торопливо вошла. Я стал ходить взад и вперед по коридору. Я боялся войти. Я посмотрел в окно. Было темно, но в свете от окна я увидел, что идет дождь. Я вошел в какую-то комнату в конце коридора и посмотрел на ярлыки бутылок в стеклянном шкафу. Потом я вышел, и стоял в пустом коридоре, и смотрел на дверь операционной.

Вышел второй доктор и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я подошел к двери, в которую он вошел, и увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. Доктор поднял его, чтоб показать мне. Он поднял его за ноги и шлепнул.

— У него все в порядке?

— Прекрасный мальчишка. Кило пять будет.

Я не испытывал к нему никаких чувств. Он как будто не имел ко мне отношения. У меня не было отцовского чувства.

— Разве вы не гордитесь своим сыном? — спросила сестра. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид.

— Нет,— сказал я.— Он едва не убил свою мать.

— Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчика?

— Нет,— сказал я.

Доктор все возился над ним. Он поднял его за ноги и шлепал. Я не стал смотреть на это. Я вышел в коридор. Я теперь мог войти и посмотреть. Я вошел через дверь, которая вела на галерею, и спустился на несколько ступеней. Сестры, сидевшие у барьера, сделали мне знак спуститься к ним. Я покачал головой. Мне достаточно было видно с моего места.

Я думал, что Кэтрин умерла. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали инструменты. Это было похоже на картину, изображающую инквизицию. Я знал, что я мог быть там и видеть все, но я был рад, что не видел. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед. Немного погодя вышел доктор.

— Ну, как она?

— Ничего. Вы смотрели?

У него был усталый вид.

— Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный.

— Вы думаете?

— Да. Шрам потом сгладится?

— Ну конечно.

Немного погодя выкатили носилки и очень быстро повезли их коридором к лифту. Я пошел рядом. Кэтрин стонала. Внизу, в палате, ее уложили в постель. Я сел на стул в ногах постели. Сестра уже была в палате. Я поднялся и стал у постели. В палате было темно. Кэтрин протянула руку.

— Ты здесь, милый? — сказала она. Голос у нее был очень слабый и усталый.

— Здесь, родная.

— Какой ребенок?

— Ш-ш, не разговаривайте,— сказала сестра.

— Мальчик. Он длинный, и толстый, и темный.

— У него все в порядке?

— Да,— сказал я.— Прекрасный мальчик.

Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня.

— Я страшно устала,— сказала Кэтрин.— И у меня все так болит. А как ты, милый?

— Очень хорошо. Не разговаривай.

— Ты такой хороший. О милый, как у меня все болит! А на кого он похож?

— Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом.

— Вы лучше уйдите,— сказала сестра.— Madame Генри нельзя разговаривать.

— Я побуду в коридоре,— сказал я.

— Иди поешь чего-нибудь.

— Нет. Я побуду в коридоре.

Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое.

— Можно вас на минутку,— сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор. Я немного отошел от двери.— Что с ребенком? — спросил я.

— Разве вы не знаете?

— Нет.

— Он был неживой.

— Он был мертвый?

— У него не смогли вызвать дыхание. Пуповина обвилась вокруг шеи.

— Значит, он мертвый?

— Да. Так жалко. Такой чудный крупный ребенок. Я думала, вы знаете.

— Нет,— сказал я.— Вы идите туда, к madame.

Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, пересекавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело! Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся. Бедный малыш! Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, не жаль. Хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через все эти смерти. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом,

как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют.

Однажды на привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела муравьями. Когда она загорелась, муравьи выползли наружу и сначала двинулись к середине, где был огонь, потом повернули и побежали к концу коряги. Когда на конце их набралось слишком много, они стали падать в огонь. Некоторым удалось выбраться, и, обгорелые, сплющенные, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство ползло к огню, и потом опять назад, и толпилось на холодном конце, и потом падало в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на светопреставление и что вот блестящий случай для меня изобразить мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где муравьи смогут выбраться на землю. Но вместо этого я лишь выплеснул на корягу воду из оловянной кружки, которую мне нужно было опорожнить, чтобы налить туда виски и потом уже разбавить водой. Вероятно, вода, вылитая на горящую корягу, только ошпарила муравьев.

Я сидел в коридоре и ждал вестей о состоянии Кэтрин. Сестра все не выходила, и немного погодя я встал, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и заглянул в палату. Сначала я ничего не мог разглядеть, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Потом я увидел сестру на стуле у кровати, голову Кэтрин на подушках и всю ее, такую плоскую под простыней. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери.

— Ну, как она? — спросил я.

— Ничего, все в порядке,— ответила сестра.— Вы бы пошли поужинать; а потом можете прийти опять, если хотите.

Я пошел по коридору, спустился по лестнице, вышел из подъезда больницы и под дождем по темной улице направился в кафе. Оно было ярко освещено, и за всеми столиками сидели люди. Я не мог найти места, и кельнер подошел ко мне, и взял мое мокрое пальто и шляпу, и указал мне на незанятый стул у столика, за которым какой-то пожилой человек пил пиво и читал вечернюю газету. Я сел и спросил у кельнера, какое сегодня plat du jour [1].

— Тушеная телятина, но она уже кончилась.

— Что можно получить на ужин?

— Яичницу с ветчиной, омлет с сыром или choucroute.

— Я ел choucroute сегодня утром,— сказал я.

— Верно,— сказал он.— Верно. Сегодня утром вы ели choucroute.

Это был человек средних лет, с лысиной, на которую тщательно начесаны были волосы. У него было доброе лицо.

— Что вы желаете? Яичницу с ветчиной или омлет с сыром?

— Яичницу с ветчиной,— сказал я,— и пиво.

— Demi-blonde?

— Да,— сказал я.

[1] Дежурное блюдо *(франц.)*.

— Видите, я помню,— сказал он.— Утром вы тоже заказывали demi-blonde?

Я съел яичницу с ветчиной и выпил пиво. Яичницу с ветчиной подали в круглом судочке — внизу была ветчина, а сверху яичница. Она была очень горячая, и первый кусок мне пришлось запить пивом, чтобы остудить рот. Я был голоден и заказал еще. Я выпил несколько стаканов пива. Я ни о чем не думал, только читал газету, которую держал мой сосед. Там говорилось о прорыве на английском участке фронта. Когда сосед заметил, что я читаю его газету, он перевернул ее. Я хотел было спросить газету у кельнера, но я не мог сосредоточиться. В кафе было жарко и душно. Многие из сидевших за столиками знали друг друга. За несколькими столиками играли в карты. Кельнеры сновали между стойками и столами, разнося напитки. Двое мужчин вошли и не могли найти себе места. Они остановились против моего столика. Я заказал еще пива. Я еще не мог уйти. Возвращаться в больницу было рано. Я старался ни о чем не думать и быть совершенно спокойным. Вошедшие постояли немного, но никто не вставал, и они ушли. Я выпил еще пива. Передо мной на столе была уже целая стопка блюдец. Человек, сидевший напротив меня, снял очки, спрятал их в футляр, сложил газету и сунул ее в карман и теперь смотрел по сторонам, держа в руке рюмку с ликером. Вдруг я почувствовал, что должен идти. Я позвал кельнера, заплатил по счету, надел пальто, взял шляпу и вышел на улицу. Под дождем я вернулся в больницу.

Наверху в коридоре мне встретилась сестра.

— Я только что звонила вам в отель,— сказала она.

Что-то оборвалось у меня внутри.

— Что случилось?

— У madame Генри было кровотечение.

— Можно мне войти?

— Нет, сейчас нельзя. Там доктор.

— Это опасно?

— Это очень опасно.

Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Господи, господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет, нет, нет, милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть. Господи, милый господи, не дай ей умереть.

Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел. Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны.

Кэтрин взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал.

— Бедный ты мой,— сказала Кэтрин совсем тихо. Лицо у нее было серое.

— Все хорошо, Кэт,— сказал я.— Скоро все будет совсем хорошо.

— Скоро я умру,— сказала она. Потом помолчала немного и сказала: — Я не хочу.

Я взял ее за руку.

— Не тронь меня,— сказала она.— Я выпустил ее руку. Она улыбнулась.— Бедный мой! Трогай сколько хочешь.

— Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо.

— Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала.

— Хочешь, чтоб я позвал священника или еще кого-нибудь?

— Только тебя,— сказала она. Потом, спустя несколько минут: — Я не боюсь. Я только не хочу.

— Вам нельзя столько разговаривать,— сказал доктор.

— Хорошо, не буду,— сказала Кэтрин.

— Хочешь чего-нибудь, Кэт? Что-нибудь тебе дать?

Кэтрин улыбнулась:

— Нет.— Потом, спустя несколько минут: — Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.

— Никогда.

— Но я хочу, чтоб у тебя были девушки.

— Они мне не нужны.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал доктор.— Monsieur Генри придется выйти. Позже он может опять прийти. Вы не умрете. Не говорите глупостей.

— Хорошо,— сказала Кэтрин.— Я буду приходить к тебе по ночам,— сказала она. Ей было очень трудно говорить.

— Пожалуйста, выйдите из палаты,— сказал доктор.— Ей нельзя разговаривать.

Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.

— Ничего, я побуду в коридоре,— сказал я.

— Ты не огорчайся, милый,— сказала Кэтрин.— Я ни капельки не боюсь. Это только скверная шутка.

— Ты моя дорогая, храбрая девочка.

Я ждал в коридоре за дверью. Я ждал долго. Сестра вышла из палаты и подошла ко мне.

— Madame Генри очень плохо,— сказала она.— Я боюсь за нее.

— Она умерла?

— Нет, но она без сознания.

По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось.

В коридоре я обратился к доктору:

— Что-нибудь нужно еще сегодня сделать?

— Нет. Ничего делать не надо. Может быть, проводить вас в отель?

— Нет, благодарю вас. Я еще побуду здесь.

— Я знаю, что тут ничего не скажешь. Не могу выразить...

— Да,— сказал я,— тут ничего не скажешь.

— Спокойной ночи,— сказал он.— Может быть, мне вас все-таки проводить?

— Нет, спасибо.

— Больше ничего нельзя было сделать,— сказал он.— Операция показала...

— Я не хочу говорить об этом,— сказал я.

— Мне бы хотелось проводить вас в отель.

— Нет, благодарю вас.

Он пошел по коридору. Я вернулся к двери палаты.

— Сейчас нельзя,— сказала одна из сестер.

— Можно,— сказал я.

— Нет, еще нельзя.

— Уходите отсюда,— сказал я.— И та тоже.

Но когда я заставил их уйти и закрыл дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем.

РАССКАЗЫ

ИЗ КНИГИ «ТРИ РАССКАЗА И ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ»

У НАС В МИЧИГАНЕ

Джим Гилмор приехал в Хортонс-Бей из Канады. Он купил кузницу у старика Хортона. Джим был невысокого роста, черноволосый, у него были большие руки и большие усы. Он хорошо ковал лошадей, но с виду был непохож на кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Он жил в комнате над кузницей, а столовался у Д. Дж. Смита.

Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что никогда не видела девушки опрятнее Лиз Коутс. У Лиз были красивые ноги, она всегда ходила в чистых передниках, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, потому что оно было такое веселое, но он никогда не думал о ней.

Лиз очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блестят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так нравится Д. Дж. Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе, ей понравилось, что руки у него покрыты черными волосами, и то, что они белые выше линии загара. И, почувствовав, что это ей нравится, она смутилась.

Поселок Хортонс-Бей на большой дороге между Бойн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов. Лавка и почта с высоким фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон, дом Смита, дом Струда, дом Дилворта, дом Хортона и дом Ван-Хусена. Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Немного не доезжая поселка у дороги была методистская церковь, а при выезде из него — начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы.

Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко

синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов Лиз видела далеко на озере баржи с рудой, тянувшиеся к Бойн-Сити. Пока она смотрела на них, казалось, что они стоят на месте, но если она входила в кухню и, вытерев несколько тарелок, опять выходила на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом.

Теперь Лиз все время думала о Джиме Гилморе. Он как будто и не замечал ее. Он разговаривал с Д. Дж. Смитом о своей кузнице, и о республиканской партии, и о сенаторе Джеймсе Г. Блэйне. По вечерам он читал в гостиной «Толедский клинок» и газету из Грэнд-Рэпидс, или он и Д. Дж. Смит ездили ночью на озеро лучить рыбу. Осенью они со Смитом и Чарли Уайменом погрузили в фургон палатку, запас провизии, ружья, топоры и двух собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит четыре дня готовили им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить что-нибудь повкусней для Джима, но так и не собралась, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки и боялась, как бы миссис Смит не застала ее за стряпней, если она сама все купит. Миссис Смит, вероятно, ничего не сказала бы, но Лиз все-таки боялась.

Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него было просто ужасно. Она так много думала о нем, что почти не могла спать, но оказалось, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала себе волю. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она совсем не спала, вернее, ей так казалось, потому что все перепуталось,— то ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Когда на дороге показался фургон, она почувствовала слабость и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дождаться, когда увидит Джима, ей казалось, что, как только он приедет, все будет хорошо. Фургон остановился под высоким вязом; миссис Смит и Лиз вышли из дома. Все мужчины обросли бородой, а сзади в фургоне лежали три оленя, и их тонкие ноги торчали, как палки, над бортом фургона. Миссис Смит поцеловала мужа, он обнял ее. Джим сказал: «Хэлло, Лиз»,— и весело улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно случиться, когда приедет Джим, но все время чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой — вот и все. Джим стянул с оленей холщовые мешки, и Лиз подошла посмотреть на животных. Один был крупный самец. Он совсем закоченел, и его трудно было вытащить из фургона.

— Это ты застрелил, Джим? — спросила Лиз.

— Я. А верно, красавец? — Джим взвалил его на спину и понес в коптильню.

В тот вечер Чарли Уаймен остался у Смитов ужинать. Возвращаться в Шарльвуа было поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина.

— Не осталось ли там чего в кувшине, Джимми? — спросил Д. Дж. Смит, и Джим пошел в сарай и достал из фургона жбан

виски, который они брали с собой на охоту. Жбан вмещал четыре галлона, и на дне его плескалось еще порядочно виски. Джим как следует хлебнул по дороге от сарая к дому. Трудно было подносить ко рту такой большой жбан. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Д. Дж. Смит и Чарли Уаймен улыбнулись, когда он показался в дверях со жбаном. Смит послал Лиз за стаканами, и она принесла их. Смит налил три полных стакана.

— Ну, Смит, будьте здоровы,— сказал Чарли Уаймен.

— За твоего оленя, Джимми,— сказал Д. Дж. Смит.

— За всех, по которым мы промазали,— сказал Джим и выпил.

— Эх, хорошо!

— Лучшее лекарство от всех болезней.

— Ну как, друзья, еще по одной?

— Ваше здоровье, Смит.

— Выпьем, друзья.

— За следующую охоту.

Джиму стало очень весело. Он любил вкус виски и ощущение, которое оно давало. Он был рад, что вернулся, что его ждет удобная кровать, и горячая еда, и его кузница. Он выпил еще стаканчик. К ужину мужчины явились сильно навеселе, но держали себя с достоинством. Лиз подала ужин, а потом села за стол вместе с остальными. Ужин был хороший. Мужчины сосредоточенно ели. После ужина они опять перешли в гостиную, а Лиз и миссис Смит убрали со стола. Потом миссис Смит ушла к себе наверх, Джим и Чарли еще оставались в гостиной. Лиз сидела в кухне у плиты, делая вид, что читает, и думала о Джиме. Ей не хотелось ложиться спать, она знала, что Джим пройдет через кухню, и ей хотелось еще раз увидеть его и унести это воспоминание о нем с собой в постель.

Она изо всех сил думала о Джиме, когда он вышел в кухню. Глаза у него блестели, волосы были слегка взлохмачены. Лиз опустила голову и стала смотреть в книгу. Джим подошел сзади к ее стулу и остановился, и ей было слышно его дыхание, а потом он обнял ее. Ее груди напряглись и округлились, и соски отвердели под его пальцами. Лиз очень испугалась,— до сих пор никто ее не трогал,— но подумала: «Все-таки он пришел ко мне. Все-таки пришел».

Она вся сжалась, потому что ей было очень страшно и она не знала, что делать, а потом Джим крепко прижал ее к стулу и поцеловал. Ощущение было такое острое, жгучее, болезненное, что ей казалось, она не выдержит. Она чувствовала Джима сквозь спинку стула, и ей казалось, что она не выдержит, а потом что-то внутри отпустило, и ощущение стало теплее, мягче. Джим крепко и больно прижимал ее к стулу, и теперь она сама хотела этого, и Джим шепнул: «Пойдем погуляем».

Лиз сняла с кухонной вешалки пальто, и они вышли на улицу. Джим обнял ее, они то и дело останавливались и прижимались друг к другу, и Джим целовал ее. Луны не было, они шли лесом,

увязая по щиколотку в песке, к пристани и складам на берегу залива. Вода плескалась о сваи, по ту сторону залива чернел мыс. Было холодно, но Лиз вся пылала, потому что Джим был рядом. Они сели под стеной склада, и Джим привлек ее к себе. Ей было страшно. Одна рука Джима расстегнула ей платье и гладила ее грудь, другая лежала у нее на коленях. Ей было очень страшно, и она не знала, что он сейчас будет делать, но придвинулась к нему еще ближе. Потом рука, тяжело лежавшая у нее на коленях, соскользнула, коснулась ее ноги и стала продвигаться выше.

— Не надо, Джим,— сказала Лиз. Рука двинулась дальше.— Нельзя, Джим, нельзя.— Ни Джим, ни тяжелая рука Джима не слушались ее.

Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало.

— Нельзя, Джим, нельзя.

— Нет, можно. Так надо. Ты сама знаешь.

— Нет, Джим, не надо. Нельзя. Ой, нехорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Джим! О!

Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные, и Джим был очень тяжелый и сделал ей больно. Лиз хотела оттолкнуть его, ей было так неудобно, все тело затекло. Джим спал. Она не могла его сдвинуть. Она выбралась из-под него, села, оправила юбку и пальто и кое-как причесалась. Джим спал, рот его был приоткрыт. Лиз наклонилась и поцеловала его в щеку. Он не проснулся. Она приподняла его голову и потрясла ее. Голова скатилась набок, он глотнул слюну. Лиз заплакала. Она подошла к краю пристани и заглянула в воду. С залива поднимался туман. Ей было холодно и тоскливо, и она знала, что все кончилось. Она вернулась туда, где лежал Джим, и на всякий случай еще раз потрясла его за плечо. Она все плакала.

— Джим,— сказала она.— Джим. Ну, пожалуйста, Джим.

Джим пошевелился и свернулся поудобнее. Лиз сняла пальто, нагнулась и укрыла им Джима. Она заботливо и аккуратно подоткнула пальто со всех сторон. Потом пошла через пристань и по крутой песчаной дороге домой, спать. С залива поднимался между деревьями холодный туман.

КНИГА РАССКАЗОВ «В НАШЕ ВРЕМЯ»

В ПОРТУ СМИРНЫ

Очень удивительно, сказал он, что кричат они всегда в полночь. Не знаю, почему они кричали именно в этот час. Мы были в гавани, а они все на молу, и в полночь они начинали кричать. Чтобы успокоить их, мы наводили на них прожектор. Это действовало без отказа. Мы раза два освещали мол из конца в конец, и они утихали.

Однажды, когда я был начальником команды, работавшей на молу, ко мне подошел турецкий офицер и, задыхаясь от ярости, заявил, что наш матрос нагло оскорбил его. Я заверил его, что матрос будет отправлен на борт и строго наказан. Я попросил указать мне виновного. Он указал на одного безобиднейшего парня из орудийного расчета. Повторил, что тот нагло оскорбил его, и не единожды, а много раз; говорил же он со мной через переводчика. Мне не верилось, что матрос мог так хорошо знать турецкий язык, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное. Я вызвал его и сказал:

— Это на случай, если ты разговаривал с кем-нибудь из турецких офицеров.

— Я ни с одним из них не разговаривал, сэр.

— Не сомневаюсь,— сказал я,— но ты все-таки ступай на корабль и до завтра не сходи на берег.

Потом я сообщил турку, что матрос отправлен на корабль, где его ждет суровое наказание. Можно сказать — жестокое. Он чрезвычайно обрадовался, и мы дружески разговорились. Хуже всего, сказал он,— это женщины с мертвыми детьми.

Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней. Ни за что не отдавали. Мы ничего не могли поделать. Приходилось в конце концов отнимать их. И еще я видел старуху — необыкновенно странный случай. Я говорил о нем одному врачу, и он сказал, что я это выдумал. Мы очищали мол, и нужно было убрать мертвых, а старуха лежала на каких-то самодельных носилках. Мне сказали: «Хотите посмотреть на нее, сэр?» Я посмотрел, и в ту же минуту она умерла и сразу окоченела. Ноги ее согнулись, тулови-

ще приподнялось, и так она и застыла. Как будто с вечера лежала мертвая. Она была совсем мертвая и негнущаяся. Когда я рассказал доктору про старуху, он заявил, что этого быть не может.

Все они теснились на молу, но не так, как бывает во время землетрясения или в подобных случаях, потому что они не знали, что придумает старый турок. Они не знали, что он может сделать. Помню, как нам запретили входить в гавань для очистки мола от трупов. В то утро у входа в гавань мне было очень страшно. Орудий у него хватало, и ему ничего не стоило выкинуть нас вон. Мы решили войти, подтянуться вплотную к молу, бросить оба якоря и открыть огонь по турецкой части города. Они выкинули бы нас вон, но мы разнесли бы город. Когда мы вошли в гавань, они обстреляли нас холостыми зарядами. Кемаль прибыл в порт и сместил турецкого коменданта. За превышение власти или что-то в этом духе. Слишком много взял на себя. Могла бы выйти прескверная история.

Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей.

Глава первая

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: «Я пьян, mon vieux[1]*, я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я». Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. Нас заметят». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно́ было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне.*

---

[1] Старина *(франц.).*

ИНДЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А...— сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом.

Голова была повернута вбок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник,— сказал он,— у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю,— сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь,— сказал отец.— Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

— Понимаю,— сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа,— сказал Ник,— разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств,— ответил отец.— Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть,— сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником:

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж,— сказал он,— я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик,— сказал он.— Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего,— сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все,— сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

— Ну,— сказал отец,— теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж,— сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра,— сказал доктор.— Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж,— сказал он.— Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифунтовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург,— сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях,— сказал отец Ника.— Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

— Уведи Ника, Джордж,— сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник,— сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло.— Надо же было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них родятся дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный случай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?
— Нет, Ник. Не очень.
— А женщины?
— Еще реже.
— Никогда?
— Ну, иногда случается.
— Папа!
— Да?
— Куда пошел дядя Джордж?
— Он сейчас придет.
— Трудно умирать, папа?
— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке, Ник — на корме, отец — на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет.

Глава вторая

За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карагач была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась, желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь.

ДОКТОР И ЕГО ЖЕНА

Отец Ника нанял Дика Боултона из индейского поселка распилить бревна. Дик привел с собой сына Эдди и еще одного индейца — Билли Тэйбшо. Все трое пришли из лесу через заднюю калитку. Эдди нес длинную поперечную пилу. Пила раскачивалась у Эдди за спиной и звонко гудела в такт его шагам. Билли Тэйбшо нес большие багры. У Дика под мышкой были три топора.

Дик повернулся и затворил за собой калитку. Остальные пошли вперед, к берегу озера, где лежали бревна, занесенные песком.

Бревна эти оторвались от больших плотов, которые пароход «Мэджик» вел на буксире вниз по озеру, к лесопилке. Их вынесло на берег, и если они так и останутся здесь, то «Мэджик» рано или поздно вышлет лодку с плотовщиками, плотовщики разыщут бревна, вобьют в каждое по костылю, выведут их в озеро и соберут в новое звено. Но может случиться и так, что с парохода никто не явится, потому что несколько бревен не стоят тех денег, которые пришлось бы заплатить плотовщикам за работу. А если за бревнами никого не пришлют, они будут валяться полузатопленные и в конце концов сгниют.

Отец Ника решил, что именно так оно и будет, и нанял индейцев из поселка распилить бревна поперечной пилой и наколоть дров для плиты и большого камина.

Дик Боултон обогнул коттедж и спустился к озеру. На берегу лежали четыре больших буковых бревна, почти совсем занесенные песком. Эдди повесил пилу на дерево, ручкой в развилину. Дик положил топоры на мостик. Дик был метис, и многие фермеры, жившие у озера, принимали его за белого. Он был большой лентяй, но если уж брался за работу, то работал как следует. Он вынул из кармана плитку табака, откусил кусок и сказал что-то Эдди и Билли Тэйбшо на оджибуэйском наречии.

Они воткнули багры в одно из бревен и налегли на них, высвобождая бревно из песка. Они налегли на рукоятки багров всей своей тяжестью. Бревно сдвинулось с места. Дик Боултон оглянулся на отца Ника.

— Как я погляжу, док,— сказал он,— порядочно вы накрали.

— Зачем так говорить, Дик! — сказал доктор.— Их же прибило к берегу.

Эдди и Билли Тэйбшо вывернули бревно из-под сырого песка и покатили его к воде.

— Толкай, толкай! — крикнул им Дик Боултон.

— Зачем это? — спросил доктор.

— Надо обмыть его. Счистить песок, а то пилу испортишь. Я хочу посмотреть, чье это бревно,— сказал Дик.

Бревно плескалось в воде. Взмокшие от натуги Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опершись на свои багры. Дик опустился на колени и стал искать отметку, которую дровосек ставит на конце бревна.

— Уайт и Макнелли,— сказал он, поднимаясь и стряхивая песок с колен.

Доктору стало не по себе.

— Тогда не надо его распиливать,— отрывисто сказал он.

— А вы не обижайтесь, док,— сказал Боултон.— Зачем обижаться? Мне-то не все равно, у кого вы украли? Меня это не касается.

— Если ты считаешь, что бревна краденые, не трогай их. Забирай свои инструменты и уходи,— сказал доктор. Он весь покраснел.

— Чего это вы вдруг, док? — сказал Боултон. Он выплюнул табачную жижу на бревно. Плевок поплыл по воде, становясь все прозрачнее и прозрачнее.— Вам, док, не хуже моего известно, что бревна краденые. Только меня это не касается.

— Хорошо. Если ты считаешь, что бревна краденые, забирай свое добро и проваливай.

— Ну, док...

— Забирай свое добро и проваливай!

— Послушайте, док...

— Если ты еще раз скажешь «док», я тебе все зубы вышибу.

— А вот не вышибете, док.

Дик Боултон посмотрел на доктора. Дик был громадного роста. Он знал, что рост у него немалый. Он любил затевать драки. Сейчас Дик был чрезвычайно доволен собой. Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опираясь на багры, и смотрели на доктора. Доктор пожевывал бородку и смотрел на Дика Боултона. Потом он повернулся и зашагал вверх по холму, к коттеджу. Даже по спине было видно, как он рассержен. Индейцы смотрели ему вслед до тех пор, пока он не вошел в коттедж.

Дик сказал что-то на оджибуэйском наречии. Эдди рассмеялся, но Билли Тэйбшо было не до смеха. От ссоры с доктором его бросило в жар, хотя он не понимал по-английски. Он был толстяк, с редкими, как у китайца, усами. Он поднял багры на плечо. Дик взял все три топора, а Эдди снял пилу с дерева. Они прошли мимо коттеджа и вышли через заднюю калитку в лес. Дик оставил калитку открытой. Билли Тэйбшо вернулся и притворил ее. Все трое скрылись в лесу.

Сев на кровать у себя в комнате, доктор увидел на полу около стола груду медицинских журналов. Бандероли с них еще не были сорваны. Это рассердило его.

— А ты не пойдешь больше работать, милый? — спросила его жена, лежавшая в соседней комнате, где шторы были опущены.

— Нет.

— Что-нибудь случилось?

— Я поссорился с Диком Боултоном.

— О-о! — сказала его жена.— Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

— Нет,— сказал доктор.

— Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города,— сказала его жена. Она была членом общества христианской науки. В полутемной комнате, на столике около кровати, у нее лежала Библия, книга «Наука и здоровье» и журнал «Христианская наука».

Муж промолчал. Он сидел на кровати и чистил ружье. Он набил магазин тяжелыми желтыми патронами и вытряхнул их обратно. Они рассыпались по кровати.

— Генри! — окликнула его жена. Потом, подождав немного: — Генри!

— Да? — сказал доктор.

— Ты чем-нибудь рассердил Боултона?

— Нет,— сказал доктор.

— А что у вас произошло, милый?

— Ничего особенного.

— Скажи мне, Генри. От меня ничего не надо скрывать. Что у вас произошло?

— Дик должен мне большие деньги за то, что я вылечил его жену от воспаления легких, и, вероятно, затеял ссору, чтобы не отрабатывать долга.

Его жена молчала. Доктор тщательно вытер ружье тряпкой. Он заложил патроны обратно в магазин. Он сидел, опустив ружье на колени. Он очень дорожил им. Из полутемной комнаты до него снова донесся голос жены:

— Милый, я не думаю, я просто не допускаю мысли, что кто-нибудь способен на такой поступок.

— Да? — сказал доктор.

— Да. Я не могу поверить, что такое можно сделать намеренно.

Доктор поднялся и поставил ружье в угол за шкафом.

— Ты уходишь, милый? — спросила его жена.

— Пойду прогуляюсь,— сказал доктор.

— Если увидишь Ника, милый, скажи ему, что мама его зовет.

Доктор вышел на крыльцо. Дверь за ним захлопнулась со стуком. Он услышал, как жена вздохнула, когда хлопнула дверь.

— Прости,— сказал он, подойдя к окну с опущенной шторой.

— Ничего, милый,— сказала она.

Он открыл калитку и пошел по жаре к пихтовому лесу. В лесу было прохладно даже в такой жаркий день. Он увидел Ника, который сидел, прислонившись к дереву, и читал.

— Пойди к маме, ты ей зачем-то нужен.

— А я хочу с тобой,— сказал Ник.

Отец посмотрел на него.

— Ну что ж, пойдем,— сказал он.— Дай книгу, я ее суну в карман.

— Папа, а я знаю, где есть черные белки,— сказал Ник.

— Ну что ж,— сказал отец.— Пойдем посмотрим.

Глава третья

Мы попали в какой-то сад в Монсе. Бакли вернулся со своим патрулем с того берега реки. Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу на нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись.

ЧТО-ТО КОНЧИЛОСЬ

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей — городом.

Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты.

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели.

— А вот и наши развалины, Ник,— сказала Марджори.

Заносся весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника.

— Да, они самые,— сказал он.

— Ты помнишь, когда тут был завод? — спросила Марджори.

— Смутно,— сказал Ник.

— Похоже скорее, будто тут стоял замок,— сказала Марджори.

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту.

— Не клюет,— сказал он.

— Да,— сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником.

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробинок. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель.

— Кормятся,— сказала Марджори.

— Да, но клева-то нет,— сказал Ник.

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега.

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. Окуни плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджори все еще шарила руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке.

— Брюшной плавник не надо срезать,— сказал он.— Для наживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше.

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилища на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка.

— Ну, кажется, так! — крикнул он.

— Бросать? — спросила Марджори, взяв леску в руку.

— Да, бросай.— Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду.

Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, размотает за собой леску, предохранитель опустится, и катушка зазвенит.

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок.

— Что с тобой, Ник? — спросила Марджори.

— Не знаю,— ответил Ник, собирая хворост для костра.

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между костром и озером.

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди — залив с устьем Хортонс-Крика. Стемнеть еще не успело. Свет от костра доходил до воды. Им были видны два стальных удилища, поставленных под углом к темной воде. Свет от костра поблескивал на катушках.

Марджори достала из корзинки еду.

— Мне не хочется,— сказал Ник.

— Поешь чего-нибудь, Ник.

— Ну, давай.

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде.

— Сегодня будет луна,— сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна.

— Да, я знаю,— сказала Марджори счастливым голосом.

— Ты все знаешь,— сказал Ник.

— Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким.

— А что я могу поделать? — сказал Ник.— Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь.

Марджори промолчала.

— Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?

— Перестань! — сказала Марджори.— Вон луна выходит.

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна.

— Зачем выдумывать глупости? — сказала Марджори.— Говори прямо, что с тобой?

— Не знаю.

— Нет, знаешь.

— Нет, не знаю.

— Ну, скажи мне.

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов.

— Скучно стало.

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину.

— Скучно. Все стало скучно.

Она молчала. Он снова заговорил:

— У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.

Он все еще смотрел ей в спину.

— И любить скучно? — спросила Марджори.

— Да,— сказал Ник. Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки.

— Я возьму лодку,— крикнула ему Марджори.— Ты можешь пройти пешком вдоль мыса.

— Хорошо,— сказал Ник.— Я тебе помогу.

— Не надо,— сказала Марджори. Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори работает веслами.

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из леса. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся до него.

— Ну что, ушла?

— Да,— сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло.

— Устроила сцену?

— Никаких сцен не было.

— Ну, а ты как?

— Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь.

Билл выбрал себе сандвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки.

Глава четвертая

Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка — с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а тем пришлось бы перелезать. Шикарная баррикада. Те было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов. Те брали ее приступом, а потом офицеры одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто рассвирепели, когда узнали, что правый фланг отошел и нам придется отступать.

ТРЕХДНЕВНАЯ НЕПОГОДА

Когда Ник свернул на дорогу, проходившую через фруктовый сад, дождь кончился. Фрукты были уже собраны, и осенний ветер шумел в голых ветках. Ник остановился и подобрал яблоко, блестевшее от дождя в бурой траве у дороги. Он положил яблоко в карман куртки.

Из сада дорога вела на вершину холма. Там стоял коттедж, на крыльце было пусто, из трубы шел дым. За коттеджем виднелся гараж, курятник и молодая поросль, поднимавшаяся точно изгородь на фоне леса. Он взглянул в ту сторону,— большие деревья раскачивались вдалеке на ветру. Это была первая осенняя буря.

Когда Ник пересек поле за садом, дверь отворилась, и из коттеджа вышел Билл. Он остановился на крыльце.

— А-а, Уимидж,— сказал он.

— Хэлло, Билл,— сказал Ник, поднимаясь по ступенькам.

Они постояли на крыльце, глядя на озеро, на сад, на поля за дорогой и поросший лесом мыс. Ветер дул прямо с озера. С крыльца им был виден прибой у мыса Тен-Майл.

— Здорово дует,— сказал Ник.

— Это теперь на три дня,— сказал Билл.

— Отец дома? — спросил Ник.

— Нет. Ушел на охоту. Пойдем в комнаты.

Ник вошел в коттедж. В камине ярко горели дрова. Пламя с ревом рвалось в трубу. Билл захлопнул дверь.

— Выпьем? — сказал он.

Он сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами и кувшином воды. Ник достал с полки над камином бутылку виски.

— Ничего? — спросил он.

— Давай, давай,— сказал Билл.

Они сидели у камина и пили ирландское виски с водой.

— Приятно отдает дымком,— сказал Ник и посмотрел через стакан на огонь.

— Это от торфа,— сказал Билл.

— Торф не может попасть в виски,— сказал Ник.

— Это ничего не значит,— сказал Билл.

— А ты видел когда-нибудь торф? — спросил Ник.

— Нет,— сказал Билл.
— И я не видел,— сказал Ник.
Ник протянул ноги к самому огню, и от его башмаков пошел пар.
— Ты бы разулся,— сказал Билл.
— Я без носков.
— Сними башмаки и просуши, а носки я тебе дам какие-нибудь,— сказал Билл. Он поднялся на чердак, и Ник слышал, как он ходит там, наверху. Чердак был под самой крышей, и Билл с отцом и сам Ник иногда спали там. К чердаку примыкал чулан. Они отодвигали койки с того места, где крыша протекала, и застилали их прорезиненными одеялами.
Билл вернулся с парой толстых шерстяных носков.
— Теперь уже поздновато ходить на босу ногу,— сказал он.
— Терпеть не могу влезать в них после лета,— сказал Ник. Он натянул носки и, откинувшись на спинку стула, положил ноги на экран перед камином.
— Смотри, продавишь,— сказал Билл. Ник переложил ноги на выступ камина.
— Есть что-нибудь почитать? — спросил он.
— Только газета.
— Как дела у «Кардиналов»?
— Проиграли подряд две игры «Гигантам».
— Ну, теперь им крышка.
— Нет, на этот раз просто поддались,— сказал Билл.— До тех пор, пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в Лиге, им бояться нечего.
— Ну, всех-то не скупишь,— сказал Ник.
— Кого нужно, он покупает,— сказал Билл,— или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и Лига с радостью сплавляет их ему.
— Как было с Хайни Зимом,— подтвердил Ник.
— Много ему проку будет от этой дубины.
Билл встал.
— Он здорово бьет,— сказал Ник. Жар от огня припекал ему ноги.
— Хайни Зим неплох в защите,— сказал Билл.— А все-таки команда из-за него проигрывает.
— Может, поэтому Мак Гроу и держится за Хайни,— сказал Ник.
— Может быть,— согласился Билл.
— Нам с тобой ведь не все известно,— сказал Ник.
— Ну, конечно. Хотя для нашей дыры мы не так уж плохо осведомлены.
— Все равно как на скачках: лучше ставить на лошадей, когда их в глаза не видел.
— Вот именно.
Билл взял бутылку виски. Его большая рука охватила всю бутылку. Он налил виски в протянутый Ником стакан.

— Сколько воды?
— Столько же.
Он сел на пол рядом со стулом Ника.
— А хорошо, когда начинается осенняя буря,— сказал Ник.
— Замечательно.
— Самое лучше время года,— сказал Ник.
— Вот уж не согласился бы жить сейчас в городе,— сказал Билл.
— А я хотел бы посмотреть «Уорлд Сириз»,— сказал Ник.
— Ну-у, они теперь играют только в Филадельфии да в Нью-Йорке,— сказал Билл.— Нам от этого ни тепло, ни холодно.
— Все-таки интересно, возьмут когда-нибудь «Кардиналы» первенство или нет?
— Как же, дожидайся! — сказал Билл.
— Вот бы обрадовались ребята! — сказал Ник.
— Помнишь, как они разошлись тогда, перед тем как попали в крушение.
— Да-а! — сказал Ник.
Бил потянулся за книгой, которая лежала заглавием вниз на столе у окна, там, куда он положил ее, когда пошел к двери. Прислонившись спиной к стулу Ника, он держал в одной руке стакан, в другой — книгу.
— Что ты читаешь?
— «Ричарда Феверела».
— А я не одолел его.
— Хорошая книга,— сказал Билл.— Неплохая книга, Уимидж.
— А что у тебя есть, чего я еще не читал? — спросил Ник.
— «Любовь в лесу» читал?
— Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?
— Хорошая книга, Уимидж.
— Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча? Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не помешает.
— Это символ,— сказал Билл.
— Наверно,— сказал Ник.— Только здравого смысла в этом ни на грош.
— А «Отвагу» ты читал?
— Вот это интересно! — сказал Ник.— Настоящая книга. Это — где его отец все время донимает. У тебя есть что-нибудь еще Хью Уолпола?
— «Темный лес»,— сказал Билл.— Про Россию.
— А что он смыслит в России? — спросил Ник.
— Не знаю. Кто их разберет, этих писателей. Может, он жил там еще мальчишкой. Там много всего про Россию.
— Вот бы с ним познакомиться,— сказал Ник.

— А я бы хотел познакомиться с Честертоном,— сказал Билл.

— Хорошо бы, он был сейчас здесь,— сказал Ник.— Мы бы взяли его завтра на рыбалку в Вуа.

— А может, он не захотел бы пойти на рыбалку? — сказал Билл.

— Еще как захотел бы,— сказал Ник.— Он же замечательный малый. Помнишь «Перелетный кабак»?

Если ангел нам предложит
Воду пить, а не вино,—
Мы поклонимся учтиво
И плеснем ее в окно.

— Правильно,— сказал Ник.— По-моему, он лучше Уолпола.

— Еще бы. Конечно, лучше,— сказал Билл.

— Но Уолпол пишет лучше.

— Не знаю,— сказал Ник.— Честертон классик.

— Уолпол тоже классик,— не сдавался Билл.

— Хорошо бы, они оба были здесь, сказал Ник.— Мы бы взяли их завтра на рыбалку в Вуа.

— Давай напьемся,— сказал Билл.

— Давай,— согласился Ник.

— Мой старик ругаться не будет,— сказал Билл.

— Ты в этом уверен? — сказал Ник.

— Ну, конечно,— сказал Билл.

— А я и так уже немного пьян,— сказал Ник.

— Ничего подобного,— сказал Билл.

Он встал с пола и взял бутылку. Ник подставил ему свой стакан. Он не сводил с него глаз, пока Билл наливал виски.

Билл налил стакан до половины.

— Воды сам добавь,— сказал он.— Тут еще только на одну порцию.

— А больше нет? — спросил Ник.

— Есть сколько хочешь, только отец не любит, когда я починаю бутылку.

— Ну, конечно,— сказал Ник.

— Он говорит: те, что починают бутылки, в конце концов спиваются,— пояснил Билл.

— Правильно,— сказал Ник. Это произвело на него большое впечатление. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он всегда думал, что спиваются те, кто пьет в одиночку.

— А как поживает твой отец? — почтительно спросил он.

— Ничего,— сказал Билл.— Правда, иногда на него находит.

— Он у тебя молодец,— сказал Ник. Он подлил себе в стакан воды из кувшина. Виски медленно смешивалось с водой. Виски было больше, чем воды.

— Что и говорить,— сказал Билл.

— Мой старик тоже неплохой,— сказал Ник.

— Ну, еще бы,— сказал Билл.

— Он уверяет, что никогда в жизни не брал в рот спиртного,— сказал Ник торжественным тоном, точно сообщая о факте, имеющем непосредственное отношение к науке.

— Да, но ведь он доктор. А мой старик — художник. Это совсем другое дело.

— Мой много потерял в жизни,— с грустью сказал Ник.

— Кто его знает,— сказал Билл.— Не известно, где найдешь, где потеряешь.

— Он сам говорит, что много потерял,— признался Ник.

— Моему тоже не легко приходилось,— сказал Билл.

— Значит, один черт,— сказал Ник.

Они смотрели на огонь и размышляли над этой глубокой истиной.

— Пойду принесу полено с заднего крыльца,— сказал Ник. Глядя в камин, он заметил, что огонь начинает гаснуть. Кроме того, ему хотелось доказать, что он умеет пить и не терять здравого смысла. Пусть отец никогда не брал спиртного в рот, Билл все равно не напоит его — Ника, пока сам не напьется.

— Выбери из буковых потолще,— сказал Билл. Он тоже был полон здравого смысла.

Ник возвращался с поленом через кухню и по пути сшиб с кухонного стола кастрюлю. Он положил полено на пол и поднял ее. В кастрюле были замочены сушеные абрикосы. Он старательно подобрал с пола все абрикосы — несколько штук закатилось под плиту — и положил их обратно в кастрюлю. Он подлил в абрикосы воды из стоящего рядом ведра. Он гордился собой. Здравый смысл ни на минуту не изменял ему.

Он подошел с поленом к камину. Билл встал и помог ему положить полено в огонь.

— Полено первый сорт,— сказал Ник.

— Я берег его на случай плохой погоды,— сказал Билл.— Такое всю ночь будет гореть.

— И к утру горячие угли останутся на растопку,— сказал Ник.

— Верно,— согласился Билл. Разговор шел в самом возвышенном тоне.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

— В буфете должна быть еще одна початая бутылка,— сказал Билл.

Он присел перед буфетом на корточки и достал оттуда квадратную бутылку.

— Шотландское,— сказал он.

— Пойду за водой,— сказал Ник. Он снова ушел на кухню. Он зачерпнул ковшиком холодной родниковой воды из ведра и налил ее в кувшин. На обратном пути он прошел в столовой мимо зеркала и посмотрелся в него. Узнать себя было трудно. Он улыбнулся лицу в зеркале, и оно ухмыльнулось в ответ. Он подмигнул ему и пошел дальше. Лицо было не его, но это не имело никакого значения.

Билл уже налил виски в стаканы.

— Не многовато ли,— сказал Ник.

— Это нам-то с тобой, Уимидж? — сказал Билл.

— За что будем пить? — спросил Ник, поднимая стакан.

— Давай выпьем за рыбную ловлю,— сказал Билл.

— Хорошо,— сказал Ник.— Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

— Везде и всюду,— сказал Билл.— Где бы ни ловили.

— Рыбная ловля,— сказал Ник.— Пьем за рыбную ловлю!

— А она лучше, чем бейсбол,— сказал Билл.

— Какое же может быть сравнение? — сказал Ник.— Как мы вообще могли говорить о бейсболе?

— Это была ошибка с нашей стороны,— сказал Билл.— Бейсбол — это игра для деревенщины.

Они допили стаканы до дна.

— Теперь выпьем за Честертона.

— И за Уолпола,— подхватил Ник.

Ник налил виски Биллу и себе. Билл подлил в виски воды. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали себя превосходно.

— Джентльмены,— сказал Билл.— Да здравствуют Честертон и Уолпол.

— Принято, джентльмены,— сказал Ник.

Они выпили. Билл снова налил стаканы. Они сидели в глубоких креслах перед камином.

— Это было очень умно с твоей стороны, Уимидж.

— О чем ты? — спросил Ник.

— О том, что ты порвал с Мардж,— сказал Билл.

— Да, пожалуй,— сказал Ник.

— Так и следовало сделать. Если бы ты не сделал этого, пришлось бы тебе уехать домой, работать и копить деньги на женитьбу.

Ник молчал.

— Раз уж человек женился, пропащее дело,— продолжал Билл.— Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел женатых?

Ник молчал.

— Женатого сразу узнаешь,— сказал Билл.— У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка.

— Правильно,— сказал Ник.

— Может, это было нехорошо, порывать так сразу,— сказал Билл.— Но ведь всегда найдешь, в кого влюбиться, и все будет в порядке. Влюбляйся, только не позволяй им портить тебе жизнь.

— Да,— сказал Ник.

— Если бы ты женился на ней, тебе бы досталась в придачу вся их семья. Вспомни только ее мать и этого типа, за которого она вышла замуж.

Ник кивнул.

— Торчали бы они целыми днями у тебя в доме, а тебе пришлось бы ходить к ним по воскресеньям обедать и приглашать их

к себе, а она все время учила бы Мардж, что надо делать и чего не надо.

Ник сидел молча.

— Ты еще легко отделался,— сказал Билл.— Теперь она может выйти замуж за кого-нибудь, кто ей под пару, обзаведется семьей и будет счастлива. Масла с водой не смешаешь, и в этих делах тоже ничего не следует мешать. Все равно, как если бы я женился на Айде, которая служит у Стрэттонов. Она, наверно, была бы не прочь.

Ник молчал. Опьянение прошло и оставило его наедине с самим собой. Не было здесь Билла. Сам он не сидел перед камином, не собирался идти завтра на рыбалку с Биллом и его отцом. Он не был пьян. Все прошло. Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Наверно, никогда не увидит. Все ушло, кончилось.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

Билл налил виски. Ник подбавил в стаканы немного воды.

— Если бы ты не покончил со всем этим, мы бы не сидели сейчас здесь,— сказал Билл.

Это было верно. Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать.

— Мы бы, наверно, и на рыбную ловлю завтра не пошли,— сказал Билл.— Нет, ты правильно поступил.

— А что я мог с собой поделать? — сказал Ник.

— Знаю. Так всегда бывает,— сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Почему так получилось, не знаю. Я ничего не мог с собой поделать. Все равно как этот ветер: налетит — и в три дня не оставит ни одного листка на деревьях.

— Кончилось и кончилось. Это самое главное,— сказал Билл.

— По моей вине,— сказал Ник.

— По чьей вине, это не важно,— сказал Билл.

— Да, верно,— сказал Ник.

Самое главное было то, что Марджори ушла, и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, где они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял.

— Кончилось, и точка, а остальное пустяки,— сказал Билл.— Знаешь, Уимидж, я очень за тебя беспокоился, пока это тянулось. Ты правильно поступил. Ее мамаша на стену лезет от досады. Она всем говорила, что вы помолвлены.

— Мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— А говорят, что были.

— Я тут ни при чем,— сказал Ник.— Мы не были помолвлены.

— Разве вы не собирались пожениться? — спросил Билл.

— Собирались. Но мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— Тогда какая разница? — скептически спросил Билл.

— Не знаю. Разница все-таки есть.

— Я ее не вижу,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.— Давай напьемся.

— Ладно,— сказал Билл.— Напьемся по-настоящему.

— Напьемся, а потом пойдем купаться,— сказал Ник.

Он допил свой стакан.

— Мне ее очень жалко, но что я мог поделать? — сказал он.— Ты же знаешь, какая у нее мать.

— Ужасная! — сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Только напрасно я с тобой заговорил об этом.

— Ты не заговаривал,— сказал Билл.— Это я начал. А теперь все. Больше никогда не будем говорить об этом. Ты только не задумывайся. А то опять примешься за старое.

Такая мысль не приходила Нику в голову. Казалось, все было решено бесповоротно. Над этим стоило подумать. Ему стало легче.

— Конечно,— сказал он.— Это всегда может случиться.

Ему снова стало хорошо. Нет ничего непоправимого. Можно пойти в город в субботу вечером. Сегодня четверг.

— Это не исключено,— сказал он.

— Держи себя в руках,— сказал Билл.

— Постараюсь,— сказал он.

Ему было хорошо. Ничего не кончено. Ничего не потеряно. В субботу он пойдет в город. О чувствовал ту же легкость на душе, что была в нем до того, как Билл начал этот разговор. Лазейку всегда можно найти.

— Давай возьмем ружья и пойдем на мыс, поищем твоего родителя,— сказал Ник.

— Давай.

Билл снял со стены два дробовика. Потом открыл ящик с патронами. Ник надел куртку и башмаки. Башмаки покоробились от огня. Ник все еще не протрезвился, но голова у него была свежая.

— Ну, как ты? — спросил он.

— Прекрасно. В самый раз.— Билл застегивал свитер.

— А напиваться все-таки не стоит.

— Да, пожалуй. Надо было давно пойти погулять.

Они вышли на крыльцо. Ветер бушевал вовсю.

— От такого ветра все птицы в траву попа́дают,— сказал Билл.

Они пошли к саду.

— Я видел вальдшнепа сегодня утром,— сказал Билл.

— Может, нам удастся поднять его,— сказал Ник.

— При таком ветре нельзя стрелять,— сказал Билл.

На воздухе вся история с Мардж не казалась такой трагической. Это было вовсе не так уж важно. Ветер унес все это с собой.

— Прямо с большого озера дует,— сказал Ник.

До них донесся глухой звук выстрела.

— Это отец,— сказал Билл.— Он там, на болоте.

— Пойдем прямиком,— сказал Ник.

— Пойдем нижним лугом, может, поднимем какую-нибудь дичь,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.

Теперь это было совершенно не важно. Ветер выдул все у него из головы. Тем не менее в субботу вечером можно сходить в город. Неплохо иметь это про запас.

Глава пятая

Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени.

ЧЕМПИОН

Ник встал. Он был невредим. Он взглянул на рельсы, на огни последнего вагона, исчезающего за поворотом. По обе стороны железнодорожных путей была вода, а дальше — болото. Он ощупал колено. Штаны были разорваны и кожа содрана. На руках ссадины, песок и зола забились под ногти. Он подошел к краю насыпи, спустился по отлогому склону к воде и стал мыть руки. Он мыл их тщательно в холодной воде, вычищая грязь из-под ногтей. Потом присел на корточки и обмыл колено.

— Вот сволочь, тормозной! Доберусь до него когда-нибудь. Уж я его не забуду! Удружил, нечего сказать! «Поди сюда, паренек, говорит, посмотри-ка, что я тебе покажу».

Он попался на удочку. Вот дурак! Но уж больше его не проведут.

«Поди сюда, паренек, посмотри-ка, что я тебе покажу». Потом — бац! И он упал на четвереньки у самых рельсов.

Ник потер глаз. Над глазом вспухла большая шишка. Непременно синяк будет. Глаз уже болел.

— Вот чертов сын, тормозной!

Он потрогал шишку над глазом. Ну, ничего, синяк будет, только и всего. Он еще дешево отделался. Хорошо бы посмотреть, как разукрасило. В воде не увидишь. Уже стемнело, а он был далеко от жилья. Он вытер руки о штаны, встал и полез вверх по железнодорожной насыпи.

Он пошел по путям. На насыпи было много балласта, и идти было легко. Нога твердо ступала по утрамбованному песку и гравию. Полотно, ровное, как шоссе, пересекало болото. Ник шел и шел. Он должен добраться до жилья.

На товарный поезд Ник вскочил неподалеку от разъезда Уолтон, когда поезд замедлил ход. Калкаску проехали, когда уже начало темнеть. Теперь, наверное, до Манселоны недалеко, мили три-четыре. Он шагал по полотну, стараясь ступать между шпалами; болото терялось в поднимающемся тумане. Глаз болел, и хотелось есть. Он все шел, оставляя позади милю за милей. По обе стороны насыпи все время тянулось болото.

Показался мост. Ник прошел его; шаги гулко раздавались по чугуну. Внизу, сквозь щели между шпалами, чернела вода. Ник столкнул ногой валявшийся на мосту костыль, и он упал в воду.

За мостом начались холмы. Они поднимались черной громадой по обе стороны путей. Впереди Ник увидел костер.

Осторожно ступая, он пошел на огонь. Костер был немного в стороне от путей, под железнодорожной насыпью. Нику был виден только его отсвет. Пути шли между холмами, и там, где горел костер, выемка как бы раздвинулась и терялась в лесу. Ник осторожно сполз с насыпи и вошел в лес, чтобы между деревьями пробраться к костру. Лес был буковый, и он чувствовал под ногами шелуху буковых орешков. С опушки леса костер казался ярким. Возле него сидел человек. Ник остановился за деревом и стал приглядываться. По-видимому, человек был один. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел на костер. Ник шагнул вперед и вошел в освещенное пространство.

Человек сидел и смотрел в огонь. Когда Ник остановился совсем рядом с ним, он не шевельнулся.

— Хэлло! — сказал Ник.

Человек поднял глаза.

— Где фонарь заработал? — сказал.

— Тормозной кондуктор двинул.

— Снимали с товарного?

Да.

— Видел каналью,— сказал человек.— Проехал здесь часа полтора назад. Шел по крышам вагонов, похлопывая себя по бокам и распевая.

— Вот каналья!

— Он, наверное, рад, что спихнул тебя,— сказал человек серьезно.

— Я еще отплачу ему.

— Подстереги его с камнем, когда он будет проезжать обратно,— посоветовал человек.

— Я доберусь до него.

— Ты упрям, видно, а?

— Нет,— ответил Ник.

— Все вы, мальчишки, упрямы.

— Приходится быть упрямым,— сказал Ник.

— Вот я и говорю.

Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза — как щелки, и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.

— Что, нравится моя сковородка? — спросил человек.

Ник смутился.

— Да,— сказал он.

— Смотри.

Человек снял кепку.

У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха культяпка.

— Видал когда-нибудь таких?
— Нет,— сказал Ник. Его слегка затошнило.
— Таких больше нет,— сказал человек.— Правда таких больше нет, малыш?
— Еще бы!
— Кто только меня не бил! — сказал маленький человек.— А мне хоть бы что.
Он смотрел на Ника.
— Садись,— сказал он.— Есть хочешь?
— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Я иду в город.
— Знаешь,— сказал человек,— зови меня Эд.
— Ладно.
— Знаешь,— сказал человечек,— у меня не все в порядке.
— Что с вами?
— Я сумасшедший.
Он надел кепку. Нику стало смешно.
— Да у вас все в порядке,— сказал он.
— Нет, не все. Я — сумасшедший. Послушай, ты был когда-нибудь сумасшедшим?
— Нет,— сказал Ник.— Отчего это случается?
— Не знаю,— сказал Эд.— Случится — и не заметишь как. Ты ведь знаешь меня?
— Нет.
— Я Эд Фрэнсис.
— Ей-богу?
— Не веришь?
— Верю.
Ник почувствовал, что это правда.
— Знаешь, чем я беру?
— Нет,— сказал Ник.
— У меня редкий пульс. Всего сорок в минуту. Пощупай.
Ник колебался.
— Иди сюда.— Человек взял его за руку.— Возьмись вот тут. Пальцы положи так.
Запястье у маленького человечка было широкое, и под кожей вздымались мышцы. Ник почувствовал медленное биение под пальцами.
— Часы есть?
— Нет.
— У меня тоже нет,— сказал Эд.— Тогда ничего не выйдет, если часов нет.
Ник отпустил руку.
— Послушай,— сказал Эд Фрэнсис,— возьмись снова. Ты слушай, я буду считать до шестидесяти.
Ощущая под пальцами медленные, резкие удары, Ник начал считать. Он слышал, как маленький человечек медленно считал вслух — раз, два, три, четыре, пять...
— Шестьдесят,— кончил Эд.— Минута. А у тебя сколько?
— Сорок,— сказал Ник.

— Верно! — обрадовался Эд.— Никогда не учащается.

С насыпи спустился человек, пересек лужайку и подошел к костру.

— Хэлло, Багс! — сказал Эд.

— Хэлло! — ответил Багс.

По говору это был негр. Ник уже по шагам знал, что это негр. Он стоял к ним спиной, наклонясь к огню. Потом выпрямился.

— Это мой друг, Багс,— сказал Эд.— Он тоже сумасшедший.

— Очень приятно,— сказал Багс.— Так вы откуда, говорите?

— Из Чикаго,— сказал Ник.

— Славный город,— сказал негр.— Я не расслышал, как вас зовут?

— Адамс. Ник Адамс.

— Он говорит, что никогда не был сумасшедшим, Багс,— сказал Эд.

— У него еще все впереди,— сказал негр.— Он разворачивал сверток, стоя у огня.

— Скоро есть будем, Багс? — спросил боксер.

— Сейчас.

— Ты голоден, Ник?

— Как собака.

— Слышишь, Багс?

— Я обычно все слышу.

— Да я не о том спрашиваю.

— Да. Я слышал, что сказал этот джентльмен.

Он клал на сковородку куски ветчины. Когда сковородка накалилась и сало стало брызгать, Багс, нагнувшись над костром на своих длинных, как у всех негров, ногах, перевернул куски сала, стал разбивать о сковородку яйца и выливать их в горячее сало.

— Нарежьте, пожалуйста, хлеба, мистер Адамс, он там, в мешке.— Багс повернул голову.

— С удовольствием.

Ник подошел к мешку и достал каравай хлеба. Отрезал шесть ломтей.

Эд нагнулся вперед и наблюдал за ним.

— Дай-ка мне нож, Ник,— сказал он.

— Нет, не давайте,— сказал негр.— Держите нож крепче, мистер Адамс.

Боксер откинулся назад.

— Будьте добры, передайте мне этот хлеб, мистер Адамс,— попросил Багс.

Ник принес ему хлеб.

— Любите макать хлеб в сало? — спросил негр.

— Ну, еще бы!

— Этим лучше займемся потом, на закуску. Пожалуйста.

Негр взял кусок сала, положил его на ломоть хлеба и сверху прикрыл яйцом.

— Теперь накройте еще куском хлеба и передайте, пожалуйста, сандвич мистеру Фрэнсису.

Эд взял сандвич и принялся за еду.

— Смотрите, чтобы яйцо не потекло,— предупредил негр.— Это вам, мистер Адамс. Остальное мне.

Ник впился зубами в сандвич. Негр сидел против него, рядом с Эдом. Горячее поджаренное сало с яйцом было замечательно вкусно.

— Мистер Адамс здорово проголодался,— сказал негр.

Маленький человечек, имя которого было знакомо Нику, как имя чемпиона по боксу, сидел молча. Он не произнес ни слова после разговора о ноже.

— Разрешите обмакнуть ваш хлеб в сало? — сказал Багс.

— Большое спасибо.

Маленький белый человечек посмотрел на Ника.

— А вам, мистер Эдольф Фрэнсис? — предложил Багс.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Мистер Фрэнсис! — раздался мягкий голос негра.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Я вас спрашиваю, мистер Фрэнсис,— мягко повторил негр.

Эд продолжал смотреть на Ника. Кепка у него была надвинута на глаза. Нику стало не по себе.

— Какой черт тебя сюда принес? — раздался резкий вопрос из-под кепки.— Кого ты из себя корчишь? Ты, сопляк несчастный! Приходит, куда его не звали, а попросишь нож, так корчит из себя...

Он не спускал глаз с Ника, лицо у него было белое, а глаз почти не было видно из-под козырька.

— Ты, недоносок! Кто тебя сюда звал?

— Никто.

— Правильно, черт побери, никто не звал. И оставаться никто не просил. Пришел, наговорил гадостей о моем лице, курит мои сигары, пьет мое вино, да еще рассуждает, сопляк! Ты думаешь, тебе это так сойдет?

Ник ничего не ответил. Эд встал.

— Погоди, желторотая чикагская каналья! Я тебе голову проломлю! Понял?

Ник подался назад. Маленький человечек медленно шел на него, тяжело ступая, выставляя вперед левую ногу и потом подтягивая к ней правую.

— Ударь меня! — качнул он головой.— Попробуй только!

— Да я не хочу.

— Тебе это так не сойдет. Ты еще попробуешь моих кулаков, слышишь? Ну, бей первый!

— Бросьте вы,— сказал Ник.

— Ах, ты так, каналья!

Маленький человечек посмотрел на ноги Ника. Когда он опустил глаза, негр, шедший за ним от самого костра, нацелился и ударил его по затылку. Он упал вперед, и Багс уронил на траву кастет, обмотанный тряпкой. Маленький человек лежал, уткнувшись лицом в траву. Негр поднял Эда и отнес к костру. Голова

у него свесилась, лицо было страшно, глаза открыты. Багс бережно положил его на землю.

— Принесите, пожалуйста, ведро с водой, мистер Адамс,— сказал он.— Боюсь, что ударил его чересчур сильно.

Негр брызнул ему в лицо водой и осторожно потянул за ухо. Глаза закрылись.

Негр выпрямился.

— Все в порядке,— сказал он.— Беспокоиться нечего. Простите, мистер Адамс.

— Ничего, ничего.

Ник смотрел вниз, на маленького человечка. Он увидел на траве кастет и поднял его. Ручка гнулась, и ему показалось, что он мягкий. Черная кожа на нем была потерта, а тяжелый конец был обмотан носовым платком.

— Ручка из китового уса,— улыбнулся негр.— Таких теперь не делают. Я не знал, сумеете ли вы с ним справиться, и потом, не хотел, чтобы вы ударили его или изуродовали еще больше.

Негр опять улыбнулся.

— Но вы сами его ударили.

— Я знаю, как ударить. Он даже знать не будет. Мне приходится делать это, чтобы успокоить его в такие минуты.

Ник все еще смотрел на маленького человечка, лежавшего с закрытыми глазами в свете костра. Багс подбросил дров в огонь.

— Не бойтесь за него, мистер Адамс. Я вижу его таким не первый раз.

— Отчего он свихнулся? — спросил Ник.

— О, от многого,— ответил негр, стоя у костра.— Не хотите ли чашку кофе, мистер Адамс?

Он протянул Нику чашку и поправил пальто, которое он подложил под голову человека, лежащего без чувств.

— Во-первых, его слишком много били.— Негр потягивал кофе.— Но от этого он только поглупел. Потом за импресарио у него была сестра, и в газетах всегда писали всякое про братьев и сестер, и о том, как она любила брата и как он любил сестру, и они поженились в Нью-Йорке, и из-за этого вышло много неприятностей.

— Я помню это.

— Ну вот. Конечно, они такие же брат с сестрой, как мы с вами, но все равно, многим это не понравилось, и между ними начались ссоры, и однажды она просто уехала и больше не вернулась.

Он допил кофе и вытер губы розовой ладонью.

— Он сразу и сошел с ума. Хотите еще кофе, мистер Адамс?

— Спасибо.

— Я видел ее несколько раз,— продолжал негр.— Она ужасно красивая женщина. Похожа на него как две капли воды. Он был совсем недурен, если бы лицо ему не изуродовали.

Он остановился. Казалось, рассказ на этом кончился.

— Где вы с ним познакомились? — спросил Ник.

— В тюрьме,— сказал негр.— Он стал бросаться на людей, с тех пор как она ушла, и его посадили в тюрьму. А меня — за то, что человека зарезал.

Он улыбнулся и продолжал тихо:

— Он мне сразу понравился, и, когда я вышел, я разыскал его. Ему нравится считать меня сумасшедшим, а мне все равно. Мне нравится быть с ним, и я люблю путешествовать, и воровать для этого не приходится. Мне нравится жить по-джентльменски.

— Что же вы с ним делаете?

— Да ничего. Просто ездим с места на место. У него есть деньги.

— Он, наверно, здорово зарабатывал?

— Еще бы! Хотя он уже все прожил. А может быть, обворовали. Она присылает ему деньги.

Он поправил костер.

— Она замечательная женщина,— сказал он.— Она похожа на него как две капли воды.

Негр оглянулся на маленького человечка, который тяжело дышал. Его светлые волосы свисали на лоб. Изуродованное лицо было по-детски безмятежно.

— Я могу привести его в чувство в любую минуту, мистер Адамс. Не сердитесь, но я думаю, вам лучше уйти. Я не хочу быть невежливым, а увидя вас, он может опять выйти из себя. Терпеть не могу бить его, а это единственный способ его успокоить, когда он разойдется. Мне приходится держать его подальше от людей. Вы не сердитесь, мистер Адамс? Нет, не благодарите меня, мистер Адамс. Мне следовало предупредить вас, но мне показалось, что вы ему очень понравились, и я надеялся, что все обойдется хорошо. До города по полотну всего две мили. Он называется Масселона. Прощайте! Я с удовольствием пригласил бы вас переночевать с нами, но об этом и говорить нечего. Может, возьмете с собой хлеба с салом? Нет? Возьмите все-таки сандвич.

Все это он говорил низким, ровным, вежливым голосом.

— Вот и хорошо. Ну, прощайте, мистер Адамс. Прощайте! Всего вам доброго!

Ник пошел прочь от костра, пересек лужайку и направился к железнодорожным путям. Вступив в темноту, он прислушался. Негр говорил низким, мягким голосом. Ник не различал слов. Потом он услышал, как маленький человечек сказал:

— У меня ужасно болит голова, Багс.

— Ничего, пройдет, мистер Фрэнсис,— утешал голос негра.— Выпейте чашку горячего кофе.

Ник вскарабкался на насыпь и пошел по путям. Он заметил, что держит в руке сандвич с салом, и сунул его в карман. Пока рельсы не повернули за холм, он оглядывался назад и видел отсвет костра у опушки леса.

Глава шестая

Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца. Дальше по улице были еще убитые. Бой в городе приближался к концу. Все шло хорошо. Теперь с минуты на минуту можно было ожидать санитаров. Ник осторожно повернул голову и посмотрел на Ринальди. «Senta[1]*, Ринальдо, senta. Оба мы с тобой заключили сепаратный мир». Ринальди неподвижно лежал на солнце и тяжело дышал. «Мы с тобой плохие патриоты». Ник осторожно отвернулся, силясь улыбнуться. Ринальди был безнадежным собеседником.*

[1] Слушай *(итал.)*.

ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Душным вечером в Падуе его вынесли на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх городских домов. Высоко в небе летали стрижи. Скоро стемнело, и зажглись прожекторы. Все остальные пошли вниз и взяли с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи.

Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Duomo[1] помолиться. Там было тихо и полутемно, и, кроме них, были еще молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для оглашения оставалось слишком мало, и потом, у них не было метрических свидетельств. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы все знали об этом и чтобы это было прочно.

Люз писала ему много писем, которые дошли только после перемирия. Он их получил на фронте, пятнадцать сразу, подобрал их по числам и прочел все подряд. В них говорилось о госпитальных новостях и о том, как сильно она его любит, и как она жить без него не может, и как ей не хватает его по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Он не должен пить, и он не будет встречаться ни с кем из своих приятелей и вообще ни с кем в Штатах.

[1] Собор *(итал.)*.

Прежде всего — достать работу и пожениться. По дороге из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не была забыта. Ему было досадно, что они так нехорошо простились.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон Ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно, и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она не сомневается, что перед ним большое будущее, и твердо верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку.

Глава седьмая

Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе». Огонь передвинулся дальше по линии. Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх, в «Вилла-Росса». И никому никогда не говорил.

ДОМА

Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и высоты. В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия была отозвана с Рейна летом 1919 года.

Есть фотография, на которой он и еще один капрал сняты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятеле кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна на фотографии не видно.

К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне, устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.

Сначала Кребсу, побывавшему под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.

Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха. Его знакомые, которые слыхали обстоятельные рас-

сказы о немецких женщинах, прикованных к пулеметам в Аргоннском лесу, как патриоты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.

Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал только одно — непрестанный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.

Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.

По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.

До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его был агент по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы везти клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны, машина была все та же.

В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых девушек! Почти все они были стрижены. Когда он уезжал, стрижеными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички, выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Нравились стриженые волосы, нравилась их походка.

Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило.

Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастается тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастается, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины.

Все это вранье. И то и другое вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время, женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.

Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтобы она пришла к нему сама и чтоб не нужно было разговаривать. Но здесь это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается. Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.

Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они нравились ему гораздо больше, чем француженки и немки,— но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он. Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить время на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае — не теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.

Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в ней мало карт, и предвкушал то удовольствие, с каким прочтет все действительно хорошие книги о войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.

Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:

— Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.

— Да? — сказал Кребс, еще не совсем проснувшись.— Брать машину?

— Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об этом уговорились.

— Верно, это ты его заставила,— сказал Кребс.

— Нет. Отец сам об этом заговорил.

— Да? Как же! Верно, это ты его заставила.

Кребс сел в постели.

— Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? — спросила мать.

— Как только оденусь,— ответил Кребс.

Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и одевался, готовясь сойти в столовую. Пока он завтракал, сестра принесла почту.

— Здравствуй, Гарри! — сказала она.— Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.

Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.

— Газеты есть? — спросил он.

Она протянула ему «Канзас-Сити Стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды.

— Гарольд,— мать стояла в дверях кухни,— Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет читать измятую.

— Я не изомну,— сказал Кребс.

Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

— Сегодня в школе мы играем в бейсбол,— сказала она.— Я буду подавать.

— Это хорошо,— сказал Кребс.— Ну, как там у вас в команде?

— Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют неважно.

— Да? — сказал Кребс.

— Я всем говорю, что ты — мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?

— Ну, еще бы.

— Разве брат не может ухаживать за сестрой, только потому что он брат?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?

— Ну да. Я и теперь твой поклонник.

— Правда, Гарри?

— Ну да.

— Ты меня любишь?

— Угу.

— И всегда будешь любить?

— Ну да.

— Ты пойдешь смотреть, как я играю?

— Может быть.

— Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.

Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.

— Поди к себе, Эллен,— сказала она.— Мне нужно поговорить с Гарольдом.

Она поставила перед Гарольдом яичницу с салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.

— Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? — сказала она.

Кребс положил газету на стол и разгладил ее.

— Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? — спросила мать, снимая очки.

— Нет еще,— сказал Кребс.

— Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

— Я еще не думал,— сказал Кребс.

— Бог всем велит работать,— сказала мать.— В царстве божием не должно быть лентяев.

— Я не в царстве божием,— ответил Кребс.

— Все мы в царстве божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

— Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд,— продолжала мать.— Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о Гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.

Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.

— Отец тоже беспокоится,— продолжала она.— Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как Чарли Симмонс, уже выбрали себе путь, и общество может гордиться ими.

Кребс молчал.

— Не гляди так, Гарольд,— сказала мать.— Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы. Он разрешает тебе брать машину. Если тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся. Всякий труд почтенен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему в контору?

— Это все? — спросил Кребс.

— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

— Да, не люблю,— сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

— Я никого не люблю,— сказал Кребс.

Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен,— сказал Кребс.— Я не хотел сказать, что я не люблю тебя...

Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.

— Ты не веришь мне, мама?

Мать покачала головой.

— Ну, прошу тебя, мама. Прошу тебя, поверь мне.

— Хорошо,— сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него.— Я верю тебе, Гарольд.

Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.

— Я тебе мать,— сказала она.— Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.

Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.

— Я знаю, мамочка,— сказал он.— Я постараюсь быть тебе хорошим сыном.

— Может быть, ты станешь на колени и помолишься вместе со мной, Гарольд? — спросила мать.

Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.

— А теперь помолись ты, Гарольд,— сказала она.

— Не могу,— ответил Кребс.

— Постарайся, Гарольд.

— Не могу.

— Хочешь, я помолюсь за тебя?

— Хорошо.

Мать молилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это нисколько его не тронуло. Ему стало жаль матери, и поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае, теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.

Глава восьмая

В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Грэнд-авеню. Древетс и Бойл приехали туда на форде из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл застрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в кузове. Древитс испугался, когда увидел, что оба они убиты наповал.

— Стой, Джимми,— сказал он.— Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

— Ворье они или не ворье? — сказал Бойл.— Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

— Ну, может, на этот раз сойдет,— сказал Древитс,— но почем ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— В итальяшек-то? — сказал Бойл.— Да я итальяшек за квартал вижу.

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В 1919 году он разъезжал по железным дорогам Италии с квадратным кусочком клеенки, выданным партийной организацией, на котором было написано химическим карандашом, что предъявитель сего сильно потерпел при белых в Будапеште и что товарищей просят оказывать ему всяческое содействие. Этот кусочек клеенки служил ему вместо железнодорожного билета. Он был очень застенчивый и совсем еще юный, и проводники передавали его от одной бригады к другой. Денег у него не было, и его кормили в станционных буфетах позади стойки.

Италия ему очень полюбилась. Какая прекрасная страна, говорил он. Люди здесь такие приветливые. Он побывал во многих городах, много ходил по улицам, посещал картинные галереи. Он покупал репродукции с картин Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франческа и заворачивал их в старый номер «Аванти». Мантенья ему не понравился.

В Болонье он явился в местную организацию, и я взял его с собой в Романью, где мне надо было встретиться с одним человеком. Мы хорошо провели время в дороге. Стояли первые дни сентября, и все вокруг радовало глаз. Он был мадьяр — очень милый, очень застенчивый юноша. Хортисты обошлись с ним жестоко. Кое о чем он порассказал мне. Несмотря на то что произошло в Венгрии, он безоговорочно верил в мировую революцию.

— А как развивается движение у вас, в Италии? — спросил он.

— Из рук вон плохо,— ответил я.

— Дальше дела пойдут лучше,— сказал он.— У вас для этого есть все условия. Италия — единственная страна, в которой никто не сомневается. С нее дальше все и пойдет.

Я промолчал.

В Болонье он простился с нами перед отъездом в Милан, из Милана поехал в Аосту, а оттуда должен был идти пешком через

перевал в Швейцарию. Я заговорил с ним о картинах Мантеньи в Милане. Нет, застенчиво сказал он, Мантенья ему не нравится. Я написал на клочке бумаги, где его покормят в Милане, и дал адреса товарищей. Он горячо благодарил меня, но чувствовалось, что мысли его уже далеко — на перевале. Ему хотелось совершить переход, пока погода не испортилась. Он любил горы осенью. В Сионе швейцарцы посадили его в тюрьму, и это было последнее, что я о нем слышал.

Глава девятая

Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

МИСТЕР И МИССИС ЭЛЛИОТ

Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка. Они старались, насколько у миссис Эллиот хватало сил. Старались в Бостоне, когда поженились, и на пароходе, во время переезда в Европу. На пароходе они старались не очень часто, потому что миссис Эллиот совсем разболелась. Ее мутило от качки, а когда ее мутило, то мутило так, как мутит всех южанок, то есть уроженок южной части Соединенных Штатов. Как все южанки, миссис Эллиот очень быстро расклеивалась от морской болезни, оттого, что приходилось путешествовать ночью и слишком рано вставать по утрам. Многие пассажиры на пароходе были уверены, что она мать Эллиота. Другие, знавшие, что это муж и жена, думали, что она беременна. На самом деле ей просто было сорок лет. Ее возраст сразу дал себя знать, когда она начала путешествовать.

Она казалась много моложе, вернее — казалась женщиной без возраста, когда Эллиот женился на ней, после того как несколько недель за ней ухаживал, после того как долгое время ходил в ее кафе, до того как однажды вечером поцеловал ее.

Перед женитьбой Хьюберт Эллиот прошел курс юридических наук в Гарвардском университете и был оставлен при кафедре. Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться. Его поражало и прямо-таки приводило в ужас, как это девушки решались на помолвку и даже на брак с мужчинами, зная, какому разврату они предавались до женитьбы. Однажды он попробовал отговорить знакомую девушку от брака с человеком, который, как он знал почти наверняка, вел распутный образ жизни в студенческие годы, и это привело к очень неприятному инциденту.

Миссис Эллиот звали Корнелия. Она захотела, чтобы он называл ее Калютина, как ее прозвали на Юге, в семье. Его мать расплакалась, когда он после свадьбы привез Корнелию к ней в гости, но, узнав, что они будут жить за границей, сразу повеселела.

Когда он сообщил Корнелии, что оставался невинным в ожидании ее, она сказала: «Мой милый, дорогой мальчик»,— и обняла его крепче обычного. Корнелия тоже была невинна. «Поцелуй меня так еще раз»,— сказала она.

Хьюберт объяснил ей, что об этом способе целоваться ему рассказал один приятель. Он был в восторге от своего открытия, и они совершенствовали его, насколько было возможно. Иногда, после того как они долго целовались, Корнелия просила его еще раз повторить ей, что он действительно оставался невинным в ожидании ее. Это признание неизменно придавало ей сил.

Сначала Хьюберту не приходило в голову жениться на Корнелии. Он никогда не думал о ней как о женщине. Они были просто друзьями; а потом как-то вечером они танцевали под граммофон в маленькой комнате позади кафе, пока за кассой сидела ее подруга, и она посмотрела ему в глаза, и он поцеловал ее. Он так и не мог потом припомнить, когда именно было решено, что они поженятся. Но они поженились.

Ночь после свадьбы они провели в Бостоне, в отеле. Оба ожидали большего, но в конце концов Корнелия уснула. Хьюберт не мог уснуть и несколько раз вставал и ходил взад и вперед по коридору отеля в новом егерском халате, который он купил для свадебного путешествия. Он смотрел на бесконечные пары ботинок — маленьких туфель и больших штиблет,— выставленных за двери номеров. От этого сердце у него забилось, и он поспешил к себе в номер, но Корнелия спала. Ему не захотелось будить ее, и скоро все снова пришло в порядок и он мирно заснул.

На следующий день они были с визитом у его матери, а еще через день отплыли в Европу. Теперь они имели возможность подумать о ребенке, но Корнелия не особенно часто была расположена к этому, хотя они желали ребенка больше всего на свете. Они высадились в Шербуре и приехали в Париж. В Париже они тоже старались иметь ребенка. Потом они решили поехать в Дижон, где открылся летний университет и куда поехали многие из тех, кто был с ними на пароходе. В Дижоне, как выяснилось, нечего было делать. Впрочем, Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка. Она часто плакала, и до отъезда из Дижона они несколько раз старались иметь ребенка.

Они вернулись в Париж, и многие из знакомых по пароходу тоже вернулись туда. Дижон им надоел, к тому же они теперь получили возможность рассказывать, что, окончив курс в Гарвардском, или в Колумбийском, или в Уобашском университете, они

слушали лекции в Дижоне, департамент Кот-д'Ор. Многие из них предпочли бы поехать в Лангедок, Монпелье или Перпеньян, если только там есть университеты. Но все это слишком далеко. Дижон всего в четырех с половиной часах езды от Парижа, и в поезде есть вагон-ресторан.

Так и случилось, что все они несколько дней ходили в кафе «Купол», избегая показываться в «Ротонде» напротив, потому что там всегда полно иностранцев, а потом Эллиоты, по объявлению в «Нью-Йорк геральд», сняли château[1] в Турени. Эллиот успел приобрести много друзей, восхищавшихся его стихами, а миссис Эллиот уговорила его выписать из Бостона ее подругу, которая работала с нею в кафе. С приездом подруги миссис Эллиот заметно повеселела, и они не раз всплакнули вдвоем. Подруга была на несколько лет старше Корнелии и называла ее «крошка». Она тоже была южанка родом, из очень старинной семьи.

Они трое и еще несколько друзей Эллиота, называвших его Хьюби, поехали вместе в туреньский château. Турень оказалась плоской, жаркой равниной, очень напоминавшей Канзас. У Эллиота к этому времени накопилось стихов почти на целый томик. Он собирался выпустить его в Бостоне и уже послал издателю чек и заключил с ним договор.

Скоро друзья один за другим потянулись в Париж. Турень не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Через некоторое время все друзья уехали в приморский курорт близ Трувиля с одним молодым поэтом, богатым и холостым. Там все они были очень счастливы.

Эллиот остался в туреньском château, потому что он снял его на все лето. Они с миссис Эллиот очень старались иметь ребенка, когда спали в большой жаркой спальне на большой жесткой кровати. Миссис Эллиот училась писать на машинке по слепой системе, и оказалось, что хотя писать так быстрее, но опечаток получается больше. Почти все рукописи теперь переписывала подруга. Она работала очень аккуратно и быстро, и это занятие, видимо, доставляло ей удовольствие.

Эллиот стал пить много белого вина и перебрался в отдельную спальню. По ночам он писал стихи, и утром вид у него бывал утомленный. Миссис Эллиот и ее подруга теперь спали вместе на большой средневековой кровати. Они всласть поплакали вдвоем. Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы.

[1] Замок *(франц.)*.

Глава десятая

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремена, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно, которые хлестали его сзади прутьями по ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

КОШКА ПОД ДОЖДЕМ

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли.

— Я пойду вниз и принесу киску,— сказала американка.

— Давай я пойду,— отозвался с кровати ее муж.

— Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.

Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.

— Смотри не промокни,— сказал он.

Американка спустилась по лестнице, и, когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик.

— Il piove [1],— сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.

---

[1] Дождь идет *(итал.)*.

— Si, si, signora, brutto tempo. Сегодня очень плохая погода.

Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.

Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.

— Чтобы вы не промокли,— улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее.

Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее.

— Ha perduta qualque cosa, signora? [1]

— Здесь была кошка,— сказала молодая американка.

— Кошка?

— Si, il gatto [2].

— Кошка? — Служанка засмеялась.— Кошка под дождем?

— Да,— сказала она,— здесь, под столиком.— И потом: — А мне так хотелось ее, так хотелось киску...

Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.

— Пойдемте, синьора,— сказала она,— лучше вернемся. Вы промокнете.

— Ну что же, пойдем,— сказала американка.

Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, padrone [3] поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии padrone она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал.

— Ну, принесла кошку? — спросил он, опуская книгу.

— Ее уже нет.

— Куда же она девалась? — сказал он, на секунду отрываясь от книги.

Она села на край кровати.

---

[1] Вы что-нибудь потеряли, синьора? *(итал.)*
[2] Да, кошка *(итал.)*.
[3] Хозяин *(итал.)*.

— Мне так хотелось ее,— сказала она.— Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.

Джордж уже снова читал.

Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.

— Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? — спросила она, снова глядя на свой профиль.

Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами.

— Мне нравится так, как сейчас.

— Мне надоело,— сказала она.— Мне так надоело быть похожей на мальчика.

Джордж переменил позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.

— Ты сегодня очень хорошенькая,— сказал он.

Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.

— Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать,— сказала она.— Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

— Мм,— сказал Джордж с кровати.

— И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье...

— Замолчи. Возьми почитай книжку,— сказал Джордж. Он уже снова читал.

Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.

— А все-таки я хочу кошку,— сказала она.— Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?

Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.

В дверь постучали.

— Avanti [1],— сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.

В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках.

— Простите,— сказала она.— Padrone посылает это синьоре.

---

[1] Войдите *(итал.)*.

Глава одиннадцатая

Толпа кричала не переставая и со свистом и гиканьем бросала на арену корки хлеба, фляги, подушки. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, согнул колени и лег на песок, и один из куадрильи наклонился над ним и убил его ударом пунтильо. Толпа бросилась через барьер и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, а потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Вечером я видел матадора в кафе. Он был маленького роста, с темным лицом, и он был совершенно пьян. Он говорил: «В конце концов со всяким может случиться. Ведь я не какая-нибудь знаменитость».

НЕ В СЕЗОН

На четыре лиры, которые Педуцци заработал, копая землю в саду отеля, он напился. Он увидел американца, проходившего по аллее, и с таинственным видом заговорил с ним. Американец ответил, что он еще не завтракал, но охотно пойдет с ним, как только завтрак кончится. Минут через сорок, через час.

В кантине у моста Педуцци дали в долг еще три стакана граппы: ведь он так уверенно и так многозначительно говорил о своем предстоящем заработке. Было ветрено, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь. Чудесный день для ловли форели.

Американец вышел из отеля и спросил Педуцци, как быть с удочками. Надо ли, чтобы жена с удочками шла отдельно?

— Да,— ответил Педуцци,— пусть синьора идет отдельно.

Американец вернулся в отель и поговорил с женой. Он и Педуцци вышли на дорогу. У американца через плечо висела сумка. Педуцци увидел американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была так же молода, как и муж. Она пошла за ними, неся в руках разобранные удочки. Педуцци не нравилось, что она идет так далеко позади.

— Синьорина, подойдите к нам,— сказал он, подмигивая молодому человеку,— пойдемте все вместе. Синьора, подойдите сюда. Давайте пойдем вместе.

Педуцци хотелось, чтобы они все вместе прошли по улицам Кортино.

Американка шла позади с недовольным видом.

— Синьорина,— нежно позвал ее Педуцци,— подите сюда, к нам.

Муж оглянулся и что-то крикнул ей. Она прибавила шагу и поравнялась с ними.

Со всеми прохожими, попадавшимися им на главной улице городка, Педуцци усердно раскланивался, снимая шляпу.

— Buon dí Arturo! [1]

Банковский служащий уставился на него из дверей кафе. Кучка людей, стоявших около магазинов, глазела на троих проходивших. Рабочие с постройки нового отеля, в блузах, измазанных известкой, разглядывали их. Никто не заговаривал с ними и не кланялся, кроме нищего, худого старика с заплеванной бородой, который приподнял шляпу, когда они поравнялись с ним.

Педуцци остановился около магазина, где в окне стояло много бутылок, и достал из бокового кармана своей старой военной шинели пустую бутылку из-под граппы.

— Чуточку винца, немного марсалы для синьоры, самую малость винца.

Он размахивал бутылкой. Вот выдался денек!

— Марсала. Вы любите марсалу, синьорина? Немного марсалы.

У американки был недовольный вид.

— Очень нужно было тебе с ним связываться,— сказала она мужу.— Я не понимаю ни одного слова. Он же пьян.

Молодой человек делал вид, что не слышит Педуцци, а в то же время думал: какого черта далась ему эта марсала? Это ведь любимое вино Манси Бирболи.

— Geld [2],— произнес в конце концов Педуцци, хватая американца за рукав.

Он улыбнулся, не смея быть настойчивым, но желая заставить американца действовать.

Молодой человек вынул бумажник из кармана и протянул ему десять лир. Педуцци поднялся по ступенькам в лавку, где на вывеске было написано: «Продажа местных и заграничных вин». Лавка была заперта.

— Закрыта до двух часов,— неодобрительно сказал какой-то прохожий.

Педуцци спустился по ступенькам.

— Не беда,— сказал он.— Достанем в «Конкордии».

Они все рядом пошли по дороге, направляясь к «Конкордии». На крыльце «Конкордии», где были свалены заржавленные санки-бобсли, молодой человек спросил у него:

— Was wollen sie? [3]

Педуцци протянул ему бумажку в десять лир, сложенную в несколько раз.

— Ничего,— сказал он.— Так, чего-нибудь.

Он растерялся.

— Может, марсалу. Я не знаю. Марсалы бы...

Дверь «Конкордии» захлопнулась за американцем и его женой.

---

[1] Добрый день, Артур! *(итал.)*
[2] Деньги *(нем.)*.
[3] Что угодно? *(нем.)*

— Три рюмки марсалы,— сказал американец продавщице, стоявшей за стойкой.

— Две, хотите вы сказать? — спросила девушка.

— Нет,— ответил американец,— три: одна для vecchio [1].

— О,— сказала она,— для vecchio? — и засмеялась, доставая бутылку. Потом налила мутную жидкость в три рюмки.

Американка сидела у стены, на которой висели газеты. Муж поставил перед ней рюмку.

— Выпей немножко. Может быть, тебе будет лучше.

Она молча смотрела на рюмку. Американец вышел из комнаты с рюмкой для Педуцци, но не нашел его.

— Не знаю, где он,— сказал он, входя обратно в комнату и держа рюмку в руке.

— Ему бы четверть,— сказала жена.

— А сколько стоит четверть литра? — спросил американец продавщицу.

— Белого? Лира.

— Нет, марсалы. И это туда же,— сказал он, протягивая ей рюмку, которая предназначалась для Педуцци, и свою.

Девушка стала лить вино через воронку.

— А теперь нужно бутылку, чтобы захватить вино с собой,— сказал американец.

Продавщица пошла искать бутылку. Все это ее очень забавляло.

— Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни,— сказал американец.— Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения.

— Какая разница? — сказала она.— В конце концов мне безразлично.

— Тебе не холодно? — спросил он.— Почему ты не надела второй свитер?

— На мне уж и так три.

В комнату вошла продавщица с узкой темной бутылкой в руках и вылила туда марсалу. Американец заплатил еще пять лир. Они вышли. Продавщицу все это забавляло. Педуцци прохаживался взад и вперед в конце улицы, где было не так ветрено, держа в руках удочки.

— Пойдем,— сказал он.— Я понесу удочки. Что за беда, если кто-нибудь нас увидит? Нас никто не тронет. В Кортино меня никто не тронет. Я всех знаю в municipio [2]. Я бывший солдат. Все в городе любят меня. Я торгую лягушками. Ну что же, что запрещено удить рыбу? Наплевать! Сущая ерунда. Не волнуйтесь. Крупная форель, говорю я вам, и сколько угодно.

Они спустились с холма к реке. Город остался позади. Солнце спряталось, и накрапывал дождь.

---

[1] Старик *(итал.)*.

[2] Городской совет *(итал.)*.

— Вот там,— сказал Педуцци, показывая на девушку, стоявшую на пороге дома, мимо которого они проходили,— meine Tochter[1].

— Какой доктор? — сказала американка.— Разве он хочет показать нам своего доктора?

— Он говорит Tochter,— сказал американец.

Девушка, на которую показывал Педуцци, вошла в дом.

Они спустились с холма через поле, потом повернули и пошли вдоль берега реки. Педуцци говорил быстро, многозначительно подмигивая. Они шли рядом, и американка чувствовала, как от Педуцци пахнет вином. Один раз он даже толкнул ее локтем. Он говорил то на диалекте Ампеццо, то на немецко-тирольском диалекте. Он никак не мог сообразить, какой же язык его спутники лучше понимают, и поэтому говорил на обоих. Но когда американец произнес: «ja, ja»[2], Педуцци решил окончательно перейти на тирольский. Молодые люди ничего не понимали.

— Когда мы проходили по городу, все нас видели. За нами, наверное, следит речная охрана. Очень жалею, что мы в это дело впутались. Да еще этот старый дурак вдребезги пьян.

— А у тебя, конечно, не хватает духу вернуться назад,— сказала американка.— Тебе непременно нужно идти с ним дальше.

— А ты бы вернулась? Возвращайся домой, Тайни.

— Я останусь с тобой. Уж если садиться в тюрьму, так, по крайней мере, вместе.

Они круто повернули к воде, и Педуцци остановился, отчаянно жестикулируя и указывая на реку. Шинель его развевалась по ветру. Вода была грязная и мутная. Направо на берегу лежала кучка мусора.

— Да говорите по-итальянски,— сказал американец.

— Una mezz'ora. Piu d'una mezz'ora[3].

— Он говорит, что нам еще, по крайней мере, полчаса ходу. Возвращайся лучше домой, Тайни. Ты и так уже озябла на этом ветру. Погода мерзкая, и все равно ничего интересного не предвидится.

— Хорошо,— ответила американка и стала взбираться на поросший травой берег.

Педуцци был внизу, у реки, и заметил, что американка ушла, только когда она была уже на гребне холма.

— Фрау! — закричал он.— Фрейлейн! Фрау, что же вы уходите?

Американка скрылась за холмом.

— Ушла,— сказал Педуцци. Он был возмущен.

Он снял резинку, которой были связаны удочки, и начал собирать их.

— Но ведь вы же сказали, что еще полчаса ходу.

---

[1] Моя дочка *(нем.)*.
[2] Да, да *(нем.)*.
[3] Полчаса. Больше получаса *(итал.)*.

— Да, да. Там очень хорошо. Но здесь тоже хорошо.

— Правда?

— Ну, конечно. И здесь хорошо, и там хорошо.

Американец сел на берегу, собрал удочку, приладил катушку и протянул леску через кольцо. Ему было не по себе, и он боялся, что каждую минуту может нагрянуть речная охрана или на берегу появится толпа местных жителей. Он видел городские дома и кампаниллу над гребнем холма. Он открыл свой ящик с поводками. Педуцци наклонился и засунул туда свой плоский заскорузлый большой палец и указательный и смешал влажные поводки.

— А грузило есть у вас?

— Нет.

— У вас должно быть грузило.— Педуцци был взволнован.— Нельзя без piombo[1]. Piombo. Немного piombo. Вот тут. Как раз над крючком, а то наживка будет плавать по воде. Обязательно надо piombo. Хоть маленький кусочек.

— А у вас есть?

— Нет.

Он стал лихорадочно шарить в карманах, роясь в грязной подкладке своей шинели.

— Ничего нет. Нельзя без piombo.

— Ну, так, значит, удить нельзя,— сказал американец и разобрал удочку, наматывая обратно леску через кольцо.— Мы достанем piombo и будем удить завтра.

— Ну, послушайте, piombo, у вас должно быть piombo. Иначе леска будет плавать по воде.

На глазах Педуцци рушились все надежды.

— Piombo должно быть у вас. Нам хватит кусочка. Удочки у вас совсем новенькие, а вот грузила нет. Я бы принес. А вы сказали, что все у вас есть.

Американец смотрел на реку, мутную от тающего снега.

— Ну что же,— сказал он,— мы раздобудем немного piombo и будем удить завтра.

— Утром? В котором часу?

— В семь.

Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно. Американец почувствовал облегчение. Он уже больше не нарушает закона. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку с марсалой и передал ее Педуцци. Педуцци передал ее обратно. Американец сделал глоток и передал бутылку Педуцци. Педуцци передал ее опять обратно.

— Пейте,— сказал он,— пейте. Это ваша марсала.

Сделав еще маленький глоток, американец снова протянул бутылку Педуцци. Тот внимательно посмотрел на нее, потом торопливо схватил и залпом выпил. Седые волосы в складках его шеи шевелились, когда он пил, глаза не отрываясь смотрели на узкую темную бутылку. Он выпил ее до дна. Пока он пил, свети-

---

[1] Свинец *(итал.)*.

ло солнце. Было чудесно. Все-таки это был удачный день! Чудесный день!

— Senta, caro! [1] Завтра утром, в семь.

Он несколько раз назвал американца «caro», и это ему сошло. Хорошая была марсала! Таких дней еще много будет впереди, и начнется это завтра, в семь часов утра.

Они стали подниматься на холм по направлению к городу. Американец шел впереди. Он был почти на гребне холма, когда Педуцци окликнул его:

— Послушайте, caro. Не дадите ли вы мне пять лир?

— За сегодня? — хмурясь, спросил американец.

— Нет, не за сегодня. Дайте мне их сегодня за завтрашний день. Я запасу все, что нужно на завтра. Pane, salami, formaggio [2], хорошей закуски для всех нас. Вы, я и синьора. Наживку, пескарей, не одних червяков. И марсала будет. Все за пять лир. Пять лир, а, синьор?

Американец порылся в бумажнике и достал бумажку в две лиры и две по одной.

— Благодарю вас, caro. Благодарю вас,— сказал Педуцци таким тоном, каким говорят члены «Карлтон-клуба», принимая «Морнинг пост» из рук соседа.

Вот это была жизнь! Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним.

— Так, значит, завтра в семь, caro,— сказал Педуцци, похлопывая американца по плечу.— Ровно в семь.

— Я скорее всего не пойду,— сказал американец и положил бумажник обратно в карман.

— Как? — спросил Педуцци.— Я принесу пескарей, синьор, salami, все достану. Вы, я и синьора. Все трое.

— Я скорее всего не пойду,— повторил американец.— По всей вероятности — нет. Узнаете у padrone в конторе отеля.

---

[1] Слушай, дорогой! *(итал.)*

[2] Хлеб, салами, сыр *(итал.)*.

Глава двенадцатая

Если это происходило близко от барьера и против вашего места на трибуне, то хорошо было видно, как Вильяльта дразнит быка и вызывает его, и когда бык кидался, Вильяльта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб под ударом ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету и отводя шпагу за спину. Потом он кричал на быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал мулетой дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Вильяльты, не спускал с него глаз. Вильяльта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Вильяльта кидался, и на один миг они сливались воедино. Вильяльта сливался с быком, и все было кончено. Вильяльта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками быка. Вильяльта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались.

КРОСС ПО СНЕГУ

Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти дальше, путь был сплошь занесен снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность снега смерзлась в оледенелый наст. Ник в багажном вагоне натер свои лыжи, сунул носки башмаков в металлические скобы и застегнул крепление. Он боком прыгнул из вагона на твердый наст, выровнял лыжи и, согнувшись и волоча палки, понесся вниз по скату.

Впереди на белом просторе мелькал Джордж, то исчезая, то появляясь и снова исчезая из виду. Когда, внезапно попав на крутой изгиб склона, Ник стремительно полетел вниз, в его сознании не осталось ничего, кроме чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, и он понесся вниз, вниз, быстрей, быстрей, по последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал на рыхлый снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри снега.

Джордж стоял немного ниже, ладонями сбивая снег со своей куртки.

— Высокий класс, Ник! — крикнул он.— Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела.

— А как там, дальше? — Ник, лежа на спине, выровнял лыжи и встал.

— Нужно все время забирать влево. Спуск хороший, крутой. Внизу сделаешь христианию — там изгородь.

— Подожди минутку, съедем вместе.

— Нет, ты ступай вперед. Я люблю смотреть, как ты съезжаешь.

Ник Адамс проехал мимо Джорджа,— на его широких плечах и светлых волосах осталось немного снегу,— потом лыжи Ника за-

скользили, и он ухнул вниз, окутанный свистящей снежной пылью, взлетая и падая, вверх, вниз по волнистому склону. Он все время забирал влево, и к концу, когда он летел прямо на изгородь, плотно сжав колени и изогнув туловище, он, в туче снега, сделал крутой поворот вправо и, сбавляя ход, проехал между склоном горы и проволочной изгородью.

Он взглянул вверх. Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого, и, задевая снег, взбивали комочки снежного пуха; и, наконец, почти скрытый тучами снега, скорчившись, выбросив одну ногу вперед, вытянув другую назад, отклонив туловище влево, он описал четкую красивую кривую, подчеркивая ее блестящими остриями палок.

— Я не решился на христианию,— сказал Джордж.— Слишком глубокий снег. А ты отлично съехал.

— С моей ногой нельзя делать телемарк,— сказал Ник.

Ник лыжей прижал верхнюю проволоку, и Джордж проехал через изгородь. Ник вслед за ним выехал на дорогу. Они шли, слегка согнув колени, по дороге, проложенной в сосновом бору. Здесь возили лес, и накатанный полозьями лед был в оранжевых и табачно-желтых пятнах от конской мочи. Лыжники держались полосы снега на обочине. Дорога круто спускалась к ручью и затем почти отвесно поднималась в гору. Сквозь деревья им виден был длинный облезлый дом с широкими стрехами. Издали он выглядел сплошь блекло-желтым. Вблизи оконные рамы оказались зелеными. Краска лупилась. Ник расстегнул палкой зажим и сбросил лыжи.

— Лучше понесем их,— сказал он.

Он стал карабкаться по крутой дорожке с лыжами на плече, пробивая ледяную кору шипами каблука. Он слышал за спиной дыхание Джорджа и треск льда под его каблуками. Они прислонили лыжи к стене гостиницы, обмахнули друг другу штаны, потоптались, стряхивая с башмаков снег, и вошли в дом.

Внутри было почти темно. В углу комнаты поблескивала большая изразцовая печь. Потолок был низкий. Вдоль стен стояли гладкие деревянные скамьи и темные, в винных пятнах, столы. У самой печки, покуривая трубку, потягивая мутное молодое вино, сидели два швейцарца. Лыжники сняли куртки и сели у стены по другую сторону печки. Голос, певший в соседней комнате, умолк, и в комнату вошла служанка в синем переднике и спросила, что им подать.

— Бутылку сионского,— сказал Ник.— Согласен, Джорджи?

— Можно,— сказал Джордж.— В этом ты больше понимаешь. Я всякое вино люблю.

Служанка вышла.

— Нет ничего лучше лыж, правда? — сказал Ник.— Знаешь, это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

— Да! — сказал Джордж.— Так хорошо, что и сказать нельзя.

Служанка принесла вино, и они никак не могли откупорить бутылку. Наконец Ник вытащил пробку. Служанка вышла, и они услыхали, как она в соседней комнате запела по-немецки.

— Кусочки пробки попали. Ну, не беда,— сказал Ник.

— Как ты думаешь, есть у них какое-нибудь печенье?

— Сейчас спросим.

Служанка вошла, и Ник заметил, что у нее под передником обрисовывается круглый живот. «Странно,— подумал он,— как это я сразу не обратил внимания, когда она вошла».

— Что это вы поете? — спросил он.

— Это из оперы, из немецкой оперы.— Она явно не желала продолжать разговор.— У нас есть яблочная слойка, если хотите.

— Не очень-то она любезная,— сказал Джордж.

— Что ж ты хочешь? Она нас не знает и, наверно, подумала, что мы хотим посмеяться над ее пением. Она, должно быть, оттуда, где говорят по-немецки, и она стесняется, что она здесь. Да тут еще беременность, а она не замужем, вот и стесняется.

— Откуда ты знаешь, что она не замужем?

— Кольца нет. Да здесь ни одна девушка не выходит замуж, пока не пройдет через это.

Дверь отворилась, и в клубах пара, топая облепленными снегом сапогами, вошла партия лесорубов. Служанка принесла им три бутылки молодого вина, и они, сняв шляпы, заняли оба стола и молча покуривали трубки, кто прислонясь к стене, кто облокотившись на стол. Время от времени, когда лошади, запряженные в деревянные сани, встряхивали головой, снаружи доносилось резкое звяканье колокольчиков.

Джордж и Ник чувствовали себя отлично. Они очень любили друг друга. Они знали, что впереди еще весь долгий обратный путь.

— Когда тебе нужно возвращаться в университет? — спросил Ник.

— Сегодня вечером,— ответил Джордж.— Мне надо поспеть на поезд десять сорок из Монтре.

— Хорошо бы ты остался, мы бы завтра махнули на Дапдю-Лис.

— Я должен закончить свое образование,— сказал Джордж.— А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят, останавливаться в гостиницах, пройти насквозь Оберланд, и Вале, и Энгадин, а с собой взять только сумку с инструментами да положить в рюкзак запасной свитер и пижаму, и к черту ученье и все на свете!

— И еще пройти через весь Шварцвальд. Ух, и места же!

— Это где ты рыбу ловил прошлым летом?

— Да.

Они съели слойку и допили вино.

Джордж прислонился к стене и закрыл глаза.

— Вино всегда так на меня действует,— сказал он.

— Тебе плохо? — спросил Ник.
— Нет, мне хорошо, только чудно́ как-то.
— Понимаю,— сказал Ник.
— Ну, да,— сказал Джордж.
— Закажем еще бутылочку? — спросил Ник.
— Нет, довольно,— сказал Джордж.

Они еще посидели. Ник — облокотившись на стол, Джордж — прислонясь к стене.

— Что, Эллен ждет ребенка? — спросил Джордж, отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.
— Да.
— Скоро?
— В конце лета.
— Ты рад?
— Да. Теперь рад.
— Вы вернетесь в Штаты?
— Очевидно.
— Тебе не хочется?
— Нет.
— А Эллен?
— Тоже нет.

Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.

— Скверно, да? — спросил он.
— Нет, ничего,— ответил Ник.
— Так как же?
— Не знаю,— сказал Ник.
— Ты с ней будешь ходить на лыжах в Штатах?
— Не знаю.
— Там горы неважные,— сказал Джордж.
— Неважные,— сказал Ник.— Слишком скалистые. И слишком много лесу. И потом, они очень далеко.
— Верно,— сказал Джордж,— во всяком случае, в Калифорнии так.
— Да,— сказал Ник,— повсюду так, где мне приходилось бывать.
— Верно,— сказал Джордж,— повсюду так.

Швейцарцы встали из-за стола, расплатились и вышли.

— Жаль, что мы не швейцарцы,— сказал Джордж.
— У них у всех зоб,— сказал Ник.
— Не верю я этому.
— И я не верю.

Они засмеялись.

— А что, Ник, если нам с тобой никогда больше не придется вместе ходить на лыжах? — сказал Джордж.
— Этого быть не может,— сказал Ник.— Тогда не стоит жить на свете.
— Непременно пойдем,— сказал Джордж.
— Иначе быть не может,— подтвердил Ник.

— Хорошо бы дать друг другу слово,— сказал Джордж.

Ник встал. Он наглухо застегнул свою куртку. Потом потянулся через Джорджа и взял прислоненные к стене лыжные палки. Он крепко всадил острие палки в половицу.

— А что толку давать слово,— сказал он.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы, Джордж уже начал подыматься в гору с лыжами на плече. Обратный путь еще можно проделать вместе.

Глава тринадцатая

Я услышал бой барабанов на улице, а потом рожки и гудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали. Вся улица была запружена ими. Маэра увидел его, а потом и я его увидел. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, он был пьян.

Спуститесь вы к нему, сказал Маэра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках и дожидался музыки, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луи. Побойтесь бога, вам сегодня выступать. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

— Я сказал: не валяйте дурака, Луи. Идемте в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пошел плясать. Я схватил его за руку, а он вырвался и сказал: да оставь ты меня в покое. Тоже папаша нашелся.

Я вернулся в отель, а Маэра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз, взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, сказал Маэра, а кто будет убивать его быков, после того как он сядет на рог?

Мы, надо полагать, сказал я.

Да, мы, сказал Маэра. Мы будем убивать быков за них, за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем убивать их. Конечно, мы будем убивать их. Да. Да. Да.

МОЙ СТАРИК

Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду, но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаек, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жаре. Бывало, он приедет из Турина часам к четырем утра и отправляется в кебе на ипподром, берет из конюшни Раццо какого-нибудь одра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело.

— Двигайся, малыш,— скажет он, бывало, разминая ноги перед дверями жокейской.— Пошли.

И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, обежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину, а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо, к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» — оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан.

Повертываешь обратно и садишься рядом с ним, а он достает из кармана скакалку и начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, а он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает,— хлоп, хлоп, хлоп,— а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге.

Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми волами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали волов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь.

Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал — хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

— Чертова эта работа — сгонять жир, Джо,— скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов,— теперь не то, что в молодости.— Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку не меньше кило, а мой старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки.

Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком; он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился и вышел с седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Реголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный, и я сказал:

— Ты что, папа? — Я было подумал, не толкнул ли его Реголи, а он только взглянул на Реголи и сказал:

— А, да ну его к черту! — и пошел в раздевалку.

Что ж, может, ничего бы и не случилось, если б мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там.

— Пианола, Джо, да и только,— говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни, после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом.— Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну, а тут какая уж быстрота, да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия.

Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел, но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге.

Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает

поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро — такой большой зеленый круг, и горы вдали, толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок звонит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится.

А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды:

— Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню.— Это было в тот день, когда он взял Коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послав ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки.

Сразу после Коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в Galleria [1]. Говорили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говорили то один, то другой, а толстяк все перебивал Голбрука.

— Поди купи мне «Спортсмена», Джо,— сказал мой старик и протянул мне два сольди, не сводя глаз с Голбрука.

Я вышел из Galleria на площадь и перед «Ла Скала» купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать, а мой старик сидит, откинувшись на спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоят рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит:

— Хочешь мороженого, Джо?

Голбрук посмотрел на старика сверху вниз и сказал с расстановкой:

— Ах ты сукин сын! — и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками.

Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный — видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно, я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул «Спортсмена» и стал просматривать отчеты о скачках, потом сказал:

[1] Пассаж *(итал.)*.

— Мало ли что приходится терпеть на этом свете, Джо.

А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж туринским поездом, распродав с аукциона (перед конюшней Тернера) все, что не поместилось в сундук и чемодан.

Мы приехали в Париж рано утром, поезд подошел к длинному грязному вокзалу — Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут, и трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы, а в Париже — какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь.

Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится, и в одном только можно быть уверенным: что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Мезон-Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Мезон сидел в кафе де Пари с той стороны, что ближе к Опере, и, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно́, что в таком большом городе, как Париж, нет своей Galleria, не правда ли?

Ну, мы поселились у миссис Мейерс, которая держит пансион в Мезон-Лафит; там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мезон замечательное место, я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика, мы положили его под дерево и уселись кругом, и Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось! Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски. Это не очень трудный язык.

Как только мы приехали в Мезон-Лафит, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мезон он всегда сидел в кафе де Пари со всей компанией; многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мезон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к девяти часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую — в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка, а если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он по большей части сидит в кафе де Пари со всей компанией; возьмут стакан вермута с содовой и сидят часа два-три, разговаривают, рассказывают анекдоты, играют

на бильярде, и это у них вроде клуба или миланской Galleria. Только это не совсем похоже на Galleria, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками.

Ну так вот, мой старик в конце концов получил свои права. Прислали по почте без всяких возражений, и он ездил раза два. В Амьене, в провинции, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и как ни придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга, вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-Луисе в девятьсот четвертом году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал.

Мы каждый день ездили на трамвае из Мезон-Лафит куда-нибудь на скачки, и это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Довилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгиен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день.

Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в двести тысяч франков с семью заездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей; таких лошадей вы, верно, не встречали. Этот Ксар был крупный соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону, неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпоят чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел — только ноги мелькали да что-то желтое, и мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился народ; но человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь; там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой, а снаружи толпа заглядывала в окна.

Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» — самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать: Джордж сразу скажет, если знает.

— Он не возьмет,— говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу.

— А кто же? — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слыхал.

— Керкоббин,— говорит Джордж,— и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю.

Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу»,— будто бы в шутку, и мы вышли и пробрались сквозь толпу к стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок, и там было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10, за Сефизидота — 3 к 1, в пятом же списке стоял этот Керкоббин — 8 к 1. Мой старик поставил на Керкоббина пять тысяч в ординаре и тысячу в двойном, и мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны.

На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первым шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стáти. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер, и все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал, словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой, на нем ехал Томми Арчибальд; а за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкоббин, и я стал разглядывать его, и он был ничего себе, славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.

Все захлопали Ксару, когда он проходил мимо, да и стоило того: замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне, за кругом, а потом обратно, к нашему концу ипподрома, и распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели они подойти к старту, как зазвонил звонок, и вот они уже далеко по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучу, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и Ксар здорово отстал, а вела одна из гнедых. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкоббин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет. В конце концов они обогнули последний поворот и вышли на прямую, и этот Керкоббин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар», а лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и

мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар», словно полоумные. Ксар несся с такой быстротой, какой я ни у одной лошади не видывал, и нагнал Керкоббина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изо всех сил, и около секунды оба они шли голова в голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее, такие громадные он делал скачки и так вытянул шею, но столб они прошли голова в голову, и когда вывесили номера, то первая была двойка, а это значило, что взял Керкоббин.

Мне было как-то не по себе, я весь дрожал, а потом нас стиснули, когда толпа повалила вниз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдают на Керкоббина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкоббина. До того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли.

— Правда, скачки были замечательные, папа? — сказал я ему.

Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок.

— Джордж Гарднер замечательный наездник, это верно,— сказал он.— Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым.

Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все удовольствие для меня пропало, и даже, когда вывесили номера на доске и мы увидели, что за Керкоббина выдают 67.50, я все равно не почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили:

— Бедняга Ксар! Бедняга Ксар!

А я думал: «Хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына».

Как-то чудно́ было думать, что Джордж Гарднер — сукин сын, потому что он мне всегда нравился, и, кроме того, он же нам назвал победителя, но все равно, по-моему, он и есть сукин сын.

После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. Если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон-Лафит, и мы с ним сидели перед кафе де ла Пэ и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к нам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое, и я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон, они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски вроде как по-английски, и все эти люди его узнавали,— жокея всегда сразу видно,— и потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца — если пожмешь их, то выскочит петушок,—

и был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа, и, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки, и там были сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали.

Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать, и заговаривали с моим стариком, а он отшучивался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Как-то вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой, обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку, она была такая хорошенькая, и я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась, но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел, хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить и отпустят ли ее со мной в Отейль или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней так: «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгиене»,— и она, верно, сочла бы меня за «жучка» и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу.

Мы сидели, бывало, в кафе де Пари, и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило пять франков, и полагалось давать хорошие чаевые, после того как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил, зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет. Но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из Мезон-Лафит, и ему как будто нравилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной. Но он каждый день играл на скачках. Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится.

Он всегда читал «Пари-спорт»; выглянет, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая, Джо?» — чтобы поддразнить меня, потому что я рассказал ему про девочку за соседним столиком. А я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо,— говорил он,— она еще вернется».

Он расспрашивал меня о том о сем и иной раз смеялся моим ответам. А потом сам начинал рассказывать. Про скачки в Египте и в Сен-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах, еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало:

— Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться.

— Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом? — спрашивал я.

— Это совсем другое дело,— говорил он и, подозвав официанта, платил за стопку блюдечек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мезон-Лафит.

Однажды в Отейле на аукционе мой старик купил победителя за тридцать тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрэйком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес, а конюхов было только двое — он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд, он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затрата окупится. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд нисколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый.

Ну и любил же я нашего Гилфорда! В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим в скачке с препятствиями на две тысячи пятьсот метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий и весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам, и если выигрывал, нисколько не волновался, а теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело скакать на своей лошади.

Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле, в скачках с препятствиями на четыре тысячи пятьсот метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтоб я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома, и у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер, но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями, и звонок звонил что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ох, я до того волновался, просто боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались; наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров как птицы. Тут они опять скрылись

из виду, потом показались и поскакали вниз по косогору, и шли ровно, легко и красиво, плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам, так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли на прямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо; он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось, и две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватился за повод, сел и отправился получать свои деньги за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой, с повисшими поводьями, а жокей, пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто, а мой старик лежал как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде, тут полицейский схватил меня и не выпускал, и двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком, а далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие.

Мой старик был уже мертв, когда его принесли, и в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом со стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал, а он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый, и все-таки я не мог не думать, что раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика.

Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его; а другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в Мезон. А я все не мог перестать и плакал, а тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал:

— Ну, будет, Джо, вставай, пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты.

Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот, и какие-то двое

остановились рядом с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот, и один из них сказал, пересчитывая пачку билетов:

— Ну! Доигрался-таки Бэтлер в конце концов.

Другой сказал:

— Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать, сам напрашивался.

— Конечно, сам напрашивался,— сказал первый и разорвал пачку билетов пополам.

Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет; само собой, я все слышал, и он сказал:

— Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина.

Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.

Глава четырнадцатая

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из корраля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрей и быстрей,— как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер.

НА БИГ-РИВЕР

I

Поезд исчез за поворотом, за холмом, покрытым обгорелым лесом. Ник сел на свой парусиновый мешок с припасами и постелью, который ему выбросили из багажного вагона. Города не было, ничего не было, кроме рельсов и обгорелой земли. От тринадцати салунов на единственной улице Сенея не осталось и следа. Торчал из земли голый фундамент «Гранд-отеля». Камень от огня потрескался и раскрошился. Вот и все, что осталось от города Сенея. Даже верхний слой земли обратился в пепел.

Ник оглядел обгорелый склон, по которому раньше были разбросаны дома, затем пошел вдоль путей к мосту через реку. Река была на месте. Она бурлила вокруг деревянных свай. Ник посмотрел вниз, в прозрачную воду, темную от коричневой гальки, устилавшей дно, и увидел форелей, которые, подрагивая плавниками, неподвижно висели в потоке. Пока он смотрел, они вдруг изменили положение, быстро вильнув под углом, и снова застыли в несущейся воде. Ник долго смотрел на них.

Он смотрел, как они держатся против течения, множество форелей в глубокой, быстро бегущей воде, слегка искаженных, если смотреть на них сверху, сквозь стеклянную выпуклую поверхность бочага, в котором вода вздувалась от напора на сваи моста. Самые крупные форели держались на дне. Сперва Ник их не заметил. Потом он вдруг увидел их на дне бочага,— крупных форелей, старавшихся удержаться против течения на песчаном дне в клубах песка и гравия, взметенных потоком.

Ник смотрел в бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлек-

ло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

Ник пошел обратно по шпалам, туда, где на золе около рельсов лежал его мешок. Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел. В руках Ник держал кожаный чехол с удочками и, наклоняясь вперед, чтобы переместить тяжесть повыше на плечи, он пошел по дороге вдоль полотна, оставляя позади, под жарким солнцем, городское пожарище, потом свернул в сторону между двух высоких обгорелых холмов и выбрался на дорогу, которая вела прочь от полотна. Он шел по дороге, чувствуя боль в спине от тяжелого мешка. Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади.

За это время — с той минуты, как он сошел с поезда и ему выбросили мешок из багажного вагона,— Ник увидел, что многое изменилось. Сеней сгорел, и склоны кругом обгорели и стали совсем другими, но это ничего. Все не могло же сгореть. Ник был в этом уверен. Он брел по дороге, весь в поту под жарким солнцем, поднимаясь в гору, чтобы пересечь цепь холмов, отделявшую полотно железной дороги от лесистой равнины.

Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все поднималась. Ник шел все дальше в гору. Наконец дорога, некоторое время тянувшаяся вдоль обгорелого склона, вывела его на вершину холма. Ник прислонился к пню и сбросил плечевые ремни. Прямо перед ним, сколько он мог охватить взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались слева, у подножья холмов. Среди равнины были разбросаны островки темного соснового леса. Вдали, налево, виднелась река. Ник проследил ее взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие голубые холмы отмечали границу возвышенности Верхнего озера. Далекие и неясные, они были едва видны сквозь дрожащий от зноя воздух над залитой солнцем равниной. Если пристально глядеть на них, они пропадали. Но если взглядывать на них вскользь, они были там, далекие холмы Верхнего озера.

Ник сел на землю, прислонился к обгорелому пню и закурил. Мешок лежал на пне, с ремнями наготове, на нем еще оставалась вмятина от спины Ника. Ник сидел, курил и глядел по сто-

ронам. Ему незачем было доставать карту. По положению реки он и так мог сказать, где находится.

Пока Ник курил, вытянув ноги, он заметил, что с земли на его шерстяной носок взобрался кузнечик. Кузнечик был черный. Когда Ник шел по дороге в гору, у него из-под ног все время выскакивали кузнечики. Все они были черные. Это были не те крупные кузнечики, у которых, когда они взлетают, под черными надкрыльями с треском раскрываются желтые с черным или красные с черным крылышки. Это были самые обыкновенные кузнечики, но только черные, как сажа. Ник обратил на них внимание, еще когда шел по дороге, но тогда он над этим не задумался. Теперь, глядя, как черный кузнечик пощипывает ворс на его носке, он сообразил, что они стали черными, оттого что жили на обугленной земле. Пожар, должно быть, случился в прошлом году, но кузнечики и сейчас были черные. Любопытно бы знать, сколько еще времени они останутся черными?

Он осторожно протянул руку и поймал кузнечика за крылья. Ник перевернул его — кузнечик при этом все время перебирал лапками в воздухе — и стал рассматривать его кольчатое брюшко. Да, и брюшко тоже было черное, переливчатое, а голова и спина тусклые.

— Ну, ступай, кузнечик,— сказал Ник; в первый раз он заговорил громко.— Лети себе.

Он подбросил кузнечика в воздух и проводил его взглядом, когда тот полетел через дорогу к обугленному пню.

Ник поднялся на ноги. Он прислонился спиной к своему мешку, лежащему на пне, и продел руки в ременные петли. Он стоял на вершине холма с мешком на спине и глядел через равнину вдаль, на реку, потом свернул с дороги и стал спускаться прямиком по склону холма. По обгорелой земле было легко идти. Шагах в двухстах от склона следы пожара прекращались. Дальше начинался высокий, выше щиколотки, мягкий дрок и сосны небольшими островками; волнистая равнина с песчаной почвой, с частыми подъемами и спусками, зеленая и полная жизни.

Ник ориентировался по солнцу. Он знал на реке хорошее местечко, и теперь, чтобы выйти туда, пересекал равнину, поднимаясь на невысокие склоны, за которыми открывались новые склоны, а иногда с возвышения вдруг обнаруживался справа или слева большой остров густого соснового леса. Он нарвал похожего на вереск дрока и подсунул себе под ремни. Ремни растирали дрок, и Ник на ходу все время чувствовал его запах.

Он устал, и было очень жарко идти по неровной, лишенной тени равнине. Он знал, что в любое время может выйти к реке, стоит только свернуть налево. До реки, наверное, не больше мили. Но он продолжал идти на север, чтобы к вечеру выйти к реке как можно выше по течению.

Уже давно Ник видел перед собой большой остров соснового леса, выступавший над волнистой равниной. Ник спустился в лощину, а затем, выйдя на гребень, повернул и пошел к лесу.

В лесу не было кустарника. Стволы поднимались одни прямо вверх, другие немного наклонно, но все были прямые и темные, и внизу веток на них не было. Ветки начинались высоко вверху. Местами они переплетались, отбрасывая наземь густую тень. По краю леса шла полоса голой земли. Земля была темная и мягкая под ногами. Ее покрывал ковер из сосновых игл, выдвинувшийся здесь за пределы леса. Деревья выросли, и ветки передвинулись выше, и те места, на которые раньше падала от них тень, теперь оказались открытыми. На небольшом расстоянии от деревьев эта лесная почва сразу кончалась, и дальше шли заросли дрока.

Ник сбросил мешок и прилег в тени. Он лежал на спине и глядел вверх сквозь ветки. Он вытянулся на земле, и плечи, спина и поясница у него отдыхали. Приятно было чувствовать спиной землю. Он поглядел на небо между ветвями, потом закрыл глаза. Потом снова открыл и поглядел вверх. Высоко в ветвях был ветер. Он опять закрыл глаза и заснул.

Ник проснулся с ломотой и болью в теле. Солнце уже почти село. Мешок показался ему тяжелым, и ремни резали плечи. Он нагнулся с мешком на спине, поднял чехол с удочками и пошел через заросли дрока по направлению к реке. Он знал, что до реки не больше мили.

По склону, усеянному пнями, он спустился на луг. За лугом открылась река. Ник был доволен, что добрался до нее. Он пошел лугом вдоль реки, вверх по течению. Брюки у него намокли от росы. После жаркого дня выпала ранняя и обильная роса. Река не шумела. У нее было слишком ровное и быстрое течение. На краю луга, прежде чем искать высокого места для ночлега, Ник остановился и посмотрел на реку. Форели поднимались на поверхность воды в погоне за насекомыми, которые после захода солнца стали появляться из болота за рекой. В погоне за ними форели выпрыгивали из воды. Пока Ник шел по лугу вдоль реки, форели то и дело выпрыгивали из воды. Теперь все насекомые, должно быть, опустились на воду, потому что форели ловили их прямо на поверхности. Повсюду на реке, сколько мог охватить взгляд, форели поднимались из глубины, и по воде всюду шли круги, как будто начинался дождь.

Ник поднялся по склону, песчаному и лесистому, откуда виден был луг, полоска реки и болото. Ник сбросил мешок, положил на землю чехол с удочками и огляделся, отыскивая ровное место. Он был очень голоден, но хотел разбить лагерь раньше, чем приниматься за стряпню. Ровное место нашлось между двумя соснами. Ник достал из мешка топор и срубил два торчавших из земли корня. Получилась ровная площадка, достаточно большая, чтобы на ней устроиться на ночлег. Ник ладонями разровнял песок и повыдергал дрок с корнями. Руки стали приятно пахнуть дроком. Взрытую землю он снова разровнял. Он не хотел, чтобы у него были бугры в постели. Выровняв землю, он расстелил три одеяла. Одно он сложил вдвое и постелил прямо на землю. Два других постелил сверху.

От одного из пней он отколол блестящий сосновый горбыль и расщепил его на колышки для палатки. Он сделал их прочными и длинными, чтобы они крепко держались в земле. Когда он вынул палатку и расстелил ее на земле, мешок, прислоненный к сосновому стволу, стал совсем маленьким. К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки, потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан.

Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это — устройство лагеря — было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.

Он выполз из палатки, приподняв кисею. В лесу уже стемнело. В палатке было светлей.

Ник подошел к мешку, ощупью отыскал бумажный пакет с гвоздями и со дна пакета достал длинный гвоздь. Он вбил его в ствол сосны, придерживая пальцами и тихонько ударяя обухом топора. На гвоздь он повесил мешок. В мешке были все его припасы. Теперь они подвешены высоко и будут в сохранности.

Ник был голоден. Ему казалось, что никогда в жизни он не бывал так голоден. Он открыл две банки с консервами — одну со свининой и бобами, другую с макаронами,— и выложил все это на сковородку.

— Я имею право это есть, раз притащил на себе,— сказал Ник. Голос его странно прозвучал среди леса, в сгущающейся темноте. Больше он не говорил вслух.

Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они начинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку

с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпенья дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки.

— Ах, черт! — сказал Ник.— Ах, черт побери! — сказал он с наслаждением.

Он съел полную тарелку и даже не вспомнил о хлебе. Вторую порцию он съел с хлебом и дочиста вытер коркой тарелку. С самого утра он ничего не ел, кроме кофе и сандвича с ветчиной на вокзале в Сент-Игнесе. Все вместе было очень приятно. Замечательное ощущение. Ему и раньше случалось бывать очень голодным, но тогда не удавалось утолить голод. Он мог бы уже давно разбить лагерь, если бы захотел. На реке было сколько угодно хороших мест. Но так лучше.

Ник подбросил в костер две большие сосновые щепки. Огонь запылал сильнее. Ник вспомнил, что не принес воды для кофе. Он достал из мешка брезентовое ведро и по склону холма, а потом краем луга спустился к реке. На том берегу лежал белый туман. Трава была мокрая и холодная. Ник стал на колени на берегу и забросил ведро в воду. Оно расправилось в воде и крепко натянуло веревку. Вода была ледяная. Ник сполоснул ведро, наполнил его до краев и понес в лагерь. Повыше, над рекой, было не так холодно.

Ник вбил в дерево еще один большой гвоздь и подвесил ведро с водой. Он до половины наполнил кофейник, подбросил щепок в костер и поставил кофейник на решетку. Он не мог припомнить, как он раньше варил кофе. Помнил только, что однажды поспорил из-за этого с Хопкинсом, но позабыл, какой способ он тогда защищал. Он решил вскипятить кофе. И тут же вспомнил, что это как раз и есть способ Хопкинса. Когда-то они готовы были спорить обо всем на свете. Поджидая, пока кофе закипит, он открыл небольшую банку с абрикосовым компотом. Ему нравилось открывать банки. Он опорожнил банку в оловянную чашку. Поглядывая на кофейник, Ник сначала выпил абрикосовый сок, очень осторожно, стараясь не пролить, а потом неторопливо стал подбирать уже самые фрукты. Они были вкуснее, чем свежие абрикосы.

Кофейник тем временем вскипел. Крышка приподнялась, и кофе вместе с гущей потек по кофейнику. Ник снял кофейник

с решетки. Хопкинс мог торжествовать. Ник положил сахару в пустую чашку, из которой только что пил компот, и налил в нее немного кофе, чтоб остыл. Кофе был очень горячий, и, наливая, Ник прихватил ручку кофейника своей шляпой. Он не даст гуще осесть в кофейнике. По крайней мере, хоть первую чашку покрепче. Пускай все будет по Хопкинсу, с начала до конца, Хопкинс это заслужил. Хопкинс был знаток изготовления кофе, серьезный человек. Самый серьезный из всех, кого Ник знал. Это все было очень давно. Хопкинс, когда разговаривал, не шевелил губами. Он любил играть в поло. Он нажил миллионы в Техасе. Когда пришла телеграмма, что на его участке забил фонтан, ему пришлось занять денег на билет до Чикаго. Он мог бы телеграфировать, чтобы ему выслали денег, но это было бы слишком дорого. Его невесту прозвали «Белокурой Венерой». Хоп не обижался, потому что она не была его настоящей невестой. Как-то раз он сказал, что совершенно спокоен на этот счет,— над его настоящей невестой никто не посмел бы шутить. Он был прав. Потом пришла телеграмма, и он уехал. Это случилось на Блэк-Ривер. Телеграмма шла восемь дней. Хопкинс подарил Нику свой кольт двадцать второго калибра. Фотоаппарат он подарил Биллу. Это — затем, чтобы они его не забывали. Будущим летом все они собирались на рыбную ловлю. Теперь, когда Хоп разбогател, он купит яхту, они будут плавать по Верхнему озеру вдоль северного берега. При прощании Хоп был взволнован, но серьезен. Всем стало грустно. С его отъездом экскурсия расстроилась. Больше они никогда не видели Хопкинса. Все это было очень давно, на Блэк-Ривер.

Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рассказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остановить, потому что достаточно устал. Он вылил кофе из кофейника и вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в палатку. Сидя на одеялах, он снял брюки и башмаки, завернул башмаки в брюки, подложил их под голову вместо подушки и забрался под одеяло.

Через открытую сторону палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ночным ветром. Ночь была тихая. На болоте было совершенно тихо. Ник удобно растянулся под одеялом. У самого его уха жужжал комар. Ник сел и зажег спичку. Комар сидел на парусине у него над головой. Ник быстро поднес к нему спичку и с удовлетворением услышал, как комар зашипел на огне. Спичка погасла. Ник снова вытянулся под одеялом. Он повернулся на бок и закрыл глаза. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что засыпает. Он свернулся под одеялом и заснул.

Глава пятнадцатая

Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденных доставили заранее. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом.

К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой,— говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Принесите,— сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как опустили люк.

НА БИГ-РИВЕР

II

Когда он проснулся, солнце было высоко, и палатка уже начала нагреваться. Ник вылез из-под сетки от комаров, которой был затянут вход в палатку, поглядеть, какое утро. Когда он вылезал, трава была мокрая на ощупь. Брюки и башмаки он держал в руках. Солнце только что поднялось над холмом. Кругом были луг, река, болото. За рекой по краю болота росли березы.

Сейчас, ранним утром, река была светлая, гладкая, бежала быстро. Шагов на двести ниже по течению поперек реки торчали три коряги. Вода перекатывалась через них, гладкая и глубокая. Ник увидел, как выдра перешла по корягам через реку и скрылась в болоте. Раннее утро и река радовали его. Ему не терпелось отправиться в путь, хотя бы и без завтрака, но он знал, что позавтракать необходимо. Он развел небольшой костер и поставил кофейник на огонь.

Пока вода нагревалась, Ник взял пустую бутылку и спустился к реке. Луг был мокрый от росы, и Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. Он нашел много отличных кузнечиков. Они сидели у корней травы. Некоторые сидели на стеблях. Все были холодные и мокрые от росы и не могли прыгать, пока не обсохнут на солнце. Ник стал собирать их; он брал только коричневых, среднего размера и сажал в бутылку. Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук коричневых, среднего размера. Пока он их собирал, остальные отогрелись на солнце и начали прыгать в разные стороны. Прыгая, они раскрывали крылышки. Они делали прыжок и, упав на землю, больше уже не двигались, словно мертвые.

Ник знал, что к тому времени, как он позавтракает, кузнечики совсем оживут. Если упустить время, то целый день уйдет

на то, чтобы набрать полную бутылку хороших кузнечиков, и, кроме того, сбивая их шляпой, он многих передавит. Он сошел на берег и вымыл руки. Его радовало, что он так близко от реки. Потом он пошел к палатке. Кузнечики уже тяжело прыгали по траве. В бутылке, обогретые солнцем, они прыгали все разом. Ник заткнул бутылку сосновой палочкой. Она затыкала горлышко как раз настолько, чтобы кузнечики не могли выскочить, а воздух проходил свободно.

Ник перекатил бревно на прежнее место; он знал теперь, что здесь можно будет каждое утро набирать сколько угодно кузнечиков.

Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прислонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковороду. Потом в закипевшее сало он осторожно налил теста. Оно разлилось по сковороде, как лава. Сало пронзительно шипело. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от сковороды. Поверхность пузырилась, становилась пористой. Ник взял чистую сосновую щепку и подсунул ее под лепешку, уже подрумяненную снизу. Он встряхнул сковороду, и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать»,— подумал Ник. Он подсунул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.

Когда лепешка была готова, Ник опять смазал сковороду салом. Теста хватило на два больших блина и один поменьше.

Ник съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сандвичей.

В мешке он отыскал большую луковицу. Он разрезал ее пополам и содрал шелковистую верхнюю кожицу. Затем одну половину он изрезал на тонкие ломтики и приготовил два сандвича с луком. Их он тоже завернул в пергамент, засунул в другой большой карман и застегнул пуговицу. Он положил сковороду вверх дном на решетку, выпил кофе, сладкий и желтовато-коричневый от сгущенного молока, и прибрал лагерь. Хороший получился у него лагерь.

Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свинтил удилище, а чехол засунул обратно в палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести. Это была тяжелая двойная леса. Когда-то Ник заплатил за нее восемь долларов. Она была нарочно сделана толстой и тяжелой, чтобы ею можно было взмахнуть и чтобы она тяжело, плоско падала и прямо ложилась на воду; иначе нельзя было бы далеко забросить легкую наживку. Ник открыл алюминиевую коробочку с поводками. Поводки были проложены фла-

нелевой прокладкой. Фланелевую прокладку Ник в поезде смочил водой из фильтра, когда подъезжал к Сент-Игнесу. От влаги поводки размягчились, и Ник расправил один и привязал узелком к концу тяжелой лесы. К поводку он привязал крючок. Крючок был маленький, очень тонкий и упругий.

Ник достал крючок, положив удилище на колени. Он туго натянул лесу, проверяя узлы и скрепления на удилище. Это было приятное чувство. Он проделал это осторожно, чтобы крючок не воткнулся в руку.

Он стал спускаться к реке, держа в руках спиннинг; бутылка с кузнечиками висела у него на шее на ремешке, обвязанном вокруг горлышка. Сачок для рыбы висел на крючке на поясе. Через плечо у него был подвешен длинный мешок из-под муки; верхние углы мешка он завязал бечевкой и перекинул бечевку через плечо. Мешок хлопал его по ногам.

Обвешанный всем этим снаряжением, Ник двигался с трудом, но чувствовал себя настоящим рыболовом. Бутылка с кузнечиками болталась у него на груди. Карманы ковбойки, набитые сандвичами и коробочками с крючками и наживой, давили на грудь.

Он вошел в воду. Его обожгло. Брюки прилипли к ногам. Сквозь башмаки он чувствовал камешки на дне. Холодная вода обжигала, поднимаясь все выше по ногам.

Вода бурлила вокруг его ног. Там, где он вошел в реку, вода была выше колен. Он побрел по течению. Ноги скользили по гравию. Он глянул вниз, в водовороты, крутившиеся вокруг его ног, и встряхнул бутылку, чтобы достать кузнечика.

Первый кузнечик, выбравшись из горлышка, одним прыжком выскочил из бутылки и упал в воду. Его сейчас же засосало водоворотом возле правой ноги Ника, потом он выплыл немного ниже по течению. Он быстро плыл, барахтаясь. Внезапно на гладкой поверхности воды появился круг, и кузнечик исчез. Его поймала форель.

Другой кузнечик высунул голову из горлышка бутылки. Он поводил усиками. Он карабкался по горлышку бутылки, готовясь прыгнуть. Ник ухватил его за голову и, крепко держа, стал насаживать на крючок; он воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь головогрудь, до самого последнего сегмента брюшка. Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду.

Держа спиннинг в правой руке, он повел лесу против течения. Левой рукой он снял лесу с катушки и пустил ее свободно. Кузнечик был еще виден среди мелкой ряби. Потом скрылся из виду.

Вдруг леса натянулась. Ник стал выбирать ее. В первый раз клюнуло. Держа ожившую теперь удочку поперек течения, он подтягивал лесу левой рукой. Удилище то и дело сгибалось, когда форель дергала лесу. Ник чувствовал, что это небольшая форель. Он поставил удилище стоймя. Оно согнулось.

Он увидел в воде форель, дергавшуюся головой и всем телом; наклонная черта лесы в воде постепенно выпрямлялась.

Ник перехватил лесу левой рукой и вытащил на поверхность устало бившуюся форель. Спина у нее была пятнистая, светло-серая, такого же цвета, как просвечивающий сквозь воду гравий, бока сверкнули на солнце. Зажав удочку под мышкой, Ник нагнулся и окунул правую руку в воду. Мокрой правой рукой он взял ни на минуту не перестававшую биться форель, вынул у нее крючок изо рта и пустил ее обратно в воду.

Мгновение форель висела в потоке, потом опустилась на дно возле камня. Форель оставалась неподвижной в бегущей воде, лежала на дне, возле камня. Когда Ник пальцами коснулся ее гладкой спинки, он ощутил подводный холод ее кожи; форель исчезла, только тень ее скользнула по дну.

«Ничего. Обойдется,— подумал Ник.— Просто она устала».

Он смочил руку, прежде чем взять форель, чтобы не повредить одевавший ее нежный слизевой покров. Если тронуть ее сухой рукой, на пораженном месте развивается белый паразитический грибок. Раньше, когда Ник ловил форелей на реках, где бывало много народу и, случалось, впереди него и позади шли другие рыболовы, ему постоянно попадались дохлые форели, все в белом пуху, прибитые течением к камню или плавающие брюхом вверх в тихой заводи. Ник не любил, когда на реке были другие рыболовы. Если они не принадлежат к вашей компании, они портят все удовольствие.

Он побрел дальше по течению, по колено в воде, по мелководью, занимавшему участок шагов в пятьдесят длиной, выше коряг, торчавших поперек реки. Он держал крючок в руке, но не стал насаживать на него новой приманки. На отмелях можно наловить мелкой форели, но она Ника не интересовала. А крупной форели в этот час дня не бывает на мелководье.

Теперь вода доходила ему до бедер, холодная, обжигающая, и прямо перед ним была заводь, запруженная корягами. Вода была гладкая и темная; налево — нижний край луга, направо — болото.

Ник откинулся назад, навстречу течению, и достал кузнечика из бутылки. Он насадил его на крючок и плюнул на него, на счастье. Затем он размотал несколько ярдов лесы с катушки и забросил кузнечика далеко вперед, в быструю темную воду. Кузнечик поплыл к корягам, потом от тяжести лесы ушел под воду. Ник держал удилище в правой руке, пропуская лесу между пальцами.

Лесу сильно дернуло. Ник подсек, и удилище поднялось, напряженное, словно живое, согнутое пополам, готовое сломаться; и леса натянулась, выходя из воды; она натягивалась все сильней, все напряженней. Ник почувствовал, что еще секунда — и поводок оборвется; он отпустил лесу.

Катушка завертелась с визгом, когда леса начала стремительно разматываться. Слишком быстро. Ник не успевал следить за лесой, леса слетала с катушки, визг становился все пронзительней.

Катушка обнажилась. Сердце у Ника, казалось, перестало биться от волнения. Откинувшись назад в ледяной воде, доходившей ему до бедер, Ник крепко прихватил катушку левой рукой. Большой палец с трудом влезал в отверстие катушки.

Когда он задержал катушку, леса вдруг стала тугой и жесткой, и за корягами огромная форель высоко выпрыгнула из воды. Ник тотчас нагнул удилище, чтобы ослабить лесу. Но уже в тот момент, как он его нагибал, он почувствовал, что напряжение слишком велико, леса стала слишком тугой. Ну конечно, поводок оборвался. Он безошибочно это почувствовал по тому, как леса вдруг потеряла всякую упругость, стала сухой и жесткой. Потом ослабла.

Во рту у Ника пересохло, сердце упало. Он стал наматывать лесу на катушку. Ему никогда не попадалось такой большой форели. Чувствовалось, что она такая тяжелая, такая сильная, что ее не удержишь. И какая громадина. С хорошего лосося величиной.

Руки у Ника тряслись. Он медленно наматывал лесу. Он слишком переволновался. У него закружилась голова, слегка поташнивало, хотелось присесть отдохнуть.

Поводок оборвался в том месте, где был привязан к крючку. Ник взял его в руки. Он думал о форели, о том, как где-то на покрытом гравием дне она старается удержаться против течения, глубоко на дне, куда не проникает свет, под корягами, с крючком во рту. Ник знал, что зубы форели в конце концов перекусят крючок. Но самый кончик так и останется у нее в челюсти. Форель, наверно, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке. Как камень. Она и тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слыхал про таких.

Ник выбрался на луг. Вода стекала у него по брюкам, хлюпала в башмаках. Он прошел немного берегом и сел на корягу. Он не спешил, ему хотелось продлить удовольствие.

Он пошевелил пальцами ног в воде, наполнявшей башмаки, и достал папиросу из бокового кармана. Он закурил и бросил спичку в быстро бегущую воду под корягами. Когда спичку завертело течением, за ней погналась маленькая форель. Ник засмеялся. Сперва он выкурил папиросу.

Он сидел на коряге, курил, обсыхая на солнце, солнце грело ему спину, впереди река уходила в лес и, повернув, исчезала в лесу,— отмели, блеск солнца, большие, отполированные водой камни, кедры вдоль берега и белые березы, коряга, теплая от солнца, на ней удобно сидеть, гладкая, без коры, серая на ощупь. И постепенно его покинуло чувство разочарования, резко сменившее возбуждение, от которого у него даже заболели плечи. Теперь опять все было хорошо. Положив удилище на корягу, он привязал новый крючок к поводку и до тех пор затягивал жилу, пока она не слиплась в твердый, плотный узелок.

Он насадил наживку, потом взял удочку и перешел по корягам на тот берег, чтобы сойти в воду в неглубоком месте. Под корягами и за ними было глубоко. Нику пришлось обойти песчаную косу на том берегу, прежде чем он добрался до мелководья.

Налево, там, где кончался луг и начинались леса, лежал большой, вывороченный с корнем вяз. Его повалило грозой, и он лежал вершиной в лесу; корни были занесены илом и обросли травой, образуя бугор у самой воды. Река подмывала вывороченные корни. С того места, где Ник стоял, ему были видны глубокие, похожие на колеи, впадины, промытые течением в мелком дне. Там, где стоял Ник, дно было покрыто галькой; подальше — тоже усеяно галькой и большими, торчащими из воды камнями. Но там, где река делала изгиб возле корней вяза, дно было илистое, и между впадинами извивались языки зеленых водорослей.

Ник взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леса, описав дугу, увлекла кузнечика в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Форель клюнула, и Ник подсек.

Вытянув удилище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву, и пятясь по колено в воде, Ник вывел форель, которая все время ныряла, сгибая удилище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удилище, гнувшееся, как живое, Ник стал подтягивать к себе форель. Форель рвалась, но постепенно приближалась, удилище подавалось при каждом рывке, иногда его конец уходил в воду, но всякий раз форель подтягивалась немного ближе. Подняв удилище над головой, Ник провел форель над сачком и сачком подхватил ее.

Форель тяжело висела в сачке, сквозь петли виднелись ее пятнистая спинка и серебряные бока. Ник снял ее с крючка — приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед нижней челюстью — и, бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Держа мешок против течения, Ник приоткрыл его; мешок наполнился водой и стал тяжелым. Ник приподнял его, и вода начала вытекать. Дно мешка оставалось в воде, и там билась большая форель.

Ник пошел вниз по течению. Мешок висел спереди, погруженный в воду, оттягивая ему плечи.

Становилось жарко, солнце жгло ему затылок.

Одну хорошую форель он уже поймал. Много ему и не нужно. Река стала широкой и мелкой. По обоим берегам росли деревья. На левом берегу деревья под утренним солнцем отбрасывали на воду короткие тени. Ник знал, что везде в тени есть форели. После полудня, когда солнце станет над холмами, форели перейдут в прохладную тень возле другого берега.

Те, что покрупней, будут под самым берегом. На Блэк-Ривер всегда можно было их там найти. Когда же солнце садилось, они выходили на середину реки. Когда солнце заливало реку слепящим блеском, форели хорошо ловились повсюду. Но ловить их в этот час было почти невозможно: поверхность реки слепила, как

зеркало на солнце. Конечно, можно было повернуться против течения, но на такой реке, как эта или Блэк-Ривер, брести против течения трудно, а в глубоких местах вода валит с ног. Не так-то это просто на реках с быстрым течением.

Ник пошел дальше по мелководью, вглядываясь, не окажется ли возле берега глубоких ям. На самом берегу рос бук, так близко к реке, что ветви его окунались в воду. Вода крутилась вокруг листьев. В таких местах всегда водятся форели.

Нику не хотелось ловить в этой яме. Крючок наверняка зацепится за ветку.

Однако на вид тут было очень глубоко. Он забросил кузнечика так, что он ушел под воду, его закружило течением и унесло под нависшие над водой ветви. Леса сильно натянулась, и Ник подсек. Между ветвей и листьев тяжело плеснулась форель, наполовину выскочив из воды. Конечно, крючок зацепился. Ник сильно дернул, и форель исчезла. Ник смотал лесу и, держа крючок в руке, пошел вниз по течению.

Впереди, под левым берегом, лежала большая коряга. Ник видел, что в середине она пустая; вода не бурлила вокруг ее верхнего конца, а входила внутрь гладкой струей, только по бокам разбегалась мелкая рябь. Река становилась все глубже. Сверху коряга была серая и сухая. Она была наполовину в тени.

Ник вынул затычку из бутылки вместе с уцепившимся за нее кузнечиком. Ник снял его, насадил на крючок и забросил в воду. Он вытянул удилище далеко вперед, так что кузнечика понесло течением прямо к коряге. Ник нагнул удилище, и кузнечика затянуло внутрь. Лесу сильно дернуло. Ник потянул к себе удилище. Можно было подумать, что крючок зацепился за корягу, если бы только не живая упругость удочки.

Ник попробовал вывести рыбу на открытое место. Тащить ее было тяжело.

Вдруг леса ослабла, и Ник подумал, что форель сорвалась. Потом он увидел ее очень близко, в открытой воде; форель дергала головой, стараясь освободиться от крючка. Рот у нее был крепко сжат. Она изо всех сил боролась с крючком в светлой, быстро бегущей воде. Смотав лесу левой рукой, Ник поднял удилище, чтобы натянуть лесу, и попытался подвести форель к сачку, но она метнулась прочь, исчезла из виду, рывками натягивая лесу. Ник повел ее против течения, предоставив ей дергаться в воде, насколько позволяла упругость удилища. Он перенял удочку левой рукой, повел форель против течения,— она не переставала бороться, всей своей тяжестью повисая на лесе,— и опустил ее в сачок. Он поднял сачок из воды, форель висела в нем тяжелым полукольцом, из сетки бежала вода, он снял форель с крючка и опустил ее в мешок.

Он приоткрыл мешок и заглянул в него — на дне мешка трепетали в воде две большие форели.

По все углублявшейся воде Ник побрел к пустой коряге. Он снял мешок через голову — форели забились, когда мешок поднял-

ся из воды,— и повесил его на корягу так, чтобы форели были глубоко погружены в воду. Потом он залез на корягу и сел; вода с его брюк и башмаков стекала в реку. Он положил удочку, перебрался на затененный конец коряги и достал из кармана сандвичи. Он окунул их в холодную воду. Крошки унесло течением. Он съел сандвичи и зачерпнул шляпой воды напиться; вода вытекала из шляпы чуть быстрей, чем он успевал пить.

В тени на коряге было прохладно. Ник достал папиросу и чиркнул спичкой по коряге. Спичка глубоко ушла в серое дерево, оставив в нем бороздку. Ник перегнулся через корягу, отыскал твердое место и зажег спичку. Он сидел, курил и смотрел на реку.

Впереди река сужалась и уходила в болото. Вода становилась здесь гладкой и глубокой, и казалось, что болото сплошь поросло кедрами, так тесно стояли стволы и так густо сплетались ветви. По такому болоту не пройдешь. Слишком низко растут ветви. Пришлось бы ползти по земле, чтобы пробраться между ними. «Вот почему у животных, которые водятся в болоте, такое строение тела»,— подумал Ник.

Он пожалел, что ничего не захватил почитать. Ему хотелось что-нибудь почитать. Забираться в болото ему не хотелось. Он взглянул вниз по реке. Большой кедр наклонился над водой, почти достигая противоположного берега. Дальше река уходила в болото.

Нику не хотелось идти туда. Не хотелось брести по глубокой воде, доходящей до самых подмышек, и ловить форелей в таких местах, где невозможно вытащить их на берег. По берегам болота трава не росла, и большие кедры смыкались над головой, пропуская только редкие пятна солнечного света; в полутьме, в быстром течении, ловить рыбу было небезопасно. Ловить рыбу на болоте — дело опасное. Нику этого не хотелось. Сегодня ему не хотелось спускаться еще ниже по течению.

Он достал нож, открыл его и воткнул в корягу. Потом подтянул к себе мешок, засунул туда руку и вытащил одну из форелей. Захватив ее рукой поближе к хвосту, скользкую, живую, Ник ударил ее головой о корягу. Форель затрепетала и замерла. Ник положил ее в тень на корягу и тем же способом оглушил вторую форель. Он положил их рядышком на корягу. Это были очень хорошие форели.

Ник вычистил их, распоров им брюхо от анального отверстия до нижней челюсти. Все внутренности вместе с жабрами вытянулись сразу. Обе форели были самцы; длинные серовато-белые полоски молок, гладкие и чистые. Все внутренности были чистые и плотные, вынимались целиком. Ник выбросил их на берег, чтобы их могли подобрать выдры.

Он обмыл форель в реке. Когда он держал их в воде против течения, они казались живыми. Окраска их кожи еще не потускнела. Ник вымыл руки и обтер их о корягу. Потом он положил форелей на мешок, разостланный на коряге, закатал и завя-

зал сверток и уложил его в сачок. Нож все еще торчал, воткнутый в дерево. Ник вычистил лезвие о корягу и спрятал нож в карман.

Ник встал во весь рост на коряге, держа удилище в руках; сачок тяжело свисал с его пояса; потом он сошел в реку и, шлепая по воде, побрел к берегу. Он взобрался на берег и пошел прямиком через лес по направлению к холмам, туда, где находился лагерь. Он оглянулся. Река чуть виднелась между деревьями. Впереди было еще много дней, когда он сможет ловить форелей на болоте.

L'ENVOI

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы прошли по саду. «Вот королева»,— сказал он. Она подрезала розовый куст. «Здравствуйте»,— сказала она. Мы сели за стол под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. «Хорошее виски у нас пока еще есть»,— сказал король. Он сказал мне, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. «Пластирас, по-видимому, порядочный человек,— сказал король,— но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку.

ИЗ КНИГИ РАССКАЗОВ «ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ НИЧЕГО»

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика,— он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но они знали, что если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

— На прошлой неделе покушался на самоубийство,— сказал один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— От чего?

— Ни от чего.

— А ты откуда знаешь, что ни от чего?

— У него уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, ветви которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его,— сказал официант.

— Какая ему разница, он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

— Вам чего?

Старик посмотрел на него.

— Еще коньяку,— сказал он.

— Вы будете пьяны,— сказал официант.

Старик посмотрел на него. Официант ушел.

— Всю ночь просидит,— сказал он другому.— Я совсем сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы он помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку коньяку и чистое блюдце и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдце и налил рюмку дополна.

— Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе,— сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем.

— Добавьте еще,— сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхнее блюдце из тех, что скопились перед стариком.

— Благодарю,— сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе. Он снова подсел за столик у двери.

— Он уже пьян,— сказал он.

— Каждую ночь пьян.

— Зачем ему было на себя руки накладывать?

— Откуда я знаю.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И к чему это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Уйма.

— Ему, должно быть, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Никогда раньше трех не ляжешь. Разве это дело?

— Нравится ему, вот и сидит.

— Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то жена была.

— Теперь ему жена ни к чему.

— Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.

— За ним племянница ходит.

— Знаю. Ты ведь сказал — это она вынула его из петли.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площади, потом — на официантов.

— Еще коньяку,— сказал он, показывая на рюмку.

Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

— Конец,— сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами.— На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну,— сказал старик.

— Нет. Кончено.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца, вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень стар, шел неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни.— Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Ну, один час, какая разница?

— Для меня — больше, чем для него.

— Час для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может купить себе бутылку и выпить дома.

— Это совсем другое дело.

— Да, это верно,— согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым. Просто он очень спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, друг, просто шучу.

— Нет,— сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился.— Доверие. Полное доверие.

— У тебя и молодость, и доверие, и работа есть,— сказал официант постарше.— Что еще человеку надо.

— А тебе чего не хватает?

— А у меня всего только работа.

— У тебя все то же, что у меня.

— Нет. Доверия у меня никакого не было, а молодость прошла.

— Ну, чего стоишь? Перестань болтать глупости, давай запирать.

— А я вот люблю засиживаться в кафе,— сказал официант постарше.— Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди,— сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить.— Дело вовсе не только в молодости и доверии, хотя и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабачки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи,— сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи,— сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор сам с собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да и не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и ему оно так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это nada y pues nada y nada y pues nada [1]. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Nada y pues nada.

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

— Для вас? — спросил бармен.

— Nada.

— Otro loco más [2],— сказал бармен и отвернулся.

— Маленькую чашечку,— сказал официант.

Бармен налил ему кофе.

— Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена,— сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

— Еще одну прикажете? — спросил бармен.

— Нет, благодарю вас,— сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.

ОЖИДАНИЕ

Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна, и я сразу увидел, что ему нездоровится. Его трясло, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль.

— Что с тобой, Малыш?

— У меня голова болит.

— Поди ляг в постель.

— Нет, я здоров.

— Ляг в постель. Я оденусь и приду к тебе.

Но когда я сошел вниз, мой девятилетний мальчуган, уже

[1] Ничто и только ничто, ничто и только ничто *(исп.)*.

[2] Еще один полоумный *(исп.)*.

одевшись, сидел у камина — совсем больной и жалкий. Я приложил ладонь ему ко лбу и почувствовал, что у него жар.

— Ложись в постель,— сказал я,— ты болен.

— Я здоров,— сказал он.

Пришел доктор и смерил мальчику температуру.

— Сколько? — спросил я.

— Сто два.

Внизу доктор дал мне три разных лекарства в облатках разных цветов и сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, другое слабительное, третье против кислот. Бациллы инфлюэнцы могут существовать только в кислой среде, пояснил доктор. По-видимому, в его практике инфлюэнца была делом самым обычным, и он сказал, что беспокоиться нечего, лишь бы температура не поднялась выше ста четырех. Эпидемия сейчас не сильная, ничего серьезного нет, надо только уберечь мальчика от воспаления легких.

Вернувшись в детскую, я записал температуру и часы, когда какую облатку принимать.

— Почитать тебе?

— Хорошо. Если хочешь,— сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное, под глазами темные круги. Он лежал неподвижно и был безучастен ко всему, что делалось вокруг него.

Я начал читать «Рассказы о пиратах» Хауарда Пайла, но видел, что он не слушает меня.

— Как ты себя чувствуешь, Малыш? — спросил я.

— Пока все так же,— сказал он.

Я сел в ногах кровати и стал читать про себя, дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, что он уснет, но, подняв глаза от книги, поймал его взгляд — какой-то странный взгляд, устремленный на спинку кровати.

— Почему ты не попробуешь заснуть? Я разбужу тебя, когда надо будет принять лекарство.

— Нет, я лучше так полежу.

Через несколько минут он сказал мне:

— Папа, если тебе неприятно, ты лучше уйди.

— Откуда ты взял, что мне неприятно?

— Ну, если потом будет неприятно, так ты уйди отсюда.

Я решил, что у него начинается легкий бред, и, дав ему в одиннадцать часов лекарство, вышел из комнаты.

День стоял ясный, холодный; мокрый снег, выпавший накануне, успел подмерзнуть за ночь, и теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подернуты ледяной корочкой, точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера и пошел прогуляться по дороге и вдоль замерзшей речки, но на гладкой, как стекло, земле не то что ходить, а и стоять было трудно; мой рыжий пес скользил, лапы у него разъезжались, и я сам растянулся два раза, да еще уронил ружье, и оно отлетело по льду в сторону.

Из-под высокого глинистого берега с нависшими над речкой ку-

стами мы спугнули стаю куропаток, и я подстрелил двух в ту минуту, когда они скрывались из виду за береговым откосом. Часть стаи опустилась на деревья, но большинство куропаток попряталось, и, для того чтобы снова поднять их, мне пришлось несколько раз подпрыгнуть на кучах обледенелого валежника. Стоя на скользких, пружинивших сучьях, стрелять по взлетавшим куропаткам было трудно, и я убил двух, по пятерым промазал и отправился в обратный путь, довольный, что набрел на стаю около самого дома, радуясь, что куропаток хватит и на следующую охоту.

Дома мне сказали, что мальчик никому не позволяет входить в детскую.

— Не входите,— говорил он.— Я не хочу, чтобы вы заразились.

Я вошел к нему и увидел, что он лежит все в том же положении, такой же бледный, только скулы порозовели от жара, и попрежнему не отрываясь молча смотрит на спинку кровати.

Я смерил ему температуру.

— Сколько?

— Около ста градусов,— ответил я. Термометр показывал сто два и четыре десятых.

— Раньше было сто два? — спросил он.

— Кто это тебе сказал?

— Доктор.

— Температура у тебя не высокая,— сказал я.— Беспокоиться нечего.

— Я не беспокоюсь,— сказал он,— только не могу перестать думать.

— А ты не думай,— сказал я.— Не надо волноваться.

— Я не волнуюсь,— сказал он, глядя прямо перед собой. Видно было, что он напрягает все силы, чтобы сосредоточиться на какой-то мысли.

— Прими лекарство и запей водой.

— Ты думаешь, это поможет?

— Конечно, поможет.

Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать, но увидел, что он не слушает меня, и остановился.

— Как по-твоему, через сколько часов я умру? — спросил он.

— Что?

— Сколько мне еще осталось жить?

— Ты не умрешь. Что за глупости!

— Нет, я умру. Я слышал, как он сказал сто два градуса.

— Никто не умирает от температуры в сто два градуса. Что ты выдумываешь?

— Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура сорок четыре градуса, человек умирает. А у меня сто два.

Он ждал смерти весь день; ждал ее с девяти часов утра.

— Бедный Малыш,— сказал я.— Бедный мой Малыш. Это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой

термометр. На том термометре нормальная температура тридцать семь градусов. На этом девяносто восемь.

— Ты это наверное знаешь?

— Ну конечно,— сказал я.— Это все равно как мили и километры. Помнишь? Если машина прошла семьдесят миль, сколько это километров?

— А,— сказал он.

Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис и то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.

ИЗ КНИГИ «ПЯТАЯ КОЛОННА И ПЕРВЫЕ СОРОК ДЕВЯТЬ РАССКАЗОВ»

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль,— ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого,— сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего,— согласился Макомбер.— Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно,— ответил Уилсон.— Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва,— сказал ему Роберт Уилсон,— да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов,— плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва,— сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен,— если не считать недостатком такой длинный костяк,— с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва,— сказал он.— Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва,— сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день,— сказала она.— А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть,— сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо,— сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много,— сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого,— сказала она.— Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело,— попробовал пошутить Макомбер.

— Нет,— сказала Маргарет.— Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность,— сказал Уилсон.— А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы думаете?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим,— сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать,— сказала Маргарет.

— Не дури, Марго,— сказал ее муж.

— Как же не о чем,— сказал Уилсон.— Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось,— сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь,— сказал Уилсон.— Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет,— сказал Макомбер.— Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем,— сказал Уилсон.— Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую,— сказал Макомбер.— Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте,— сказал Уилсон.— Все это ерунда.

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Что вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно,— сказал Уилсон.— Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

— Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно,— сказал Макомбер.

— Не так уж странно,— сказал Уилсон.— А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал: — Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не гожусь.

— Да, всех нас бьют,— сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него.— Мне ужасно неприятна эта история со львом.

Дальше она пе пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Матайга-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев.

— Нет,— сказал Уилсон.— Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят,— considération distinguée?..[1] В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, по-прежнему пью их виски»,— и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите,— сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и приятный подбородок.— Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

Ну что тут поделаешь? — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду,— сказал он.— Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц,— сказал Макомбер.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах,— сказал Макомбер.— Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хоть завтра, если хотите,— ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться.

---

[1] Совершенное почтение *(франц.)*.

Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет,— сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше,— сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории,— сказала она, садясь к столу.— Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы все убиваете, правда?

— Да, все,— сказал Уилсон.— Все, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные, они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов,— сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

— Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что,— сказала она.— Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление,— сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете,— сказал Уилсон.

— Ошибаетесь,— возразила она.— Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак,— сказал Уилсон.— Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось,— сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы,— сказала она.— Замечательно было. А завтра... Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду,— сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо,— сказал Макомбер.

— Это такие большие звери, вроде коров, и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно,— сказал Уилсон.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову,— ответил ей Уилсон.

— Это утешительно.

— Нельзя ли без гадостей, Марго,— сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый,— сказала она,— раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером спрыснем льва шампанским,— сказал Уилсон.— Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев,— сказала Марго.— Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта,— впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого,— вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками,

такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел,— сказал Уилсон.— В них попасть не легко.

— Ну как, сто́ящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная,— ответил Уилсон.— Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом,— сказал Макомбер.— Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит тебя жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый,— сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы.— Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко,— сказал Роберт Уилсон.— Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку,— сказал Уилсон.— Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду,— сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете,— сказал Уилсон.— Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд.

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсаиб.

— С добрым утром,— сказала она.— Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете,— сказал Уилсон.— Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно,— сказала она.— Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово.— Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова.— Вот расшумелся,— сказал Уилсон.— Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего,— сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи.— Она пристально посмотрела на него.— Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал,— сказал он.— Ведь он не смолкал всю ночь.

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину,— жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и приехал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая,— сказал Фрэнсис Макомбер.— На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не боишься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно,— сказала она.— Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать, и поедем.

— Куда в такую рань,— сказала она.— Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал,— низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь, рядом,— сказала жена Макомбера.

— Черт,— сказал Макомбер,— просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем,— сказал он.— Ваш спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— Я готова,— сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить,— сказал Уилсон.— Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной.

Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверок, вроде ящика на колесах,— и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить,— прошептал Уилсон.— Глядите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он,— услышал он шепот Уилсона.— Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из машины не стреляют,— услышал он голос Уилсона у себя над ухом.— Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту автомобиля около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это»,— и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30—0,6, которая впилась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар,— пуля попала ему в нижние ребра и прошла навылет,— и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услыхав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— Я попал в него,— сказал Макомбер.— Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь,— сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были

очень серьезные лица. Теперь они молчали.— Может, вы его и убили,— продолжал Уилсон.— Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери,— весело сказал Уилсон.— Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

— Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Ну, пошли,— сказал Уилсон.— Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след.

— Побудь здесь, Марго,— сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему? — спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела,— сказал Уилсон.— Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями,— они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится,— сказал Уилсон.— Машину сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загонщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно,— сказал он.— Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать,— он будет уходить от шума,— но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь искалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это их «шаури». Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти,— сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже,— сказал Уилсон бодро.— Но ничего не поделаешь.— Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить,— сказал он.— Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стóю так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел,— сказал Макомбер.— Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед,— сказал Уилсон.— Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете,— сказал Уилсон.— Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой «шаури».

— Я пойду,— сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон.— Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо,— сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер,— сказал он.— Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу.— Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли,— сказал он.

— Мне бы глотнуть воды,— сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером наизготовке подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер,— стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него,— понял, что лев

издох. Он подошел к Уилсону,— самый рост его казался немым укором,— и Уилсон, посмотрев на него, сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет,— ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну,— сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон,— сказала она.— Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лосось и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать жен-

щинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент *приключения* придаст остроту их поэтичному, пережившему годы *роману,* отправились на *сафари* в страну, бывшую *Черной Африкой* до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо,* на буйволов, и на слона *Тембо,* в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер по крайней мере три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, что над ним стоит лев с окровавленной головой,— и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло,— сказала она.— Ты не спишь?

— Где ты была?

— Просто выходила подышать воздухом.

— Черта с два.

— А что я должна сказать, милый?

— Где ты была?

— Выходила подышать воздухом.

— Это что, новый термин? Шлюха.

— А ты — трус.

— Пусть,— сказал он.— Что ж из этого?

— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.

— Ты воображаешь, что я все стерплю.

— Я это знаю, дорогой.

— Так вот, не стерплю.

— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.

— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.

— Ну, а теперь есть,— сказала она ласково.

— Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала.

— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?

— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?

— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.

— А я буду говорить.

— Ну, тогда прости, я буду спать.— И заснула.

Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.

— Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку.

— А вы?

— Отлично,— ответил белый охотник.

Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.

Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно,— сказал Уилсон и улыбнулся ей.— А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что,— ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере; — сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите,— ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний и,— обращаясь к Макомберу,— без глупостей, Фрэнсис,— сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов,— ответил Уилсон.— Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно,— сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

— Не имею права,— сказал Уилсон.— Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно,— сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно,— сказал Макомбер.— Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.
— Не больше, чем всем остальным.
— Возьмите себя в руки, голубчик,— сказал Уилсон очень спокойно.— Один из боев немного понимает по-английски.
— Ну и черт с ним.
Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.
— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу,— сказала Марго спокойно.
— Не бросишь.
— Попробуй — увидишь.
— Не бросишь ты меня.
— Да,— сказала она.— Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.
— Прилично? Это мне нравится. Прилично.
— Да. Прилично.
— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.
— Я долго старалась. Очень долго.
— Ненавижу эту краснорожую свинью,— сказал Макомбер.— От одного его вида тошно делается.
— А знаешь, он *очень* милый.
— *Замолчи!* — крикнул Макомбер.
В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.
— Едем охотиться? — спросил он.
— Да,— сказал Макомбер, вставая.— Да.
— Захватите свитер. Ехать будет холодно,— сказал Уилсон.
— Я пойду возьму кожаную куртку,— сказала Марго.
— Она у боя,— сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.
С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?
Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян.
Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве и низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам

они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга, он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед. Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога,

когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца,— сказал Уилсон.— Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, а он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «ка-раунг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего,— сказал Уилсон.— Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!» — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово,— сказал Уилсон.— Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли? — спросил он.

— Только три,— сказал Уилсон.— Первого убили вы. Самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине,— сказал Макомбер.— Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого,— сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях, и, когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки.

— Смотрите, как бы не встал,— сказал Уилсон. И еще: — Отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно,— сказал Уилсон.— В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем,— сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.

— Ты был изумителен, милый,— сказала она Макомберу.— Ну и гонка!

— Очень трясло? — спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха.

— Давайте все выпьем,— сказал Макомбер.

— Обязательно,— сказал Уилсон.— Мемсаиб первая.— Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону.

— Это так волнует,— сказала она.— У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей,— сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято,— сказал Уилсон.— Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы *это* имели в виду.

— По-моему,— сказала Марго,— нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности,— сказал Уилсон, отпивая из фляжки.— Остался бы без работы.

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот,— сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день.— Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис,— сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О господи, нет,— сказал Макомбер.

— Вот он идет,— сказал Уилсон.— Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях, лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит? — спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу,— сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как,— сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом,— сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом,— сказал Уилсон.— Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо,— сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола,— сказал Уилсон.— Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы? — спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола,— сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова,— сказал Уилсон.— Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище,— сказала Марго.— Может быть, пойдем в тень?

— Конечно,— сказал Уилсон.— Смотрите,— сказал он Макомберу и протянул руку.— Видите вон те заросли?

— Да.

— Вон туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдемте в тень,— сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох,— заметил Уилсон.— Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка! — сказал он.— Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно,— сказала она.

— Чем?

— Отвратительно,— сказала она горько.— Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь,— сказал Макомбер Уилсону.— Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени,— сказал Уилсон.— Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось,— сказал он.— Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва,— сказал Макомбер.— Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно,— сказал Уилсон.— В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую. «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее,— вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками.

Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат,— сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера.— Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да,— сказал Уилсон.— И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор,— сказала Марго.— Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощенья,— сказал Уилсон.— Я и правда наболтал лишнего.— Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый,— презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе,— сказал он.— Действительно стал.

— Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет,— сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать,— сказал Уилсон.— У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из спрингфилда,— сказал Уилсон.— Вы к нему привыкли. Манлихер оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу.— Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера.— Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони,— сказал Уилсон.— Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли,— сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили:— Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох,— сказал Уилсон.— Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и, в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед,— нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а

буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно,— в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из манлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать,— сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите сядьте в автомобиль,— сказал Уилсон.— Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место,— сказал Уилсон. И прибавил: — Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери,— автоматически отметил его мозг.— Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел,— сказал он совершенно безучастно.— А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте,— сказала она.

— Конечно, это несчастный случай,— сказал он.— Я-то знаю.

— Перестаньте,— сказала она.

— Не тревожьтесь,— сказал он.— Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте,— сказала она.

— Будет много возни,— сказал он.— Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду,— сказал он.— Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте,— сказала она.— Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше,— сказал Уилсон.— Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

— Самое удивительное, что мне совсем не больно,— сказал он.— Только так и узнают, когда это начинается.

— Неужели совсем не больно?

— Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно.

— Перестань. Пожалуйста, перестань.

— Посмотри на них,— сказал он.— Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах?

Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени.

— Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик,— сказал он.— Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно.

— Не надо,— сказала она.

— Да ведь это я просто так,— сказал он.— Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности.

— Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом,— сказала она.— Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета.

— Или не ждать самолета.

— Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь?

— Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять?

— Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух?

— Что?

— Что-нибудь из того, что мы еще не читали.

— Нет, я не могу слушать,— сказал он.— Разговаривать легче. Мы ссоримся, а так время идет быстрее.

— Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет.

— Я не желаю двигаться с места,— сказал он.— Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче.

— Это трусость.

— Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом?

— Ты не умрешь.

— Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин.— Он посмотрел туда, где три громадных, омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным.

— Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься!

— Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!

— Тогда думай о ком-нибудь другом.

— Ну уж нет! — сказал он.— Хватит с меня этого занятия.

Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное — под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки.

— Хочешь, я почитаю вслух? — спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле.— Вот и ветерок поднимается.

— Нет, спасибо.

— Может быть, грузовик скоро придет.

— Мне совершенно безразлично, придет он или не придет.

— А мне не безразлично.

— У нас всегда так: что не безразлично тебе, безразлично мне.

— Нет, не всегда, Гарри.

— Надо бы выпить.

— Тебе это вредно. У Блэка сказано — воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить.

— Моло! — крикнул он.

— Да, бвана.

— Принеси виски с содовой.

— Да, бвана.

— Тебе нельзя пить,— повторила она.— Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

— Нет,— сказал он.— Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается — пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

— Не надо было приезжать сюда,— сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы.— В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

— Всему виной твои поганые деньги,— сказал он.

— Это несправедливо,— сказала она.— Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать.

— Ты же говорила, что тебе здесь нравится.

— Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили, что мы такое сделали?

— Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена.— Он взглянул на нее.— Что еще?

— Я не об этом.

— Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник.

— Я не об этом.

— Если бы ты не распростилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне...

— Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?

— Нет,— сказал он.— По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил.

— Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума.

— Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании.

— Не пей виски,— сказала она.— Милый, я прошу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах.

— Делай ты,— сказал он.— А я устал.

Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Но это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного.

В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело.

В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube[1] на прихожан, расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом,— поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда падаешь камнем вниз, точно птица.

---

[1] Кабачок *(нем.)*.

Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за метели, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все — деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого,— длинноносый, берет карты со стола и ставит «Sans voir»[1]. *Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты.*

Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой, и поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и кто-то сказал: «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Сьетте-Коммуни, ни об Арсиеро.

Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепление долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне.

— Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле — здесь, в Африке.

— В отеле «Крийон». Ты же сам знаешь.

— Почему я должен это знать?

— Мы всегда там останавливались.

— Нет, не всегда.

— Там и в «Павильоне Генриха Четвертого» в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места.

[1] Втемную *(франц.)*.

— Любовь — навозная куча,— сказал Гарри.— А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку.

— Если ты правда умираешь,— сказала она,— неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?

— Да,— сказал он.— Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле.

— Перестань.

— Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя.

— Не поздно ли ты спохватился?

— Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно.

— Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я.

— Ради бога, перестань хвалиться.

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай,— сказал он.— Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив,— должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя.— Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный.

— Какой ты милый.

— Сука,— сказал он.— У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверной поэзии.

— Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься?

— Я ничего не оставлю,— сказал он.— Я ничего не хочу оставлять после себя.

Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело припадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки.

— Мемсаиб пошла стрелять,— сказал бой.— Бвана что-нибудь нужно?

— Нет.

Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала.

Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченым. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего

нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда.

Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах.

Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела.

Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом.

У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта. Чушь. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать. И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими

способами. И ведь это неспроста,— правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то были муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность,— не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил.

Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы.

Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он, и у нее красивое тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она массу читала, любила верховую езду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть.

Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала.

Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.

Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его,— все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни.

Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт,— этого отрицать нельзя,— и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как женщина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому что она была очень приятная и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших, высоко подняв головы, всматривавшихся вперед,— ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох — и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом.

Вот она, пришла.

Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал:

— Хэлло!

— Я подстрелила барашка,— сказала она.— Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?

— Гораздо лучше.

— Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла.

— Я хорошо выспался. Ты далеко забралась?

— Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила.

— Ты замечательно стреляешь.

— Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.

— Я тоже ее люблю.

— Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?

— Хорошо. Не буду,— сказал он.— Я не помню, что я говорил.

— Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет?

— Я бы с удовольствием помучил тебя в постели,— сказал он.

— Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет.

— Откуда ты знаешь?

— Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам.

— Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

— Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечат, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами.

— Давай выпьем? Солнце уже село.

— Тебе, пожалуй, не стоит.

— А я буду.

— Тогда выпьем вместе. Моло, принеси нам виски с содовой,— крикнула она.

— Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят,— сказал он ей.

— Я сначала помоюсь...

Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом.

— Эта дрянь каждый вечер здесь бегает,— сказал он.— Каждый вечер две недели подряд.

— Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает. Хотя они очень противные.

Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла,— только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток,— он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает.

Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.

— Ты что, Гарри? — спросила она.

— Ничего,— сказал он.— Ты бы пересела. Так, чтобы ветер был с твоей стороны.

— Моло сделал тебе перевязку?

— Да. Я наложил примочку из борной.

— Как ты себя чувствуешь?

— Слабость немножко.

— Я пойду помоюсь,— сказала она.— Это недолго. Мы поедим вместе, а потом надо внести койку.

«Значит,— сказал он самому себе,— мы хорошо сделали, что прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.

Он думал о том, как было тогда в Константинополе,— один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку, которая, танцуя, так терлась о него животом, что его бросало в жар. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой, артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда — в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало.

В тот же вечер он выехал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня, и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок.

В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с пом-

понами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, и офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях не мог себе представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдечек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?» — и тут пришел конец тому, что начиналось у них.

Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет.

— Как ты себя чувствуешь? — Она уже помылась и вышла из палатки.

— Хорошо.

— Может быть, поешь теперь? — За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.

— Я хочу писать,— сказал он.

— Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.

— Я сегодня умру,— сказал он.— Мне незачем подкрепляться.

— Не надо мелодрам, Гарри,— сказала она.

— Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой.

— Выпей бульону, я прошу тебя,— мягко сказала опа.

— Хорошо.

Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись.

— Ты замечательная женщина,— сказал он.— Не обращай на меня впимапия.

Она повернулась к нему лицом — такое знакомое, любимое лицо со страниц «Города и виллы», только чуть-чуть подурпевшее от пьянства, только чуть-чуть подурпевшее от любовных утех; но «Город и вилла» никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновепие, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.

— Немного погодя вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная. Дождя не будет.

Значит, вот как умирают — в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще пе приходилось испытать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит.

— Ты пе умеешь стенографировать?

— Нет, не умею,— сказала она.

— Ничего, не важно.

Времепи, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что, кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.

На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов, с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.

В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину,— спуск начинался от Триберга,— под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу.

Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился.

Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в «Bal Musette», над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии,— его каска с султаном из конского хвоста лежала на стуле. О жилице по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула «L'Auto» и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала «Bal Musette», был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или каскетка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от «Boucherie Chevaline»[1], в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю

---

[1] «Торговля кониной» *(франц.)*.

жизнь. Не было для него Парижа милее этого,— развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в «Boucherie Chevaline», ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типичной французской ivresse[1]*,— хотя принято уверять, что ничего подобного не существует,— открывали окна, и до тебя доносились их голоса.*

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди, спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана.— Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают.— Что это? Вода. Правильно! Лучше и не придумаешь.— И окна захлопываются.

Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем:

— Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый вечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены.

— Хочешь еще бульону? — спрашивала его женщина.

— Нет, большое спасибо. Бульон замечательный.

— Выпей еще немножко.

— Дай мне лучше виски с содовой.

— Тебе это вредно.

— Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно.

— Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь.

— Ну, еще бы. Только мне это вредно.

---

[1] Опьянение *(франц.)*.

Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том, как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика,— пусть все знают, какой этот старик был нехороший, и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ он всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

— Поди расскажи им почему,— сказал он.

— Что «почему», милый?

— Ничего.

Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в триктрак. Скучные

и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.

Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения.

Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся,— это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла.

Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения, и он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, и внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу.

Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании.

Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя.

Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой.

«Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное»,— подумал он.

— Надоело,— сказал он вслух.

— Что надоело, милый?

— Все, что делаешь слишком долго.

Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра.

— Я писал,— сказал он.— Но это очень утомительно.

— Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?

— Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?

— Мне хочется посидеть с тобой.

— Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он.

— Нет. Просто хочется спать.

— А я чувствую,— сказал он.

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

— Знаешь, единственно, чего я еще не утратил,— это любопытства,— сказал он ей.

— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

— Господи боже,— сказал он.— Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание.

— Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом,— сказал он.— С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

— Ну и несет же от тебя,— сказал он.— Вонючая дрянь.

Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

— Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.

Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что

по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам идет его старый приятель Комтон — в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

— Что с вами, дружище? — спросил Комтон.

— Да вот нога,— сказал он.— Вы позавтракаете?

— Спасибо. Чаю выпью. Я на Мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути.

Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный.

— Сейчас мы вас устроим,— сказал он.— За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим.

— А как же чай?

— Да мне, собственно, не хочется.

Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось,— и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло — место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям, и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подскакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водоемам, и вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. Зебры — сверху видны только их округлые спины, и антилопы-гну — головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов, и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы.

И тогда, вместо того чтобы взять курс па Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый спег в метель, которая налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно,— попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из пее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.

Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней. Потом гиена завыла так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

— Моло,— позвала она,— Моло, Моло! — Потом крикнула: — Гарри, Гарри! — Потом громче: — Гарри! Ради бога, Гарри!

Ответа не было, и она пе слышала его дыхания.

За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у пее так стучало, что опа пе слышала их.

ПРИМЕЧАНИЯ

«П р о щ а й, о р у ж и е!» («A Farewell to Arms»).— Хемингуэй начал работу над этим романом в Париже в конце 1927 г. и закончил его в Ки-Уэст (США, Флорида) в январе 1929 г. Затем в Париже до июня 1929 г. работал над гранками. О том, как тщательно редактировал Хемингуэй текст романа, свидетельствует тот факт, что последнюю страницу, по его собственному утверждению, он переписал тридцать девять раз.

С мая 1929 г. роман печатался с продолжением в журнале «Скрибнерс мэгезин», а в сентябре 1929 г. вышел отдельным изданием. Успех романа был значителен — за месяц было распродано двадцать восемь тысяч экземпляров.

Стр. 5. *...она вышла в свет в день биржевого краха.*— Здесь у Хемингуэя неточность, роман вышел за месяц до биржевого краха, ознаменовавшего начало экономического кризиса в США.

Стр. 6. *Уинслоу Хомер* (1836—1910) — американский художник.

Тулуз-Лотрек Анри (1864—1901) — известный французский живописец и график.

Ренуар Огюст (1841—1919) — известный французский художник.

Стр. 7. *Бергман Ингрид* (р. в 1917) — известная американская киноактриса, друг Хемингуэя.

Вулф Томас (1900—1938) — известный американский писатель.

Джойс Джеймс (1882—1941) — известный писатель, ирландец по происхождению. В 20-е гг., в период своей жизни в Париже, Хемингуэй был хорошо знаком с Джойсом.

Бишоп Джон (1892—1944) — американский поэт, в 20-е гг. был близок с Хемингуэем.

Перкинс Максуэлл (ум. в 1947) — редактор издательства «Скрибнерс», друг Хемингуэя, был редактором всех его книг, начиная с «Вешних вод».

...одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили...— Хемингуэй имеет в виду Муссолини, повешенного итальянскими партизанами около бензоколонки в Милане, и тех главарей гитлеровской Германии, которые были казнены после окончания второй мировой войны.

Стр. 11. *Франц-Иосиф* (1830—1916) — австрийский император (1846—1916).

Стр. 13. *Карузо Энрико* (1873—1926) — выдающийся итальянский певец.

Стр. 19. ...*на Сомме.*— Сомма — река на севере Франции, район крупных сражений во время первой мировой войны.

Стр. 23. *VAD* — Voluntary Aid Department (англ.) — Женский добровольческий корпус обслуживания действующей армии.

Стр. 57. *Гарибальди Джузеппе* (1808—1882) — народный герой Италии, один из крупнейших вождей итальянской революционной демократии.

Стр. 106. *Марвелл Эндрю* (1621—1678) — английский поэт и сатирик.

Стр. 120. ...*каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.*— Согласно евангельской легенде, Иисус находился с апостолами в Гефсиманском саду, когда туда явился Иуда с вооруженными людьми, которые по указке Иуды схватили Иисуса. До этого Иисус предсказал, что апостол Петр, клявшийся ему в верности, трижды отречется от него прежде, нежели пропоет петух.

Стр. 122. *Кроаты* — хорваты.

Стр. 159. *Гельвеция* — древнее название Швейцарии.

Стр. 162. *Муфти* — домашнее платье, которое носят должностные лица вне службы (ост.-инд.).

«У нас в Мичигане» («Up in Michigan»).— Один из ранних рассказов, случайно сохранившийся, когда у жены Хемингуэя Хэдли украли чемодан со всеми его рукописями. Впервые опубликован в книге «Три рассказа и десять стихотворений». После этого вторично был напечатан только в 1938 г. в сборнике «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов». («The Fifth Column and First Forty Nine Stories».)

Стр. 221. *Хортонс-Бей* (правильно Хортон-Бей) — городок в Северном Мичигане, поблизости от которого в годы детства и юности каждое лето жил Хемингуэй.

«В наше время» — первый сборник рассказов Хэмингуэя, выпущенный в США (1925). В книгу вошло пятнадцать рассказов, часть которых печаталась до этого в небольших журналах, издававшихся в Париже на английском языке («Трансатлантик ревью», «Литтл ревью», «Куортер») и короткие рассказы-миниатюры, опубликованные в сборнике «В наше время», которые здесь были включены автором в виде пронумерованных главок, помещенных между большими рассказами.

«В порту Смирны» («On the Quay at Smirna»).— Этот рассказ, миниатюры, включенные Хемингуэем в сборник «В наше время», как главы вторая и пятая, а также заключительная миниатюра «L'envoi», являются своеобразным отражением событий греко-турецкой войны 1919—1922 гг.— национально-освободительной войны Турции против интервенции Греции, организованной империалистами Антанты. 30 августа 1922 г. произошло генеральное сражение, в котором турецкие войска наголову разбили греческую армию, вышли к Эгейскому морю и 9 сентября вступили в Смирну (совр. Измир), второй по значению морской порт Турции. Рассказ «В порту Смирны» написан Хемингуэм со слов английского офицера, очевидца этих событий.

Стр. 226. *Кемаль* — Кемаль-паша (1880—1938; с 1934 г. принял фамилию Ататюрк), первый президент Турецкой республики (1923—1938). С 1919 г. возглавлял борьбу Турции с иностранными империалистами.

Стр. 227. ...*по направлению к Шампани.*— Шампань — провинция во Франции, на территории которой во время первой мировой войны происходил ряд крупных сражений. Миниатюры, вошедшие в сборник «В наше время»,

как главы первая, третья и четвертая, связаны с боевыми действиями в период первой мировой войны во Франции и Бельгии и навеяны рассказами друга Хемингуэя капитана английской армии Э. Дорман-Смита, участника боевых операций в этих странах.

Стр. 232. *...минареты Адрианополя.*— Адрианополь (совр. Эдирне) — город в европейской части Турции, во Фракии, в 1918 г. был оккупирован греческими войсками, согласно условиям перемирия 1922 г. вновь отошел к Турции. Хемингуэй в сентябре — октябре 1922 г. был в Малой Азии, в том числе и в Адрианополе, в качестве корреспондента канадской газеты «Торонто стар» и в ряде корреспонденций описал трагический исход мирного греческого населения, изгоняемого турками из Фракии.

Стр. 237. *Монс* — город в Бельгии, в районе которого в период первой мировой войны происходили активные боевые действия.

Стр. 252. *Шестерых министров расстреляли...*— Вследствие войны и военного поражения в Малой Азии монархический режим в Греции потерпел банкротство. Стремясь предотвратить крушение монархии, группа офицеров 22 сентября 1922 г. подняла восстание, которое охватило всю страну. Восставшие добились отречения короля Константина как виновника катастрофы в Малой Азии. Были расстреляны шесть министров во главе с бывшим премьер-министром Гунарисом. На трон был возведен сын Константина Георг. О расстреле министров, так же как и о встрече с новым королем Георгом, описанной в заключительной миниатюре сборника «L'envoi», Хемингуэю рассказал американский кинооператор Уорналл.

Глава шестая.— Эта миниатюра, так же как и глава седьмая, основана на личном опыте Хемингуэя, который в 1918 г. был на итало-австрийском фронте в Северной Италии.

Стр. 263. *Фоссальта* — городок в Северной Италии, в районе которого происходили боевые действия. Неподалеку от Фоссальты Хемингуэй был тяжело ранен.

Стр. 264. *...под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу...*— районы кровопролитных боев в период первой мировой войны.

Глава восьмая.— Эта миниатюра, так же как и глава пятнадцатая, основана на личных воспоминаниях Хемингуэя, относящихся к тому времени, когда он в 1917—1918 гг. работал полицейским репортером в Канзас-Сити.

Стр. 271. *...при белых в Будапеште...*— Имеется в виду период после падения Венгерской советской республики в 1919 г., когда контрреволюционные силы установили в стране режим белого террора.

Стр. 277. *Моно* (и с п.) — прислужники на арене во время боя быков.

Стр. 281. *Куадрилья* (и с п.) — общее название для всех подручных матадора: пикадоров, бандерильеро и пунтильеро. *Пунтильо* — кинжал, которым приканчивают быка.

Стр. 282. *Кантина* (и т а л.) — маленький кабачок.

Граппа — итальянская виноградная водка.

«Т а м, г д е ч и с т о, с в е т л о» («A Clean Well-Lighted Place»).— Впервые опубликован в журнале «Скрибнерс мэгэзин» в 1933 г. Включен в сборник «Победитель не получает ничего» («Winner Take Nothing», 1933).

«Н е д о л г о е   с ч а с т ь е   Ф р э н с и с а   М а к о м б е р а» («The Short Happy Life of Frances Macomber».) — Впервые опубликован в журнале

«Космополитен» в 1936 г. Включен в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Стр. 353. «*...кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем*».— В. Шекспир. Генрих IV (ч. II, акт 3, сц. 2).

«Снега Килиманджаро» («The Snows of Kilimanjaro»).— Впервые опубликован в журнале «Эсквайр» в 1936 г. Включен в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Стр. 360. *Нансеновская миссия*.— Нансен Фритьоф (1861—1930) — известный норвежский исследователь Арктики, общественный деятель, после окончания первой мировой войны был верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных.

Шрунс — городок в Альпах, в Австрии.

Стр. 368. *...говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара...*— Дадаисты — реакционное декадентское течение начала XX в. в литературе и изобразительном искусстве Западной Европы, распространившееся главным образом во Франции; движение возглавлял выходец из Румынии Тристан Тцара. В своих произведениях дадаисты стремились к полному изгнанию смысла и логики, к разложению образа и слова, предлагая ничего не значащий набор слов в литературе и беспорядочное смешение линий и красок в изобразительном искусстве.

Стр. 370. «*Bal Musette*» — одно из дешевых помещений для танцев в Париже.

Стр. 371. *Верлен Поль* (1844—1896) — известный французский поэт.

Стр. 373. *Скотт Фицджеральд* (1896—1940) — известный американский писатель, друг Хемингуэя.

Б. Грибанов

СОДЕРЖАНИЕ

Хемингуэй Э.

Х 37 Прощай, оружие! Рассказы. Пер. с англ. Примеч. Б. Грибанова. М., «Худож. лит.», 1977.

382 с.

Эрнест Хемингуэй (1899—1961) — крупнейший американский писатель XX в. В настоящий сборник вошли роман «Прощай, оружие!» (1929) и рассказы разных лет.

Х $\frac{70304\text{-}323}{028(01)\text{-}77}$ Б3-65-19-1976

И (Амер)

Эрнест Хемингуэй

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! РАССКАЗЫ

Редактор
Т. Бердикова

Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
Г. Киселева и *О. Наренкова*

ИБ № 706

Сдано в набор 29/VII 1976 г. Подписано к печати 26/XI 1976 г. Бумага № 1. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. 24 печ. л. 24 усл. печ. л. 25,369 уч.-изд. л. Тираж 500 000, 1-й завод (1—250 000) экз. Заказ № 587. Цена 1 р. 36 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28